

Орест и Сын

Елена
Чиждова



роман

Елена
Чижова

Орест и сын
роман

Астрель
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ч-59

Художник Ксения Щербакова
(дизайн-студия «Графит»)

Чижова, Е.С.

Ч-59 Орест и сын : роман / Елена Чижова ; послесловие
К.М. Азадовского. – М. : Астрель, 2012. – 349, [3] с.

ISBN 978-5-271-44522-4

Елена Чижова – автор романов «Время женщин», «Терра-котовая старуха», «Лавра», «Крошки Цахес», «Полукровка». Человек на сломе эпох – главное во всех романах прозаика: разворачивается ли действие в шестидесятые или в годы перестройки.

Роман «Орест и сын» – история трех поколений одной петербургской семьи: деда, отца и сына.

Семидесятые годы. Орест – ученый-химик – оказывается перед трудным выбором: принять предложение загадочной организации и продолжить дело отца (талантливого химика, репрессированного в тридцатые годы) или, как и раньше, разрабатывать карамельные эссенции?

Антон, сын Ореста, и его подруги Инна и Ксения – на первый взгляд, обычные ленинградские старшеклассники. Они интуитивно понимают, что далеко не всё так, как говорят по телевизору, и хотят знать правду...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 30.08.12. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 10 000 экз. Заказ № 6973.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-271-44522-4

© Чижова Е.С.
© ООО «Издательство Астрель»

1

Грузчики задвинули в угол шкаф и ушли навсегда. Теперь оставалось самое трудное: смириться, что голые стены, продуваемые семью нынешними и сорока девятью будущими ветрами, есть Дом, в котором всяк остается свободен, приходя и запираясь в доме своем.

Стены в желтоватых обоях и серый линолеум были на взгляд сырыми и на ощупь холодными, если бы кто-нибудь из сидящих решился поднять на них глаза или дотронуться рукой. Но ни один из троих не сделал этого, потому что здесь, в нежилом пространстве, были замкнуты их тела, а души летели назад – туда, где дом их был вечен. В нем все оставалось по-прежнему, и никакой переезд не мог его разорить. Светлел теплый паркетный пол, высокая оконная рама описывала полукруг под потолком, узоры лепнины опоясывали комнату по периметру, и все было густо населено шкафами, столами и кроватями, и каждый насельник стоял как вкопанный, зная свои обязанности и пользуясь всеми неотъемлемыми права-

ми. Теперь, вырванные с корнем, они потеряли лица и являли такой жалкий вид, что в этих жертвах разора нельзя было узнать их прежних – живых. Сваленные как попало друг на друга, они походили на грубые подделки тех, нежно любимых, которые до самой смерти будут приходить во снах, и сам рай представится ими меблированным, потому что рай урожденного горожанина никогда не станет похожим на сельский рай.

Три души, сделав крут, коснулись крыльями пяти рожков люстры и отлетели на запад. Поравнявшись с крышей крайнего дома, крылатки махнули на три этажа вниз, и люди пришли в себя.

– Недалеко, совсем недалеко... Привыкнем. И универсам рядом...

Отец вынул веером сложенную карту и распустил по столешнице:

– И сообщение удобное: автобус, трамвай...

Отцовский палец летел над городом со скоростью души и, скользнув за Неву, резко взял влево. Линии Васильевского острова отлетали назад. Пройдя над Смоленкой, палец сел на пустой берег. Старая карта не знала новой улицы, легкой уступом вдоль залива: чистая голубая краска опоясывала пустынный Голодай. Теперь этот берег назывался улицей Кораблестроителей. Новые дома стояли в ряд, готовые сойти со стапелей.

– А мне на чем ездить? – Ксения встала и подошла к окну.

Раньше никакая карта была не нужна. Ясно как божий день: тройка от Театральной до Московского, двойка по Декабристов к Пряжке, пятерка от площади Труда до Невского, четырнадцатый – след в след. На новом месте чужие номера автобусов шуршали шариками в лотерейной чаше, но соседи по площадке так легко перебрасывались ими, будто верили в счастливое число.

– Даже грузчики завидовали. Помнишь, их старший?..

Отец кивнул:

– Помню. Конечно, помню. Сказал: хорошая квартира...

– Хорошая, очень хорошая, – голоса родителей перекликались над картой.

Поеживаясь от холода, Ксения стояла у окна. За голым переплетом виднелся недостроенный корпус. Когда достроят, будет как будто двор. Утешение выходило слабым. Из-под арки с надсадным ревом выползал грузовик. За ним – еще один, крытый. Теперь фургоны подъезжали один за другим. Водители глушили моторы. Грузчики, откинув тяжелые борта, выпрыгивали на снег. Тащили картонные коробки, мешки, белые кухонные пеналы, трехстворчатые шкафы.

– Одинаковое! – Ксения засмеялась. – Смотрите, всё как у нас!

– Что как у нас? – мать обернулась.

– Мешки, коробки... – она хотела сказать: шкаф, но мать перебила, не дослушав.

– Ну и что? Удобно... Разберем, разложим... – мать оглядывалась, словно примериваясь, с чего начать.

Картонные коробки подпирали голые стены. В них лежали вещи – упрятанные от глаз свидетели разора.

– Я устала, – Ксения растопырила пальцы. – Устала, – повторила упрямо, вспоминая старый обобранный дом. Руки, вязавшие коробки, сделали злое дело.

К парадным подъезжали новые грузовики. Одинаковые люди тащили свои пожитки. Несли наверх, наполняя новые квартиры своими злодеяниями. Бечевки, затянутые натуго, резали пальцы.

Мать подошла и встала рядом:

– Ничего... Надо только взяться, – тыльной стороной ладони она пригладила волосы.

Слабый налет инея опылал углы оконных рам. Ксения приложила руку к батарее. Костяшки пальцев проехали по тощим ребрышкам, как по стиральной доске. На старой квартире батарее были жаркие и толстые.

– Радиатор купим, масляный, – мать улыбнулась. – Не бойся, будет тепло. Ты только представь: всё свое. И ванная, и кухня... – оглядывала пустые стены. – А главное, никаких соседей... Расставим, повесим занавески... люстры... – она подняла голову. – О, господи...

От угла к висящей на голом шнуре электрической лампочке растекалось темное пятно. Оно надувалось, набухая грозовой тучей. Первая капля шлепнулась на пол как осенняя груша, а за ней пошли-поехали и яблоки, и груши, и сливы, и стало ясно, что домашними средствами не справиться: этот потоп – не из домашних. Вода хлестала гладкой струей, словно разверзлись потолочные хляби, и растекалась по полу, захватывая коробки. Утлые лодчонки, груженные посудой, уже темнели выше ватерлинии, а плоды всё падали и падали, засыпая берег. Кромка прилива подступала к ногам, окружая их прозрачной каймой.

– Тазы, – мать крикнула, – неси тазы...

Не успел отец сойти с места, как злобно рывкнул сорвавшийся с цепи звонок.

– Ну вот, уже залили, – мать махнула рукой и пошла открывать.

Входная дверь отворилась, отогнав от порога лужу, как хорошая тряпка. На площадке стоял совершенно лысый человек в белой полотняной рубаше навывпуск. Его подбородок курчавился бородой, а верхняя губа – усами, словно вся растительность этой местности сползла с черепа и держалась на щеках, уце-

пившись за уши. Одной рукой он жал на кнопку звонка, другой прижимал к туловищу рыжий пластмассовый таз. С верхней площадки, заглядывая за перила, спускался черноголовый мальчик. Бородатый снял палец с кнопки и, не переступая порога, протянул женщине рыжий таз.

– Брат безумствует, – ткнул пальцем в небо с таким значительным видом, словно доводился братом местному дождевому божеству. – До седьмого протекло. Тряпки есть? – и, не дожидаясь ответа, бросил мальчику быстрое, неразборчивое приказание. Тот кивнул, кинулся вверх по лестнице и тут же сбежал обратно, таща за собой огромную мешковину, усаженную такими прорехами, словно он только что выволок ее из схватки с другими мешками. Мужчина разорвал с треском и кинул женщине под ноги: – На меня гоните, буду загребать.

Мать опустила на колени и подоткнула тряпку под зыбкий водяной край.

– Помочь? – Ксения выглядывала из комнаты.

– Иди, иди! Не лезь! Она у меня болезненная, – выжимая тряпку, мать зачем-то поделилась с женщиной.

Работали молча, без усталости нагибаясь и разгибаясь, и вода наконец пошла на убыль. С потолка больше не лило, как будто таинственный дождевой брат поставил на место небесные заслонки. Запахло вымытым жильем. Мокрая мешковина перебила холодный строительный дух, задышалось свободнее и легче. Влажные полы сохли на глазах и блестели так ровно, что потолок показался сущим вздором:

– Все равно переклеивать, – мать оглядела желтушные обои. – Заодно и побелим... Хорошо будет, – и кивнула Ксении, словно уже выполнила свое обещание.

Отец поднял таз и слил в ванну.

– Я на девятом, ровно над вами, – сосед счел нужным объяснить. Пустой таз он держал как цилиндр – на отлете.

– Вас тоже залило? – Ксеньина мать спросила, легко, как-то по-бальному, улыбнувшись.

– Меня – первого, – густые брови поползли вверх, нарушая композицию. – Это вас – тоже.

– А вы... Вы давно?.. – она хотела сказать: переехали, но замолчала, наблюдая, как брови встают на место.

– Мы?.. Недавно, – он понял вопрос, но запнулся, как будто начал бальную фигуру не с той ноги.

Запинка доставила женщине удовольствие:

– Вы у нас первый гость на новом месте.

– Приходите к нам вечером, – вдруг пригласил мужчина. – Там, – он снова ткнул пальцем в потолок, – моя жена, сын и дочь. Ваша ровесница, – теперь он обращался к Ксении. – Ее зовут Инна.

Напоследок обвел глазами всех троих, по очереди, будто отдал поклоны.

– Надо же, – мать обернулась к отцу, – ты тоже хотел назвать ее Инной...

– Вторую дверь надо ставить, с лестницы дует, – он откликнулся хмуро.

– А для мальчика ты придумывала? – Ксения заинтересовалась разговором, уведившим в прошлое.

– Зачем? Я была уверена – девочка, – мать ответила так решительно, будто именно сейчас определялось, кто у нее родится, и своим ответом она могла повлиять на результат. – Ты и родиться не успела, а я кричу: не перепутайте, не перепутайте, у меня девочка! А они: не беспокойтесь, мамаша, сегодня одни мальчишки идут... – В уши ударил бессонный детский плач, и, склоняясь к колыбели, мать обмолвилась скороговоркой. – В на-

шем роду мальчишки не живут. И бабушкины, и маминны... Потом-то уж знали: как мальчик, жди скарлатины, или кори, да мало ли... У других сыновья, а у нас дочери – красавицы. Ты тоже будешь красавицей, – материнское лицо осветилось виноватой улыбкой.

Ксения накинула пальто и вышла на балкон.

Дневное светило уходило на запад, переваливаясь через гору песка. За песчаным гребнем, похожим на киль перевернутого челнока, лежал замерший залив.

– Сушить негде. Вербку надо повесить, – мать выжимала тряпку. – Может, и правда, сходим? А то подумают – обиделись...

Отец пожал плечами.

Высокое вечернее небо твердело, принимая цвет олова. Темнота, растекаясь по оловянному своду, размывала контуры домов-кораблей. Последние новоселы, похожие на торопливые тени, скрывались в новых парадных. Новоселы – те же бродяги.

– Мы бродяги, – Ксения сказала тихо. Родители не услышали.

* * *

Дверь верхней квартиры распахнулась. За порогом стояла девочка, и, едва взглянув, Ксения разгадала ее тайну: красавица. Девочки смотрели друг на друга. Гостя сдалась первой: «Ну, почему, почему они не назвали меня Инной?»

В прихожую вышла вся семья, и бородатый хозяин принялся называть имена, взмахивая рукой, как дирижер, представляющий публике солистов. Хозяйка принимала подарок – остролистый цветок в высоком глиняном горшке.

– Скоро зацветет. Весной, – гостыя пообещала так легко, словно речь шла о чем-то близком, как будущее утро.

– Наш сын Хабиб.

Черноволосый мальчик, умевший храбро сражаться с мешками, закивал весело.

– А это – наша дочь.

– Очень, очень приятно! – гостыя заговорила нараспев, называя жену хозяина по имени. – У вас очень красивая девочка...

Теперь настал черед гостей. Ксения представила: вот сейчас родители назовут ее имя и все начнут перебрасываться им как резиновым мячиком, а оно будет взлетать и падать в чужие руки, и каждый, поймав, посмотрит на нее с жалостью, потому что как же иначе можно смотреть на нее в присутствии этой девочки?

Взрослые не заметили неловкости. Инна заметила и усмехнулась:

– Чего стоишь? Пошли ко мне...

Они вошли в маленькую комнату, и Ксения сама назвала свое имя, словно признала за девочкой право распоряжаться им по своему усмотрению.

Взмахнув складчатой юбкой, Инна опустилась на диванчик и расправила сломавшиеся складки:

– Ты в каком классе?

Ксения села, одернув короткое платье:

– В девятом. – Никогда ее складки не сломаются так же красиво, как на этой девочке.

– Школу будешь менять?

– Я? Нет! – Ксения испугалась.

– Я тоже не перешла. Пока, – Инна пригладила волосы. – Я в тридцатой, на Васильевском. Моя математическая, а твоя?

Ксения смотрела на небесно-голубой бант, чудом державшийся на гладких Инниных волосах:

– Английская, на площади Труда, – ответила, замирая.

Инна откинулась на спинку дивана:

– Здешние никуда не ездят. Приехали и сидят, как куропатки на болоте.

Ксения представила себе болотных куропаток с мокрыми хвостами:

– Теперь мы тоже здешние.

– Еще не хватало! – Инна ответила высокомерно, и Ксения засуетилась, исправляя положение:

– А твоего брата... почему так зовут?

– В честь деда. Мой дед был врачом. А потом погиб на фронте, под Москвой, – Инна говорила с гордостью.

– Мой тоже погиб, только здесь, под Ленинградом. В день снятия блокады. А маму с бабушкой свезли на Урал, в сорок четвертом, – Ксения уже понимала, что упустила главное, и теперь, что ни скажи, будет невпопад, но не могла удержаться. – Знаешь, там, на Урале полно грибов, но никто их не ест – одни эвакуированные...

– Эвакуированные? – коршуном Инна налетела на неуклюжего долговязого цыпленка, вцепилась крепкими когтями и выхватила из выводка. – Эвакуированные едят всё. Мне бабушка рассказывала: к ним в село привезли эвакуированных, а у них был сын. Так вот. Мать дала ему кусок хлеба с медом, и он пошел на улицу – стоял и слизывал, – Инна взяла воображаемый кусок двумя пальцами. – А тут – соседские мальчишки. Подкрались и выхватили. А потом бросили. Так этот эвакуированный поднял и стал жевать прямо с пылью – и съел!

По зубам прошла судорога отвращения. Ксения зажмурилась и глотнула, но липкий пыльный катышек закатился в самое горло...

– Идите чай пить! – в дверь сунулась голова Хабиба, и страшная деревенская улица рассыпалась в прах.

– Вы уж простите за этот... неприятный инцидент, – хозяин развел руками.

– Ну что вы... Мы же понимаем... – Ксеньина мать обращалась к хозяйке. – И вообще, это не вы, а ваш брат.

– Не мой – его, – хозяйка обернулась к мужу. – Раньше жили в одной коммуналке. На Васильевском, еще трое соседей. А потом дом пошел на капремонт. Теперь они над нами – прямо по стояку, – Иннина мать объясняла охотно. – Оба чудные – и он, и жена! Все-то у них неладно: однажды газу напустили. Слава богу, другая соседка унюхала! Теперь вот потоп устроили! – она нарезала торт. Кремовый, с желтыми медовыми розами. – Лиля – хорошая женщина. Но судьба – не дай бог! Трое детей, мальчики. Можете себе представить: все родились мертвыми...

Мать хотела что-то сказать, но Ксения успела посмотреть ей в глаза.

– Нет, спасибо, я торт не буду, – она встала и подошла к окну.

Глядя из комнаты в черноту, вспомнила: давно, она еще не ходила в школу, родителей пригласили на Новый год. Какие-то друзья или знакомые получили квартиру в новостройках. Домой возвращались под утро, тряслись в нетопленном трамвае, и ей казалось, будто вожатый нарочно придумывает все новые повороты из одной незнакомой улицы в другую. Родители дремали, а она сидела напротив, болтаясь между сном и явью, смотрела в их серые лица. Тогда она в первый раз подумала о смерти. О том, что они умрут.

Теперь, глядя из чужого окна, твердила с отчаянной злостью: «Мальчики... Умирают мальчики... Самые луч-

шие... Остаются соседские злыдни, вырывающие куски хлеба», – и чувствовала трамвайную дрожь, будто снова сидела в нетопленном вагоне и думала о смерти, потому что смерть стала единственно важной вещью на свете, о которой стоило думать. Ткнулась лбом в холодное стекло и тут только сообразила, что никакого трамвая не будет, они живут в этом доме и, уходя из гостей, просто спустятся по лестнице, и этот путь будет таким коротким, что она не успеет ничего додумать... Всклипнула и, хлюпая носом, принялась водить пальцами по стеклу. Сквозь дрожащее марево горя смотрела, как жалко меняется в лице мать, а хозяева, бросив кремowyй торт, растерянно встают из-за стола, и вдруг – с ужасающей ясностью, так что заложило уши, – бесповоротно и мгновенно поняла, что когда-нибудь останется одна во всем мире, в котором нельзя будет плакать.

«Эта девочка тоже умрет», – подумала отчужденно.

* * *

На новом месте приснился сон. Будто она вызвала лифт, похожий на тот, что остался в старом доме. Он был забран в металлическую клетку: лампочка, вспыхнувшая под потолком, осветила густые прутья. Ксения услышала звук, похожий на скрежет зубов, словно лифт, тронувшись с места, стал одновременно и клеткой, и зверем. Он летел вверх стремительно, и номера этажей, коряво выписанные красным на внутренней стороне шахты, мелькали с неразличимой быстротой. Скрежет внезапно оборвался, как будто лифт сошел с рельсов и, непостижимым образом пройдя сквозь крышу, выскочил в открытое небо. Струи воздуха, обтекавшие клетку, отлетали, звеня...

Она тряхнула головой, отгоняя звон. Будильник, надсаживая грудь, высоко подымал шапочку, сидящую на металлическом стержне.

Родители спали. Стараясь не встречаться глазами с голыми стенами, собрала портфель и вышла.

Створки лифта раскрылись на ее этаже. В ширящемся проеме стояла Инна. Поведя плечом, словно приноравливаясь к вчерашнему, Ксения шагнула в кабину. Лифт, отрезая путь к отступлению, сомкнулся за ее спиной.

– У тебя деньги есть? – Иннин палец замер на нижней кнопке, и Ксения зачем-то преувеличила накопления:

– Два рубля.

– Два – мало.

Они шли к автобусу по затоптанной полосе. Ветер мешал говорить свободно.

– У родителей не пробовала... попросить?.. – Арка швырялась колючим снегом.

– Десять рублей?! Твои бы дали?

Ксения осознала огромность суммы и честно покачала головой.

Толпа, кинувшаяся к автобусу, растащила их в разные стороны и свела уже на повороте.

– Встретимся здесь, на этой остановке. После шестого урока. Придется книгу продавать. Я возьму, а ты подумай – кому? – дав задание, Инна сошла.

Оставшись одна, Ксения добросовестно перебрала одноклассников, но для такого дела не подошел ни один. Автобус уже въезжал на мост, перемигиваясь с желтыми невскими фонарями, когда, различив над парапетом высокий клубок сфинкса, Ксения вспомнила Чибиса.

По набережной она бежала, удивляясь непривычному малолюдству. Там, где канал Круштейна делал крюк, из незамерзающей полыньи сочилась гнилость. Испарения собирались у воды белесыми клубками и, поднявшись до решетки, оседали рваной ветошью. Ксения прикрыла нос варежкой, вдыхая смесь влажной шерсти и гниющей воды, и забыла про Инну.

Похоже, она не рассчитала времени. Раздевалка старшеклассников выглядела облетевшим садом: на рожках вешалок, где обычно громоздятся пальто, висели тощие обувные мешки на длинных тесемках, похожие на сморщенные груши. Рожки торчали голыми ветками, повсюду стоял запах прелой обуви, там и сям под вешалками валялись падалицы, сорвавшиеся с крючков – потерянный урожай.

Первым была химия, и Ксения пошла по длинному коридору в дальний корпус. Коридор был темным и пустым. Из физкультурного зала потянуло валерьянкой, и сразу со всех сторон, как коты на пьяный запах, побежали детские крики, поднялись к потолку голоса учителей, зашлепали по полу портфели. С этой минуты уроки и перемены шли по заданной колее.

На исходе литературы, где на примере Рахметова разбирали *тему нового человека*, Ксения увидела стриженный затылок с хохолком на макушке и вспомнила задание. Вырвав лист, она размашисто написала: «Тебе нужна хорошая книга за десять рублей?» – и постучала в Чибисову спину. Чибис мотнул хохолком, как будто спросил: «Кому?» – «Тебе», – Ксения показала глазами.

Чибис порозовел и развернул записку на коленях. Он смотрел на развернутый лист дольше, чем требовала лаконичность послания. Потом взял ручку, написал ответ и вернул лист отправительнице.

Под Ксеньиной строкой было выведено: «Какая?» – тонкими, островерхими буквами.

Названия книги она знать не могла, а потому подтянулась на локтях и прошептала в стриженный затылок:

– Подруга продает. Старинная.

Чибис пригнул голову к плечу застенчивым движением, будто собирался спрятать ее под крыло:

– Приносите вечером, – и приписал адрес.

* * *

Автобус свернул на Большой проспект, и два ряда заиндеветших деревьев сошлись у Морского вокзала. Ксения смотрела сквозь водительское стекло. Инна уже стояла на остановке. Она била ногой об ногу, согреваясь, и Ксении показалось, будто Инна танцует. Не выходя из автобуса, она замахала рукой.

– Кто аноним? – Инна прочла и сложила, попадая в сгибы.

– Чибис.

– Смешная фамилия.

– Да нет! Это песенка была, помнишь? – Ксения запела тихо, стесняясь:

У дороги чибис, у дороги чибис,

Он кричит, волнуется, чудаки:

«Ах, скажите, чьи вы? Ах, скажите, чьи вы
и зачем, зачем идете вы сюда?»

– Странный такой: садится за парту – ногу под себя, или встанет посреди коридора и озирается... Дразнили все... – Ксения смотрела назад, как будто за дальним стеклом автобуса в какой-то обратной перспективе вы-

растала мальчишеская фигурка с прозрачными оттопыренными ушами и, замерев по самой середине Большого проспекта, озиралась по сторонам, не замечая, что рыжие «икарусы» объезжают ее, выворачивая передние колеса.

– А он где возьмет? – автобус качнуло. Инна ухватилась за поручень.

Линии перспективы вздрогнули, переламываясь пополам, и мальчишеская фигурка, стремительно уменьшаясь, побежала назад к 1-й линии. Рыжие «икарусы», шевеля колесами, возвращались в наезженные колеи.

– У отца попросит. Я сказала – старинная.

– Старинная так старинная, – Инна кивнула, с легкостью отпуская грех.

У дверей в Иннину квартиру Ксения обернулась, как будто проверяя, не идет ли кто следом, но Инна схватила ее за руку и потянула за собой.

– Давай, пока родители не вернулись, – она поставила Ксению перед книжными полками, – выбирай.

Книги стояли ровными рядами плечом к плечу, как солдаты. Каждое собрание сочинений имело свою парадную форму и особые знаки различия на корешках. Только смерть могла вырвать солдата из рядов, но добровольцев среди них не было.

– Лучше – ты, – они переключивали друг на друга тяжесть решения, как плохие генералы перед битвой. Ксении пришла спасительная мысль: – Они не старинные, – и сейчас же из-за плеча Льва Толстого высунулся старенький корешок. Он был низкорослым и потрепанным, ни дать ни взять пожилой солдатик в полевой форме. Инна протянула руку, будто подняла жезл. Ряды не дрогнули.

– Помоги.

Обеими руками Ксения раздвинула переплеты. Инна выдернула книгу, и ряды молодцевато сомкнулись.

Вместо обложки желтел пустой лист с криво оборванными, как будто опаленными краями. В глаза бросились старинные «яти».

– Не знаю... А вдруг твои родители хватятся?

– Не хватятся. Спрячь к себе, – приказала коротко.

Ксения сунула книгу в портфель.

Они спустились вниз по 4-й линии и свернули в боковой проезд. Переулок косил влево и тянул за собой высокие дома, оставляя сбоку обшарпанные приземистые строения. В темной сводчатой парадной они стояли, озираясь: стена, покрытая искрошенными плитками, лестница такой высоты, что закружилась голова. Вверх прямо из-под ног уходили широкие каменные ступени. Настенная штукатурка была изрезана рисунками и надписями, начинавшимися от самого пола. Кое-где пласты выкрошились до камня.

Дойдя до высокой двери, они встали по обе стороны, и Инна приказала глазами: «Жми».

– Кто там? – на звонок отозвались, и из-под двери мяукнуло.

– Это я, – Ксения не узнала своего голоса.

– Кто – я? – допытывался невидимый страж дверей. – Назовите имя.

– Кса-на, – она произнесла по слогам в зазор между сомкнутыми створками и перевела дыхание. – Мы книгу принесли.

Дверь приоткрылась. В щель просунулась кошачья головка, сидящая на гладком туловище.

– Заходите, – пригласил Чибис, и тощее туловище скрылось.

В квартире, куда они вошли, волшебным пахло ананасами.

– У отца договор в институте – эссенции для карамели, – объяснил Чибис, – с кондитерской фабрикой. Он реактивы приносит...

– Покажи, – Ксения стягивала сапог, наступив носком на пятку.

– Сюда идите, в лабораторию.

– У вас что – лаборатория дома? – Инна сняла пальто и пристроила на вешалку.

– Ага, в бывшей кладовке, – Чибис распахнул дверь. – Бутиловый эфир масляной кислоты, – объяснил, указывая на толстую пробирку, закрепленную над погашенной спиртовкой. – Напоминает запах ананаса.

Ксения вспомнила страницу, изъеденную червоточинами формул: учебник химии говорил то же самое, но она все-таки удивилась, как будто уличила заведомого лжеца в неожиданной правде:

– А еще вкусное можешь?

Чибис взмахнул хохолком и чиркнул спичкой. Из пробирки вырвался теплый, пьянящий аромат.

– Фу, фу, фу! – раздался густой голос, словно его выпустили из пробирки вместе с запахом. – Пахнет вином и женщинами, и пахнет хорошо!

– Отец пришел, – Чибис объяснил смущенно. – Пошли, познакомлю.

– Каким счастливым ветром, о, девы? – отец Чибиса оказался неожиданно молодым.

– Книгу продают, – Чибис вспомнил об истинной цели визита.

– Вы, собственно, издатели или книгоноши? – его отец переждал молчание. – Означает ли сие, что вы пи-

сательницы? – и, не дожидаясь ответа, вдруг пропел: – Милый будет покупать, а я буду воровать!..

– Это неправда! – Инна вспыхнула. – Никого я не обманула и не обворовала!

– Прелестно, прелестно... И сколько же вы просите за вашу *собственную* книгу?

– Десять рублей, – на этот раз она ответила твердо.

– Будь я менялой, я был бы рад: в моем сундучке, – он обвел рукой стены, увешанные старинными портретами, – рубли имеются.

– Мы пойдем, – сказала Ксения.

– Ну уж нет... Позвольте мне на правах, так сказать, платежеспособного покупателя поинтересоваться, для каких таких целей вам, двум скромным девам, понадобилась этакая отчаянная сумма? Ленты, кружева, ботинки? – отец Чибиса улыбался.

– Оперу купить, – Инна поглядела на собеседника внезапно сузившимися глазами.

Его глаза округлились ровно настолько, насколько ее стали уже, словно между ними, как в сообщающихся сосудах, существовала какая-то связь:

– Воистину нет предела чудесам! Опера – жанр почтенный, но, увы, не настолько, чтобы юные девы тратили на него вырученные десятки... И что за опера? – он спросил деловито.

– Опера как опера, – Инна помедлила. – Про Иисуса Христа.

– Так, – сказал отец Чибиса. – И кто же автор?

– Американцы какие-то, – она дернула плечом. – Имен не помню.

Он молчал, как будто медлил с решением:

– Сделаем так: я даю вам десятку, вы тащите сюда оперу, и мы слушаем вместе. Идет? Бросьте! – воскликнул, видимо, полагая, что Инна колеблется. – Пред-

ставьте, что я пригласил вас в театр. Нас четверо – по два с полтиной на человека – божеская цена. Будем считать, я абонировал ложу.

– Странный он у тебя, – сказала Ксения, когда отец вышел. – Не похож на родителя.

Чибиc проямлил что-то неразборчивое.

– Вот, – отец вернулся с червонцем в руке. – Вы, – поклон Инне, – несете оперу, а вы, – теперь он кланялся Ксении, – остаетесь в качестве залога.

* * *

– Так-так-так, – Орест Георгиевич смотрел на часы – не то поддразнивая секундную стрелку, не то засекая время. – Интересно, чего ж это мы лишились?

Ксения достала из портфеля:

– Названия нет, автора тоже, – она объясняла виновато, – и первого листа не хватает.

– Ничего... – он держал книгу на отлете и быстро шарил по карманам свободной рукой. – Сейчас определим... и автора, и...

Левая рука подхватила снизу, под обложку, как держат младенца, правая, не полагаясь на дальнoзоркие глаза, потянулась к полке, но на полпути вернулась назад. Пальцы, пробежав по опаленному краю, отвернули верхнюю страницу:

– *Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами...*

Часовой механизм, споткнувшись, замер. Отец Чибиса закрыл книгу и крепко сжал ее ладонями, словно склеил:

– Возьмите, – возвратил Ксении и подманил кошку. Грациозное создание подошло капризной поступью и, не даваясь в руки, принялось выписывать восьмерки

вокруг его ног. Гладкая эбонитовая шерсть поднялась дыбом. Взгляд Ореста Георгиевича устремился в пустое пространство:

– Да – да. Нет – нет. Остальное – от лукавого...

Ксения посмотрела на скуластую кошачью мордочку и не решилась переспросить.

– Хотите, я тоже покажу вам интересное? – Орест Георгиевич вдруг оживился, словно книга, назначенная на продажу, навела его на счастливую мысль. Он выдвинул ящик бюро и достал лакированный альбом, замкнутый металлическими застёжками. – Тут, – пальцы пробежали по обрезаю, – все наше семейство. Посмотрим? – качал альбом на руке и смотрел на Ксению, как будто взвешивал: достойна ли?

– Да, – Ксения согласилась из вежливости.

На первой странице, под покровом папиросной бумаги, помещался желтоватый, немного размытый временем снимок: мальчик лет десяти, стоявший рядом с теленком. Внизу ломкой вязью от руки было написано: 1860.

– Мой прадед. Дагерротип сделан в Бадене, – отец Чибиса пояснил с достоинством.

– Ваши предки... они были богатые?

– Земля, крестьяне... – он немного растерялся. – Да, владения солидные. Обеднели после реформы. Так что скорее не богатые, а... – помедлил, подбирая слово, – благородные... А это мой дед.

Ксения рассматривала скуластое лицо, обложенное прямоугольной бородкой, и слушала, что дед был форменным разночинцем, любил шить сапоги, сам растягивал кожу, сам сушил ее, всю кладовку заставил колодками.

– А бабушка ужасно сердилась, потому что была светской львицей, а тут, представьте: муж – ходит по

дому в фартуке и с молотком и говорит, что человек должен быть гармоничным... – Дама на фотографии ничуть не походила на светскую львицу: полная, с одутловатыми щеками. – Но, как ни странно, счастливый брак, – и, как будто восстанавливая какую-то непонятную Ксении справедливость, добавил: – Химик, дружил с Менделеевым, одно время входил в коллегииу присяжных.

– А ваш отец? Он тоже хотел быть гармоничным? – Ксении стало интересно.

– Отец... Мой отец был химиком. Вот его работы, – Орест Георгиевич нахмурился и указал на книжную полку. – А теперь – пить чай. Антон, подавай парадный сервиз.

Прежде чем отложить в сторону, он повернул еще один лист и тотчас закрыл, но Ксения успела заметить: молодая короткостриженная женщина стояла за плетеным креслом, опираясь рукой о спинку. Шаль, расшитая мелкими звездами, лежала на подлокотнике...

Первый раз в жизни она пила чай, сервированный так красиво. Тяжелая скатерть седела крахмальным отливом, чашки на широких блюдцах повторяли формой кувшинки, коричневые кружки чая стояли в раскрытых венчиках. Высокий чайник гнул лебединую шею, склоняясь к лепесткам. На самом краю стола лежал альбом, запечатанный металлическими застежками, похожими на дверные петли.

– Надо же, как интересно... – дожидаясь, пока чай немного остынет, Ксения попыталась продолжить разговор. – У нас такого нету. Вся семья, в полном составе...

Орест Георгиевич глотнул и отставил чашку. Его губы сморщились, как от горького.

В половине десятого Ксения поняла, что Инна не вернется. В прихожей она вынула книгу и протянула Оресту Георгиевичу, но тот усмехнулся, отводя ее руку, и Ксении захотелось бежать из этого дома. В дверях она зачем-то обернулась и, теряя слова, стала говорить, что найдет и позвонит, но Орест Георгиевич не делал вид, что слушает, – ждал, когда закроется дверь.

Идя к остановке, Ксения считала учебные дни, переводила десять рублей в копейки и делила на двадцать, чтобы узнать, за сколько месяцев, если не завтракать в школьном буфете, сумеет отложить всю сумму – обязательно отдать. Два месяца – срок немалый. Решила: завтра же попросит Чибиса. Пусть уговорит отца подождать.

Дома она пихнула книгу под стопку учебников и легла спать, торопя завтрашнее утро. «Та-та-та, шолом алейхем... Та-та-та, шолом алейхем...» – в родительской комнате бормотали чужие монотонные голоса. Их перебивал вой, гадкий и протяжный. Затыкая ухо углом подушки, Ксения видела отцовскую руку, держащую движок настройки – поперечная планка дрожала под стеклом. Уже засыпая, представила пятьдесят серебряных монеток – целый мешочек. «В булочной помешню – кассиры серебро любят...» И тут же ей приснилась сорока, сидящая за кассой: крепким клювом она вынимала монетки из ящичка. Сквозь сон Ксения слышала голоса и тонкий звон пересышаемого серебра.

* * *

Наутро она проснулась больная. Болезнь осложнялась вчерашней историей. Мысли вращались вокруг нее, как тяжелые жернова. Ксения вспоминала чаепи-

тие, закончившееся позорным бегством, и, хватаясь за соломинку, уговаривала себя, что во всем виновата Инна, но соломинка ломалась под пальцами: «И я, и я...» Жернова вертели и вертели, как будто взялись перемолоть муку, и вчерашний прекрасный план превращался в труху. «Пока болею, не отложить ни копейки...»

Жар, готовясь вырваться наружу, ломал суставы, и хотелось кислого – капусты, или холодного – воды. Колодезное ведро, гремя цепью, уходило вниз. Она тащила, с трудом вращая рукоятку: «...Телефона нет, попросить родителей... Нет... Родителям нельзя...» – ведро оказалось пустым.

Стараясь ступать твердо, дошла до ванной и отвернула кран. Хлорная струя хлынула в раковину. Выпустив из рук фаянсовый край, Ксения сползла вниз – под ядовитый источник. Жар наконец вырвался и залил руки и грудь. Она не видела, как мать, неловко поддев ее под мышки, тащит в комнату, и не слышала хрипа, который, как рыбью кость, выталкивала наружу ее гортань.

Неотложка приехала нескоро, Ксения уже успела прийти в себя. Молодой врач поставил диагноз: грипп. Потом мама ходила в аптеку и в универсам за лимонами. Тяжелые жернова подрагивали над запрудой, и под их покачивание Ксения заснула и проспала до позднего вечера, когда сквозь сон и жар услышала звонкий голос: «Да не заражусь! Я никогда не болею!»

Отодвинув стакан, завешенный марлей, Инна выложила коробку с пленкой.

– Купила? – Ксения поднялась на локте.

– Да, – Инна ответила коротко, но Ксении показалось, что ее глаза метнулись.

– А они?

– Сначала – мы, – Инна смотрела в пол.

– Но ты же обещала... Мы ждали, пили чай... – Ксения лепетала жалко.

– Парня того не было вчера. У кого бы я купила?

– Но ты... Могла... Хотя бы позвонить...

– А номер? Я что – знала?

Ксения сникла, признавая ее правоту. Инна села на край постели:

– Да ладно тебе... Ну хочешь, сбегая? Прямо сейчас. Какой у них?

И Ксения сразу обрадовалась:

– В-2 52 87. Запиши.

– Запомню. Ну, поставим? – Инна кивнула на пленку.

– Куда? – Ксения оглядела комнату. – На пылесос?

Инна вскочила:

– Я принесу. Мой в футляре – легкий.

Вернувшись, она ловко намотала хвостик на пустую бобину и нажала на кнопку:

– Лежи и слушай. Позвоню и сразу вернусь.

Уловив слабое шуршание, Ксения откинулась на подушку и закрыла глаза.

Тревожный низкий звук раздвинул грани комнаты. Первые такты повторялись, забирая всё шире, пока не вступили таким мучительным перебором, словно их исторгло само безвоздушное пространство. Из тьмы, надвигавшейся на Ксению, выступил одинокий голос, усталый и спокойный, и повел мелодию за собой. Пел о том, что теперь всё видит ясно и знает, что случится, но музыка, пляшущая на заднем плане, выдавала его с головой: ему было страшно, так страшно, что, не выдержав, он закричал: *Jesus!* – разрывая в клочья спокойствие прежних слов.

То угрожающе вскрикивая, то почти переходя на шепот, он пугал себя и других какими-то *ими*, и уверял,

что все вокруг слепы, и вдруг признался Ксении, что боится толпы. Голос корчился, пока не захлебнулся отчаянным криком.

«Кто? Кто это?» – мелькнуло и погасло, когда другой ясный голос вышел вперед. Таясь за чужими спинами, Ксения смотрела и видела его нежное лицо, когда он, обращаясь к людям, пел и признавался, что ничего не знает толком, утешал и просил не тревожиться о будущем. Ей захотелось обтереть его влажный лоб.

Сквозь толпу пробился нежный голос. Женщина подошла и встала рядом с Иисусом, но он, назвав ее *Mary*, отстранился от заботы, продолжая говорить.

Толпа закричала, обвиняя Иисуса в какой-то неправде. «И я, и я», – прошептала Ксения, и тогда он сказал: *You can throw stones**, – и Ксения ждала, что сейчас полетят камни, но не закрылась руками. Тогда он сказал: *She is with me now***, – она сделала шаг и встала рядом. *Not one, not one of you...**** – он повторил тихо и посмотрел на Ксению с надеждой. Она стояла в белой ночной рубашке, уже зная, что готова его защищать.

Случай представился немедленно. Она вошла во двор, окруженный белыми арочными сводами. Арки до половины перекрывались решетками, в глубине галереи виднелся ряд прямоугольных окон. Оттуда доносились голоса. Ксения заметила узкую дверь, слегка приоткрытую, и вступила в сводчатую комнату.

Лицом к ней, положив руки на подлокотники, сидел человек. Рядом, словно обегая его кресло, вился тонкий, услужливый голосок. Грубый мясистый голос об-

* Вы можете бросать камни (англ.).

** Она сейчас со мной (англ.).

*** Ни один, ни один из вас (англ.).

ращался к собравшимся, и по тому, как все повторяли *Jesus*, Ксения поняла, что здесь держат совет.

Из-за ограды доносились крики толпы, и члены совета тревожно вертели головами, прислушиваясь. Гомон далеких голосов подгонял спор. Перебивая и дополняя друг друга, они приводили все новые и новые доводы. Мясистый голос крикнул: *What about the Romans?!** Но тут поднялся другой, гаденький, голосок. Встав на цыпочки и пожимая мягкими плечами, он пел о том, что незачем забирать у народа его игрушку, они получили, что хотели, но главный низкий голос, перебил его: *Put yourself on my place!*** – жаловался, что у него связаны руки, и склонял сидевших к решению, и Ксения уже знала, что склонит.

Тогда, не дожидаясь их решения, она выскользнула из комнаты и, обежав двор, толкнулась в едва заметную калитку. Узкая улочка начиналась от самой стены: кружила между домами из тесаного камня и поднималась в гору, подкладывая под ноги каменные ступени. Свернув в переулок, Ксения увидела крыльцо и открытую дверь. У крыльца сидел человек с каким-то странным, ввалившимся носом, и Ксения испугалась, что ее прогонят, но он смотрел мимо. Она поднялась по ступеням и вошла в дом.

Женщина, которую он назвал *Mary*, держала в руках белый матовый сосуд. Из сосуда шел сладковатый запах, незнакомый Ксении. Женщина подошла к Иисусу и, отведя от лица длинные волосы, вылила снадобье ему на ноги. Все, кто собрались в комнате, зароптали. Голос, прежде смеявшийся над нею, возвысился и стал упрекать ее в том, что снадобье можно было продать,

* А как же римляне! (*англ.*)

** Поставь себя на мое место. (*англ.*)

а вырученные деньги раздать бедным, но *Mary* перебила его и запела об огне: *Close your eyes, close your eyes and relax, close your eyes, close your eyes...** Другие женщины подпевали тихо. Не попадая губами в слова, Ксения попыталась примкнуть к общему хору...

Сделав последний оборот, бобина замерла.

Ксения хотела переставить пленку на другую сторону, чтобы узнать, что будет дальше, но не знала – как.

В родительской комнате было тихо. Она поднялась, подошла к зеркалу и зажгла ночник. «Обманула. Всегда обманывает».

Теперь она ненавидела Инну.

* Закрой глаза, закрой глаза и успокойся, закрой глаза, закрой глаза... (англ.)

«**Т**еперь она ненавидела Инну».

Я обнаружил, что сижу на полу, прямо у комода, где и нашел эту папку – в нижнем ящике, под стопкой старых бумаг. Когда-то белая, теперь изрядно пожелтевшая. С тех пор, как вывез ее из России, она не попадалась мне на глаза.

Эту папку я узнал сразу, вспомнил, как сам завязывал тесемки, затягивал этот узел, потому что боялся таможенного досмотра. Офицер, отвечающий за проверку багажа, мог заинтересоваться ее содержимым. Хотя, если бы это случилось, никакой узел бы не спас. Его не стали бы развязывать. Просто перерезали бы одним махом, как это сделал я, сходяв за кухонным ножом.

Я сидел, вглядываясь в буквы, напечатанные на нашей домашней машинке, – клавиши «к» и «б» слегка западали, их оттиски выделялись на общем фоне – и думал об отце. словно эти странички – письмо, написанное его рукой. На этой машинке, стоявшей в его кабинете, отец перепечатывал свои служебные руко-

писи, оставляя пробелы для химических формул – их он вписывал от руки. На моих страничках никаких формул не было. Но профессионалы, коллеги Павла Александровича, с которыми он работал в одном *ведомстве*, хотя, конечно, в разных отделах, – с легкостью опознали бы шрифт. Образцы шрифтов – как отпечатки пальцев: их хранили в *Первом отделе* каждого учреждения, что уж говорить о химическом институте, где работал мой отец.

«Впрочем, – я вспомнил таможенника, перебиравшего мои вещи, – положим, открыл бы... Неужели стал бы читать? А если бы и прочел...»

К тому времени мой отец уже умер, а значит, я мог не опасаться правды.

Сколько же мне было?.. Двадцать четыре? Двадцать пять?.. – когда я принял это решение: предать бумаге нашу давнюю историю, не задумываясь о том, что я – не слишком надежный свидетель. Вот, например, торт. Тот самый, с желтыми медовыми розами, который Ксения не пожелала попробовать, – откуда мне было знать, что подавали к чаю в тот вечер, когда девочки познакомились?..

Маленькая ложь рождает большую неправду?..

Я поднялся и пересел в кресло: «Именно детали подводят лжецов». Сидел и думал: во всяком случае, потоп был. Об этом она рассказывала сама, когда явилась и принесла ту самую оперу, а Павел Александрович ее сфотографировал...

Кажется, я застонал. Потому что вспомнил ту фотографию. Она лежала в моем столе – тридцать лет назад, когда я сидел за отцовскую машинку и дух моей жизни еще бился в пальцах. Сколько раз хотел переложить ее в наш семейный альбом, замкнутый металлическими застешками: пусть хоть это, если нет других

доказательств. Мятая, с потрепанными уголками. На обороте стояли цифры, написанные неразборчивым почерком. Что они означали? Этого я тоже не знал.

Этой фотографии больше нет. Как нет и отцовских рукописей. Он сжег их своими руками, чтобы раз и навсегда избавиться от душного, вязкого времени, в котором ложь называлась правдой, а правда могла вырасти из чего угодно, например, из лжи.

«При чем здесь отец? Дело не в нем, а в нас... Это мы хотели знать правду».

В той стране, которой больше не существует, она не складывалась из деталей. Иногда их приходилось домысливать. Но это не имеет значения. Потому что мои странички – правда. Даже если на самом деле всё было не совсем так.

Я листал странички, разрозненные и неумелые: «Сжечь можно было и *там*. И все-таки я их вывез. Значит, собирався как-то *использовать?*..»

На это вопрос у меня не было ответа. И я решил отложить.

Следующие несколько дней я занимался своими обычными делами, делая вид, что ничего особенного не случилось. В сущности, так оно и было – эта папка всегда была со мной, лежала под старыми бумагами. По вечерам я выходил из дома, бродил по окрестным улицам: «То время ушло. Другая эпоха – другие истины», – и пытался представить, как зажигаю камин и, вынимая листок за листком, бросаю их в пламя, а они корчатся, превращаясь в горячий пепел.

«Как бы то ни было, надо что-то решать... Уж если я остался единственным свидетелем...» – и думал о смерти, об этом последнем бастионе, который рано или поздно мне предстоит взять. Проблема в том, что это событие может застать меня врасплох, а поскольку род-

ных у меня нет, придут чужие люди, та же квартирная хозяйка, чтобы выбросить на помойку мои личные вещи: одежду, книги. И среди прочего эту папку. С другой стороны, здесь, в Европе, этот процесс хорошо организован – мусор перерабатывают, не оставляют гнить. Значит, конец наступит довольно быстро. Я приводил логические доводы, но чувствовал себя предателем, оставляющим память на произвол судьбы.

Огонь – милосерднейший из палачей. Ни вода, ни воздух, ни земля – никакая стихия не пожирает прошлое с такой нечеловеческой быстротой. Лучший выход – сжечь. Не дожидаясь, пока оно изживет себя в памяти: *станет чистым веществом, пригодным для новой работы в тигле жизни...*

Я возвращался, заваривал чай и, устроившись на кухне, искал и находил новые доводы, пока не понял, что диалоги, которые веду сам с собой, обретают черты дурной бесконечности.

И я опять задался вопросом: зачем? Зачем я их вывез?

Оставил на память? Определенно – нет. Мне хотелось переменить жизнь, избавиться от прошлого. Значит, что-то другое... Я вернулся в комнату и выдвинул ящик комода.

«Неужели хотел опубликовать?.. В чью голову я надеялся вложить нашу историю? В лучшем случае она вызовет недоумение...» – листал, пока не наткнулся на странные картинки, напоминающие иероглифы.

У меня задрожали руки: «Господи, я же не дочитал! Я должен это сделать, дойти до конца, и только потом принимать окончательное решение. Тем более это не займет много времени...»

Теперь-то я понимаю, что совершил ошибку.

Прошлое, лютый зверь, алчущий крови, набросилось на меня. Но я уже не мог оторваться, читал и чи-

тал, понимая, что мне не выбраться. Я сам впустил в свои легкие заразу, этот тайный и тонкий яд – тридцать лет он таился между строк, дожидаясь, пока я открою папку. Это я осознал так же ясно, как и то, что годы, прожитые в Европе, ничего не изменили: я был и остался советским человеком, потому что *могу* все это понять. А кое-что и объяснить...

«Кому? – я усмехнулся. – Кому понадобятся мои объяснения?»

И тут мне в голову пришла *великолепная* мысль. Я понял, что должен сделать: перевести рукопись в компьютер, создать новый электронный адрес, естественно, тайный, и отправить на него файл. Тогда я смогу уничтожить подлинник – сжечь машинописные странички с чистой совестью, потому что прошлое никуда не исчезнет, будет лежать в почтовом ящике: для себя я сохраню к нему доступ. У меня останется время, чтобы обдумать всё как следует, притом безо всякого риска. Положим, я умру, не успев принять решения. Что ж, в этом случае наша история останется в неприкосновенности, но в то же время навсегда исчезнет.

Я включил компьютер и создал новый файл.

«*Save as – ?*»

Подвел курсор и остановился. Сидел и думал о смерти как о своей союзнице, на чье попечение я оставлю свою нелепую жизнь. В голове роились странные мысли: для того, кто вырос в моей стране, смерть – единственная реальность, на которую можно положиться. В огромном темном пространстве под названием СССР она ходила по пятам за каждым, денно и ночью, – но не у каждого были глаза, чтобы ее увидеть. *Безглазых* было большинство. Они полагали, что и вовсе бессмертны, как бессмертна страна, в которой им выпало родиться.

А еще я думал о нас: о себе и о девочках. Мы хотели стать зрячими, а значит, *узнать правду*. Разве мы виноваты в том, что в той стране, которой больше не существует, правда – кратчайший путь к безвременной смерти. Ее узнают через головы отцов.

Я сидел, терзаясь последними сомнениями: что если они, участники тех событий, не согласны с моим решением? Будь у них выбор, возможно, они предпочли бы оставить всё как есть – в старой советской папке с перерезанными тесемками? Но потом вспомнил: *да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого*, – вспомнил и ответил на вопрос компьютера:

«Save as»: *OREST I SYN.*

Палец замер над клавишей. Я сидел, пытаясь понять. Казалось бы, все правильно: в данном случае русский звук «ы» передается латинской буквой «y». Но что-то мешало, будто в слове, переведенном на латиницу, крылась неточность, извращающая смысл. Я не успел ничего сообразить, просто расслабила руку. Рука, выпущенная на свободу, подвела курсор и всё сделала сама.

*OREST I SIN**.

Мне осталось горько усмехнуться, прочитав последнее слово.

* *Sin* – грех (англ.).

2

Они стояли на гранитных ступенях меж двумя высоколобыми сфинксами и смотрели на воду. От ступеней до самой середины реки растекалась широкая полынья. Ледяные края были подернуты вечерним туманом, укрывавшим противоположный берег. Туман размывал силуэты дворцов, равнявших верхние этажи по воле императора Петра.

«Я умру. Все мы умрем, а эта ровная линия останется».

Орест Георгиевич смотрел на фасады бывших дворцов, проступавшие из тумана. За ними угадывались парадные залы, разгороженные бесчисленными перегородками – вдоль и поперек. Безжалостно рассекая лепнину, перегородки проходили сквозь каминные – прямо по глянцевым изразцам.

– Опять приходили – к весне обещают расселить... – вторгаясь в его мысли, тихо сказала Светлана. В ее голосе он услышал упрек.

– Ты же знаешь, Антона одного не оставят.

– Значит, будем жить в коммуналке, – она соглашалась легко.

Орест Георгиевич почувствовал укол раздражения. Жизнь в коммунальной квартире ее не отвращала, что, в сущности, и неудивительно: никогда они с матерью не жили в отдельной. Комнату мать получила от завода много лет назад. Светлана говорила: «Для лимитчицы – огромное счастье». Это слово он слышал и раньше, но теперь оно словно бы вторглось в его собственную жизнь

По давнему и молчаливому согласию они никогда не заговаривали о том, что Светлана, выйдя за него замуж, могла бы переселиться в квартиру на Васильевском, – про себя Орест Георгиевич решил, что Антону это будет тяжело. Но сейчас Светлана хотела, чтобы он прописался к ней, оставив квартиру сыну. Тогда, при расселении, им дали бы отдельную в новом районе – на двоих. Он отговаривался: Антону нет восемнадцати, одного в квартире не оставят, но всерьез не думал об этом, тем более что слухи ходили давно. Теперь слухи становились планами и в каком-то смысле делали его пленником переселения. Без него Светлана могла рассчитывать только на равноценную в коммуналке. Квартира – вопрос серьезный. Рано или поздно Антон женится, молодая семья должна жить отдельно – это он отлично понимал, но, глядя со своего берега на набережную Красного Флота, думал о том, что, прописавшись, поставит себя на одну ногу с теми, кто заполнил собою изрезанные по живому дома. Те, чьей добычей стали квартиры, оскверненные новыми перегородками, пришли с далеких окраин, как полчища саранчи. Жизнь, которую они вели, не оставила камня на камне от прежней *человеческой* жизни. Будь его воля, он разогнал бы их всех по их варварским землям.

– Интересно, – Орест Георгиевич заговорил раздраженно, – этот капитальный ремонт... Старого все равно не восстановят. Снесут перегородки, заменят новыми. А впрочем, – он махнул рукой, – какая разница. Все равно поселят начальничков.

– Что? – Светлана смотрела недоуменно.

– Ничего, – он представил себе, как понесет из дома пожитки и до самого вечера будет раскладывать по ящикам чужих шкафов и комодов. «А вечером?..» Вечером все равно придется возвращаться, потому что он не посмеет тронуть книг. Голые стеллажи, похожие на проломы в стенах, – этого он все равно не допустит.

– Что с тобой? Что-нибудь на работе? – она заметила его больные глаза.

Орест Георгиевич отвернулся и кивнул:

– Да, на работе, – он думал о том, что на работе – тоже. Слишком зыбко и неопределенно.

– Но ты... Что-то по спецтематике? Но разве?.. Ты всегда был осторожен, даже со мной... Им нужен твой талант, твоя голова. Ты способен на многое, уж это они понимают... А потом... Ты же сам говорил: они не любят скандалов. Не те времена... И вообще... В крайнем случае ты можешь спросить у Павла Александровича...

– При чем здесь?.. К этим делам Павел не имеет отношения, – Орест вдруг пожалел, что когда-то – пришлось к слову – обмолвился о том, где работает его друг.

– Но он же может поспрашивать, поинтересоваться у сослуживцев...

– Он не может, – Орест Георгиевич усмехнулся. – И, пожалуйста, хватит об этом.

– Да-да, – Светлана заторопилась. – Всё образуется. Антон ко мне привыкнет... Если родится сын, мы назовем его Георгием – в честь твоего отца...

Губы Ореста скривились.

– Что? Что ты? – она отступила к парапету.

– Мне... надо вернуться, – он шагнул в сторону и пошел стремительно и прямо, словно собрался пересечь Академию художеств насквозь. Светлана едва поспевала следом.

Пройдя вдоль решетки, они свернули в переулок, такой узкий, что можно принять за проходной двор.

Щель между домами пути не сокращала: они ничего не выигрывали, скорее, наоборот. Там, впереди, виднелись чугунные ворота. Казалось, их створки вот-вот сдвинутся и сомкнутся. Светлана заторопилась, невольно прибавляя шаг, но, спохватившись, обернулась.

За спиной никого не было: Орест пропал.

Она стояла, озираясь, словно ощупывала стены домов. Редкие окна горели электрическим светом, ранняя зимняя темнота подступала, становясь тягучей. «Значит... Господи... Могли ударить и уволочь. Ударить – да. Но уволочь?.. Для этого нужна парадная... Или люк... – она дышала отрывисто. – Он сам, сам о *чем-то* догадывался. Если так, значит, доберутся и до меня. Но я... Я ничего, ничего не знаю... При мне ни о чем таком... – схватив горсть снега, она прижала к губам. – Что, что же мне делать? Ждать?.. Теперь не убивают...» – руки, сведенные ужасом, цеплялись за чужой подоконник. Между пальцев текла вода.

Стряхнув оцепенение, она пошла, стараясь не оглядываться. Мало-помалу переулок оживал: то здесь, то там хлопали двери и зажигались окна. Кованые ворота, которые ей мерещились, съежились, превращаясь в тень. Она шла, ступая по камням, сбитым намертво: «Антон. Надо предупредить. А если?.. Если там?.. – вдруг представила страшных чужих людей, – явились, роются в бумагах», – и, почувствовав, как слабеют ноги, застыла у кромки тротуара, не в силах сделать шаг.

Он научился поливать и пересаживать цветы, разросшиеся в горшках, которые она успела купить, и печь одинаковые кексы по календарным праздникам, формой подобные тем, которые выходили из-под ее рук. Он научился засыпать, думая о работе, и просыпаясь, думать о работе, и ходить мимо больницы, и видеть женщин с размытыми, бледными лицами, и такие же размытые, но розовые лица мужчин, стоящих внизу, под стеной. Единственное, что не удалось, – научиться вырывать жалящую мысль о том, что каждый раз, когда он проходит мимо, там, в одной из палат с трехстворчатými окнами она умирает сейчас, в эту самую минуту, впивающуюся в его сердце.

Изо дня в день, из года в год он видел бесстыдную надпись «*Институт акушерства и гинекологии*» – набрякшие буквы на гранитной доске и ненавидел их сочетание: *аку* – хищное, как акула с гнилыми зубами, между которыми застряли волокна невиской падали, и *гин*, издававшее тонкий и гнилостный запах. Будь его воля, он изгнал бы из словарей слова, начинающиеся с этих сочетаний, а вместе с ними и сами понятия, которые они означали, чтобы сузить словарный запас терзающего его Зла. Судьба распорядилась жестоко и бессмысленно, когда выбрала его, примерила грубо сколоченный ящик, заранее изготовленный по его мерке, и, убедившись, что приходится впору, яростно захлопнула крышку, пуская в невиские волны – чтобы он бился о мертвые берега...

Он шел, не оглядываясь, силясь смирить раздражение: «Да покажи любому из них мою квартиру... Кто поверит, что меня мучает квартирный вопрос? Или не только квартирный? – он усмехнулся гордо и недоб-

ро. – Еще и она: спит и видит, чтобы вселиться и ходить по моим комнатам... Господи, – он устыдился несправедливых мыслей и одернул себя: – При чем здесь она? Она... Где же?...» За спиной никого не было.

Словно придя в себя, он обнаружил, что стоит на 1-й линии. «Отстала?..»

Сквозная парадная, куда он свернул, со стороны переулка была забита досками – крест-накрест, но боковые пары гвоздей давным-давно выдрали, так что доски держались на одном среднем. Местные жители, к которым он относил и себя, знали об этом камуфляже.

«Как же я?.. Нехорошо... Надо вернуться, пойти назад... – топтался у поребрика, прислушиваясь к словам, которые бежали, торопя друг друга. – Нет. Что-то меняется... Совсем изменилось», – мотнул головой и двинулся вперед.

До разговора на набережной он верил, что шов, стянувший сердце и зарубцевавшийся безобразным шрамом, мог разгладиться под Светланиной легкой рукой, словно она, взявшись за конец нерастворимой нити, могла выдернуть ее без боли. Теперь, всё яснее убеждаясь в своей ошибке, он повторял, что во всем виноват сам: прежде, чем заводить разговоры о будущем, он должен был рассказать ей о своем прошлом, во всех подробностях, как предупреждают о хронической болезни. Теперь время упущено. Он шел, представляя себе этот тягостный рассказ, и думал о ней как о посторонней, которую, по какому-то непонятному заблуждению, прочил на роль своей спасительницы, и, вспоминая глаза, вытянутые к вискам черными стрелками, чувствовал крепнущее отчуждение. Пьянящая виноградная лоза становилась слабым и ломким пустоцветом.

Не заглядывая к сыну, он прошел в свою комнату. Привычные книжные стеллажи не утоляли тоски. Де-

ловито, словно приступая к опыту, похожему на химический, выдвинул ящик, достал альбом, защелкнутый серебристыми, как блесна, крючками, и, скользнув пальцами по обрезу, раскрыл.

Коротко остриженная женщина стояла за креслом, бросив на подлокотник звездную шаль. Не решаясь взглянуть ей в глаза, он смотрел на руку, лежащую на плетеной спинке, и говорил быстрым шепотом. Не любовь вкладывал он в эти слова, а их самих – слово за слово – прямо в ее руку, как будто легкой, прозрачной на свет рукой она могла снять с него тяжесть и отпустить с миром.

Он не просил, а повторял одно и то же – странное и взявшееся словно из пустоты: «Я чист, я чист, я чист...»

Так, как если бы его устами говорил многолетний раб-домоправитель, дающий отчет хозяйке накануне перехода в другой дом, куда его переводят помимо его желания. Он упоминал все, в чем мог перед ней отчитаться, не забывая таких мелочей, что сам же морщился от этой рабской неделикатности. Так, он поставил себе в плюс, что не ушел вслед за своей коротко остриженной хозяйкой, а остался в своем умершем теле, чтобы сохранить в живых другое – новорожденное. Он содержал их дом в чистоте и не разорил хозяйство, а вел его с редким даже для женщины прилежанием. Он шептал, как жил все эти годы, по утрам выходя на белый свет, чтобы день напролет работать до темноты и вечером проходить мимо подъезда, похожего на акулю пасть, а напоследок, завершив хозяйственные дела, отплывать в путешествие по мертвой реке. Лодка причаливала к кромке Васильевского острова, и там, склоняясь на ее просьбы (теперь он ставил это себе в особую заслугу), он сажал в нее сына, но совсем ненадолго, опасаясь, что тот надыхнется удушливыми речными парами.

«Светлана любит меня...» – борясь с несправедливыми мыслями, он добавил этот полупрозрачный, словно ее рука, хрусталик, пытаясь уравновесить весы, но тот сверкнул, как зеница ока, и оттянул чашу вниз.

Она-то прощала и отпускала с миром, принимая его доводы и обычную житейскую правду: Антон вырос, Светлана молода... Рано или поздно прошлое уходит, уступая место сперва настоящему, потом будущему, и в этом нет ничьей вины. Жизнь – стечение простых и понятных обстоятельств.

«Сын... Георгий... в честь моего отца», – он повторил Светланины слова и в то же мгновение понял: ничего *этого* не будет. Ни новой жизни, ни нового сына, который родится в коммуналке, среди варваров.

– Все пустое, прости... – Орест Георгиевич закрыл альбом негнушимися пальцами, встал, бесшумно выдвинул ящик и спрятал подальше – на самое дно

В прихожей взвился и рассыпался звонок. Он сидел, прислушиваясь. На смену телефонному токованию пришел голос сына: «Да... Нет еще... Ну, наверное, к *Времени*... Конечно, передам».

Голос был тихим и напряженным. Орест Георгиевич понял: сын разговаривал с Павлом.

* * *

Инна знала, когда *оно* началось.

Школьный вечер назначили на тридцатое декабря. Девчонки готовились заранее, придумывали маскарадные костюмы.

– А ты кем будешь? – с Надькой они сидели за одной партой.

– Зайчиком, – Инна ответила, лишь бы отвязаться.

– У-у-у... – Надька протянула разочарованно. – А я думала – королевой...

– Ага, снежной! – Сережка обернулся и хихикнул.

– Арефьев! – Галина Петровна стукнула костяшками пальцев. – К твоему сведенью, каникулы еще не начались. Работаем, смотрим в тетради. Каждый в свою тетрадь!

– Да я-то что, Галин Петровна! Это они меня отвлекают.

– Я сказала – каждый, – учительница обвела глазами класс.

– Ну правда, кем? – Надька завела снова. – Вот я – Красной Шапочкой.

– А я – никем, – Инна поставила точку. – Сама собой.

Тридцатого на большой перемене случилась авария – в актовом зале отрубился свет. Вечер пришлось отменить, но девчонки ныли так жалобно, что директриса согласилась на тридцать первое: «Только начнем пораньше».

Дома Инна сказала, что едет в школу, но уже в автобусе представила себе всех этих *красных шапочек* и решила не идти. Проехав пару лишних остановок, вышла на Дворцовой.

Нынешняя зима была особенно холодной. Арка Главного штаба – исполинское горло – равномерно вдыхала и выдыхала ледяной воздух. Прохожие, прорывавшиеся с площади на Невский, втягивали головы в плечи. У самой земли ветер отрясал игольчатый, липкий прах и прыгал до верхних этажей, подставляя себе под ноги дрожащие ходули – столбы фонарного света. Вечернее эхо высоко подымало леденящий вой: «У-у-у!» – натягивало поперек улицы, как огромный транспарант. Края снежной тряпки ветер раздувал изо всех сил и бил ими наотмашь по фасадам домов. Двери междугород-

ной станции, телефонные барышни, легонько повизгивали, когда он хватал их за ручки.

С самого детства Инна любила такие дни. Ее детский сад располагался в тупичке между двух задних крылец Адмиралтейства, прямо у Невы. Иннины бабушки жили далеко, а родители много работали и обычно приводили ее в группу первой, а забирали последней, когда она, уже одетая, сидела в прихожей у детских шкафчиков. Это были плохие минуты, потому что каждый раз, хотя этого так никогда и не случилось, Инна боялась, что никто за ней не придет. Вечерние минуты страха искупались огромным дневным счастьем, которое дарила горка Александровского сада. Она и сейчас помнила последние минуты, когда, держась за шершавые обледенелые перильца, первой поднималась на площадку и, растопырив руки, срывалась вниз по скользкому, припорошенному с ночи ледяному языку и неслась, не приседая на корточки, до самого конца.

В конце ледяного полотна за ночь намерзала круглая лунка – в ее бортик с разлету ударялись носки черных галош. Не проходило и минуты, как на этом месте копошилась куча мала, и воспитательницы бежали растаскивать детей. Обрато Инна бежала со всеми наперегонки, но, добежав, смирно вставала в затылок последнему, потому что воспитатели строго-настрого запрещали всякую потасовку на лестнице. Виновный снимался с горки и остаток прогулки стоял в стороне.

Проехав два-три раза и столько же раз добежав до скользкой лестницы, Инна впадала в полный и безудержный восторг: вертяться как белка в колесе между лесенкой и ледяной дорожкой, съезжала то на корточках, то пистолетиком, то паровозиком, уцепившись за чей-нибудь хлястик. Рано или поздно воспитательницы спохватывались и выводили виновницу на обочину. Она стояла ти-

хо и послушно, упираясь глазами в свои коленки: на грубых серых рейтузах висели катышки льда. Воспитательницы требовали от нее честного слова, и, давая его бесчисленное количество раз, Инна знала, что врет.

Теперь она шла, не торопясь, поглядывая на встречаемых женщин. Те, кто постарше, были одеты в темные драповые пальто с желтыми норочками. Девушки кутали шеи в сероватые песцовые воротники.

На Невском начиналось самое интересное. Забыв о своем пальто, перелицованном из материнского, Инна выслеживала лисьи шкурки и стреляла глазами в их владелиц. Их лица, тронутые косметикой, играли, как осенние яблоки. Инна злилась на себя и торопила время, во власти которого было превратить ее в черно-бурю красавицу.

Женщина лет тридцати шла по проспекту, не смешиваясь с общим потоком.

Взгляда было довольно, чтобы угадать ее счастливую жизнь. Инна замедлила шаг и, напевая фокстрот из новой оперы, двинулась следом.

Дойдя до «Севера», женщина остановилась. Продолговатый разрез глаз удлинялся густой чернотой. К вискам уходили стрелки, выведенные по моде десятилетней давности. Напрягая острые глаза, Инна различила изъян: ушная раковина, выбившаяся из-под высокой шапки, как локон, имела едва различимые щербинки. Женщина повернула голову. Поймав Иннин взгляд, улыбнулась и отвела стрельчатые глаза.

Мужчина, одетый в распахнутую дубленую куртку, пересекал Невский проспект. Поток машин тронулся стремительно. Он стоял, виновато разводя руками. Женщина пошла к кромке быстрым, счастливым шагом. Красный глаз близкого светофора вспыхнул над

перекрестком. Он шел навстречу женщине, и Инна смотрела на него цепкими глазами.

Нос, узкий в переносице, расходился к крыльям. Рот улыбался тяжелыми, как будто набрякшими губами. Улыбка, встречавшая другую женщину, дрожала, словно отделяясь от темного лица. Улыбка плыла в Иннино небо, колыхаясь в таких водах, о существовании которых Инна до сих пор не знала, и у нее, стоявшей на пустынном берегу, холодом свело десны. Она почувствовала удар в грудь и услышала слабый стук, как будто набрякшая улыбка завела ее сердце, и оно пошло отсчитывать время. В этом новорожденном времени мужчина предложил спутнице руку.

Мокрый снег повалил хлопьями и залепил короткие рукава. Из них торчали красноватые, гусиные запястья. Инна счистила липучие хлопья и, одергивая рукава, пошла к остановке.

* * *

Мать выдавливала кремовые буквы: С НОВЫМ ГО...
Дописав, отложила кособокий фунтик и вытерла стол. На тряпке проступили маслянистые пятна.

– Ну как? Правда, красиво? – так и не дождавшись ответа, протянула банку с зеленым горошком. – Вымой руки и украшай салат.

Инна пошла в ванную и, подержав пальцы под холодной струей, взялась за полотенце. Оно тоже казалось масляным.

Мать помешивала в кастрюле деревянной ложкой:

– Ты – будущая женщина. Всему должна научиться: и мыть, и стирать, и украшать... – словно открывала дверь в будущую жизнь, которая пахла тушеным мясом.

Инна вдохнула, чувствуя приступ дурноты, и поднесла к губам выщербленный край.

– Губы порежешь! – мать колдовала над плитой.

Инна допила гороховый сок и оглядела раковину, забитую грязной посудой:

– Елку не украсили. Всё. Пошла украшать.

Стол, покрытый праздничной скатертью, топорщился крахмальными уголками. Отец вынимал рюмки и, поднимая к потолку, заглядывал в них, как в маленькие подзорные трубы.

– Знаешь, на кого ты похож? На звездочета.

– Та-та, та-та, зависит ли удача от звездочетной мудрости моей? – он пропел оперным басом и кивнул на елку, зажатую в крестовине. – Давай подключайся.

Елка, оттаявшая в тепле, зеленела новыми побегими. Шары легонько дрожали в хвое. Инна взяла коробку с игрушками и принялась вытаскивать картонные фигурки. Серебристый орел, черный жаворонок – птиц она укрепила повыше. Разноголовое стадо – овца, коза и корова – заколыхалось у ствола. В самом низу, над крестовиной – лягушку, рыбу и мышь.

– Класс! Все звери, какие бывают! – Хабиб смотрел с восхищением.

Инна остановила взгляд на вершине:

– Ага. Только нас не хватает...

– Нас? Каких – нас?.. – пошарив в опустевшей коробке, брат подал звезду.

– Людей, – Инна гладила острые грани. – Не всех, некоторых... Ладно, тащи стул.

Отец заглянул в последнюю рюмку и хлопнул в ладоши. Кухонная дверь широко распахнулась, и в звоне елочных шаров показалась торжественная процессия:

мать несла блюдо. Хабиб тянул столик, уставленный салатами. Повозку с праздничной снедью украшали бутылки с домашними винами, заткнутые высокими пробками.

Отец приглушил телевизор, разлил по рюмкам ягодное вино и смял салфетку:

– Хороший год! Очень хороший год! Помянем его добрым словом, – выпил и пригладил лысую голову.

– Главное, квартиру получили! – мать оглядывалась радостно.

Их жизнь говорила сама за себя и требовала новогодней благодарности.

«Нет, – Инна сидела, уткнувшись в тарелку. – У меня будет по-другому. Всё по-другому. Всё».

Из эфирных глубин выплывала Спасская башня, похожая на стебель огромного цветка.

«Цветик-семицветик», – Инна вспомнила детскую сказку и усмехнулась. Звезда расправила рубиновые грани, испуская пунктирное сияние. Волшебный цветок обещал выполнить любое желание, стоит только оторвать лепесток и прошептать:

Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...

Лепестков было пять, и их следовало беречь, но когда сияющая звезда остановилась над Инной с последним, двенадцатым ударом и густая эфирная волна понесла одуряющую весть о новом, 1975 годе, Инна, отчужденно оглядев мать, отца и брата, оторвала лепесток и, бросив в эфир свое первое желание, произнесла так, чтобы быть услышанной:

ВЕЛИ, ЧТОБЫ Я ВСТРЕТИЛА ТОГО МУЖЧИНУ.

Благосклонно кивнув, Спасская башня исчезла.

Все каникулы она напоминала о себе заставкой к программе «Время». Инна смело смотрела на экран. Днем она и вовсе не думала об этом, но к вечеру, когда время подбиралось к девяти, торопилась домой, украдкой поглядывая на часы. Башня хранила молчание. После каникул Инна поняла, что ждать нечего. Теперь она думала о новой опере, которую следовало купить.

Все складывалось необыкновенно удачно: Ксанка сговорилась с одноклассником, родители ничего не заметили. Подходя к Чибисовой парадной, Инна думала: «Заметят, выкручусь... Уж как-нибудь...»

Чибис показывал фокусы и болтал о всякой ерунде. А потом раздался густой насмешливый голос, и он сказал: «Отец. Пошли познакомлю», – и, выйдя из чулана, который Чибис назвал лабораторией, она узнала *того* мужчину.

Выбравшись из их квартиры с десяткой в кармане, она честно направилась к остановке, намереваясь ехать за пленкой, но что-то гадкое, идущее следом, успело вскочить в автобус, на ходу отжав заднюю дверь. Инна отодвинулась, но оно наваливалось всей тяжестью. Вжимаясь в холодное сидение, она думала о звезде. Звезда, на которую она положилась, совершила подлог, словно подала пальто, вывернутое наизнанку, а она сунула обе руки, не оглядываясь и болтая о постороннем, и, только коснувшись мездры воротника, поняла, что переодеваться поздно: оно запахло обеими полами и застегнулось на все пуговицы. Она сидела, боясь сдвинуться с места, и ждала разоблачения. Ей казалось, будто она едет без билета и вот-вот должны войти контролеры, чтобы вышвырнуть ее из автобуса. Не дожидаясь позора, она встала, надеясь пробиться к выходу, но события последних недель повернулись

к ней спинами, не желая ни сдвинуться, ни поменяться местами.

Дома никого не было. Инна взглянула на занывшее запястье: стрелки подползали к девяти.

Занявшийся экран брызнул бравурной музыкой, и под привычный перезвон выплыла новая заставка: силуэт страны, похожей на грузное животное с поджатыми передними лапами. В той единственной сверкающей точке, где должна находиться Спасская башня, стоял правильный красный круг. Инна впиалась в него глазами и поняла, что обратного пути нет: коготок, сунувшийся в этот круглый капкан, увяз.

Приложив ладони к светящемуся экрану, она стояла на коленях перед электрическим ящиком и чувствовала, как по рукам бегут разряды – к судорожно сокращающемуся сердцу.

* * *

Орест Георгиевич погасил торшер и вышел в коридор. На столике рядом с телефоном лежала записка.

Он подошел к двери и прислушался: в комнате сына было тихо. Орест Георгиевич помедлил, но решил не беспокоить. Последнее время Антон часто отсиживался у себя.

«Неужели узнал?.. – Орест Георгиевич подумал о Светлане. – Сюда не приходила ни разу. Может, что-то почувствовал?.. Надо поговорить, успокоить. Опасный возраст. Сказать, что наша жизнь никак не изменится», – перечитал записку, смял и бросил в корзину для бумаг.

С Павлом Пескарским, бывшим одноклассником и нынешним шахматным партнером, они жили в сосед-

них домах. Но после школы много лет не встречались, во-первых, потому, что и прежде не слишком-то дружили, а во-вторых, Павел, закончив медицинский, уехал по распределению за границу, где и прожил, совмещая основную работу с должностью врача при советском посольстве. Как оказалось, он всегда был страстным поклонником шахмат, но за границей вынужденно смирял свои шахматные порывы, потому что разумный человек, находясь на *такой* службе, вообще многое смиряет.

Два года назад Пескарский, первым из их класса, защитил докторскую диссертацию, но тема была закрытой. С Орестом он не обсуждал. Орест Георгиевич не хотел в этом признаться, но защита Павла произвела на него сильное впечатление. Первое время он даже начал величать его Доктором, но потом поменял Доктора на Врача. Тем самым, без ущерба для уязвленных чувств, сложилась некоторая позиционная гармония, но выскакивал совершенно неожиданный, третий смысл, который у нормальных людей скрывается за вопросом: «Врач не приходил?»

В их случае появление Врача означало очную шахматную партию, а его звонок – заочную. Антон – шахматный адъютант – фиксировал сообщения знаками на листочках блокнота. Павел Александрович называл Ореста Аналитиком, поэтому листки, аккуратно вырывааемые Антоном, выглядели следующим образом: «Вр. – Ан.; Ф в5 – а5» – и слегка напоминали шифровки.

Случалось, начатая партия пролеживала в шахматном ящике неделю-другую, потому что Павел Александрович уезжал в командировки, как правило, в столицу, и, возвращаясь, хандрил, остывал к игре и подолгу не садился за доску. Должно было пройти какое-то время, прежде чем на телефонный столик ложилась новая

шифровка: «Вр. – Ан. Буду по-московскому». Что означало: 21:00, начало программы «Время».

Павел ценил пунктуальность. Едва заставка, появлявшаяся из экранной глубины маленькой ладьей, вырастала до размеров башни и плотные объемные буквы, всплывнув, выступали из глубины, как в торжественно-бравурную партитуру врывался дверной звонок. Голубой экран гас, за ним гасла и хрустальная люстра. Соперники усаживались в глубокие кресла и зажигали плоеный торшер.

Орест Георгиевич покосился на часы, но тут, уже не шумом крыльев, а фейерверком в темное небо, раздался новый телефонный залп. В коридоре послышались шаги и голос сына: «Да? – помедлил и продолжил едва слышно. – Ладно. Приходи». Орест Георгиевич уловил звук трубки, легшей на рычаги.

Щелкнувший выключатель прозвучал выхлопом запоздалой ракетницы.

– Ой! Ты дома?.. Врач твой звонил – придет, – о другом звонке Антон не обмолвился. Орест Георгиевич зажмурился: тусклая тень легла на глазное дно.

– Пожалуйста, выключи, – Орест Георгиевич указал на люстру и потянулся к торшеру. Перед глазамиплыли какие-то точки и клубки.

– Давно не приходил, правда? – Антон подошел к телевизору.

– Кто?

– Ну, Павел твой, – сын нажал на кнопку. – И не звонил. Экран занялся нежно.

Орест Георгиевич кивнул: в последний раз Павел приходил с месяц назад.

Эфирную пустоту сменил циферблат останкинских часов. Эталонная стрелка вступила в последний квадрат: пять секунд – полет нормальный, десять секунд –

полет нормальный, пятнадцать секунд... – и обратным счетом, принаравливаясь к судорожным кровеносным толчкам: два, один, ноль! – из глубины эфира, описывая заранее рассчитанную траекторию, вылетел ново-рожденный спутник.

Диктор произнес обычное приветствие и потупил глаза. На экран, как тяжелое солнце, выплывал хор старых большевиков. Верхний ряд состоял из старцев, нижний – из старух, затянутых в бархатные платья. Морщинистые шеи были убраны кружевами. Хор исполнял гимн Советского Союза.

Прислушиваясь к звукам, знакомым с детства, Орест Георгиевич думал: «Опаздывает. На него не похоже...»

Торжественно-смиренная мелодия двигалась верхним, стариковским, рядом. Их глаза смотрели спокойно и отстраненно, не предавая этот мир ни хуле, ни хвале. Единственное, что можно было заметить в голубоватых, уже беспомощных глазах, – еще не отмершую потребность рассказать о своей жизни, о том, что сотворил с ними их долгий век.

Всплыло абсолютно невозможное: отец, поющий в хоре. Орест Георгиевич сморщился и мотнул головой.

Нарумяненные старухи выпевали слова о кровавом мщении. В их глазах тлел огонь. «Так и ждут, чтобы кинуться на врага всей стаей. Уж эти растерзают... Любого, кто посмеет предать хуле их *единственно верное учение*... Вот кому хорошо в коммуналках... Впрочем, – он хмыкнул, – уж эти точно не в коммуналках. Позаботились о себе...»

Чибис, стоявший за спиной отца, думал о том, что эти старики и старухи боятся смерти.

Словно расслышав его мысли, руководитель хора возразил с экрана: «Мы смерти не боимся. Мы отдали жизнь борьбе за справедливость. Наша жизнь принад-

лежит Партии, и...» – план прервался, как будто режиссер постеснялся пустить в эфир продолжение, но Чибис успел себе представить Партию в виде огромной седой бухгалтерши, аккуратно заносящей в толстый гроссбух отданные ей жизни.

– Не опоздал? – в телевизионном экране отразился Павел Александрович. Пахнуло дорогим коньяком. – Между прочим, двери полагается закрывать. Мало ли кто воспользуется... А? – он подмигнул Антону. – Отбой воздушной тревоги! Не беспокойтесь, дорогие товарищи, двери я закрыл. Так, – Павел обернулся к телевизору, – эт-то что такое?

Орест Георгиевич смотрел на экран. Старческий концерт затягивался.

– Неужто помер? *Лично* наш дорогой и любимый? – Павел переменял тон.

– Вряд ли... С утра бы траурное гоняли, – Орест покосился на Антона: при сыне старался избегать *этих разговоров*.

– А эти-то откуда? – Павел смотрел на экран. Камера скользила по старушечьим лицам. – Бр! – он передернул плечами. – Прямо эринии какие-то... А? Или гарпии? Кстати, никогда не понимал разницы, а ты?

– Не помню... – Орест откликнулся неохотно. – Вроде бы гарпии – полуженщины-полуптицы. Или – наоборот.

– Эринии – старухи, – Чибис вспомнил картинку из старой энциклопедии. – Три: Алекто, Тисифона и... еще одна, я забыл имя. У них еще змеи вместо волос. И факелы в руках, и кровь изо рта капает.

– Фьють! – Павел присвистнул. – Да... Описание впечатляющее. Тезку-то твоего кто преследовал?

– Нет, точно не помер, – Орест Георгиевич нажал на кнопку. Экран съезжился шагреновой кожей. – Прости, – он посмотрел на Павла. – Что ты?..

– Ореста, Ореста. Его-то кто преследовал?

Орест Георгиевич разглядывал плоеный торшер.

– Конечно, эринии, – вступил Чибис. – Мстили за убийство матери.

– Матери? – Павел Александрович поднял брови. – Разве? А мне казалось...

– Что тебе казалось? – Орест Георгиевич переспросил напряженно.

– Нет, ну что вы! Я точно помню, – Чибис заговорил торопливо. – А хотите, могу проверить... – он вскочил с места.

– Сейчас же сядь и прекрати! – Орест Георгиевич приказал громко и раздраженно.

– Но я же... я только...

– Не понимаю! У нас что – научный семинар? Или мы...

– Пожалуйста, успокойся, – Павел поднял руку. – В любом случае Антон-то здесь при чем? Виноват я, завел дурацкую тему...

– Ладно, – Орест Георгиевич опустил в кресло. – Проехали.

– Господи! – Павел схватился за голову, изображая ужас. – Из головы – вон! Я ведь не один, – он произнес торжественно и, распахнув дверь, отступил в сторону. – Представьте, стояла на лестнице. Не решалась войти.

В дверях показалась Инна. Вошла и остановилась, положила руку на портьеру. Кисть тонула в плюшевых складках.

– Батяня твой, а? – Павел Александрович подмигнул Чибису. – Суро-ов, бродяга! Всех запугал...

– Вот, – Инна достала из кармана красноватую бумажку. – Раньше не получилось. У нас был потоп.

Орест Георгиевич смотрел мимо.

– Что вы говорите! – Павел воскликнул, будто речь шла о чем-то приятном. – И кого же вы топили?

– Не мы, а нас. Три дня лило, – она говорила серьезно, словно дом, отрезанный потопом, три дня носился по водам залива, пока его обитатели боролись за жизнь.

– И как же вы спасались? Надеюсь, попарно? – Павел Александрович гнул свою линию.

Чибис стоял в стороне, тревожно прислушиваясь. Сегодня ее голос звучал выше и напряженнее. «И еще... – он вдруг понял, – лицо». Что-то стягивало черты, делая их жесткими.

– Да мы вообще ни при чем. Тетя Лиля виновата – оставила краны. Все говорят – нечаянно, а я думаю – нарочно. Мама ее жалеет, говорит: все дети умерли, а я думаю...

– Умерли? Когда? – отец перебил.

Вопрос прозвучал странно, ответ – тем более:

– Никогда. Сразу, не успели родиться. Двое, а квартиру дали трехкомнатную. Как нам, – она одернула рукав блузки. – Скажете, это справедливо?

Орест Георгиевич покосился на десятку, лежавшую на столе. Эта девочка повторяла чужие слова. Должно быть, так рассуждали ее родители, у которых она выпросила деньги.

– Странно... – он почувствовал жжение, словно в ладонь впицась острая щепка. – Какой справедливости вы ищете? Если все дети умерли? Это... – он старался говорить спокойно, – такая несправедливость, что отдай вы хоть все свои комнаты...

– Мы? – она одернула другой рукав. – При чем здесь мы?

– При том... – он чувствовал, что сбивается с мысли, но не мог остановиться, – что вы живы.

– Так что ж теперь? – она смотрела холодно и враждебно. – Нам тоже умереть?

– Вам – не надо, – Орест Георгиевич смотрел на красноватую бумажку с ленинским профилем в овале, как будто пытался уловить связь. – Тем более, – встал и отодвинул кресло. – Тем более... Пока что умираем мы.

– Так-так-так, – Павел Александрович поднял руки. – Пора договариваться о терминах. Вы, – обернулся к Инне, – насколько я понял, имеете в виду социальную справедливость. Кто-то воспользовался служебным положением. Увы, в этом вопросе даже наше самое совершенное в мире общество пока что не вполне совершенно, – он усмехнулся. – Повторяю: пока! Решить эту задачу призваны грядущие поколения. Что касается вашего оппонента, он говорил о другой справедливости, которая, как бы это сказать... не пересекается с вашей. Надеюсь, – он обратился к Оресту Георгиевичу, – я хорошо объяснил.

Орест Георгиевич кивнул. Ему показалось, Павел верно выразил его мысль, и теперь эта девочка поймет.

– Как параллельные прямые? – она переспросила, но Чибис услышал вежливую издевку: так разговаривают с тупыми учителями одаренные ученики.

– Да, да! Именно, – отец подхватил доверчиво.

– Предпочитаю другую систему аксиом. Вот вы говорите: разные справедливости. Хорошо, возьмем мою тетю. Ее дети умерли – это несправедливость. Но другие-то чем виноваты? Но она же всех ненавидит. И не просто. Не ждет, а действует: то газу напустит, то воды. Ну и где здесь справедливость?

– Я хочу сказать другое, – отец ответил твердо.

– А вы говорите, – теперь она обращалась к Павлу, Чибис пытался следовать за спором, но мысль сбива-

лась, – эти прямые никогда не пересекутся. А я думаю – пересекутся. Потому что рано или поздно умрут все. И никакой справедливости не будет. Ни той, ни этой. Ч.Т.Д.

– Что? – отец переспросил беззащитно.

Инна усмехнулась:

– Что и требовалось доказать.

– Согла-асен, – Павел Александрович улыбнулся широко и ясно. – Смерть – вот то единственное, что примиряет всех и со всеми. А вы – умница! – он заключил неожиданно. – В логике вам не откажешь, среди молодых это – редкость.

Орест Георгиевич сник:

– Жаль, что вы не купили оперу, – теперь он говорил очень тихо, – судя по всему, там нашлись бы другие доказательства. Которые не заканчиваются смертью... Наоборот, только начинаются...

– Друзья мои, давайте прервемся, – Павел Александрович обнял отца за плечи, – я пришел, чтобы дать вам волю! В смысле сфотографировать. Сделаю фотографии и возьму с собой.

– Опять уезжаешь? – Орест Георгиевич поинтересовался вяло.

– Вилами, вилами по воде... Но предпочитаю встречать во всеоружии – каждый новый поворот пока еще длящейся, а значит, несправедливой жизни, – Павел подошел к окну и расправил плюшевые складки. – Вуа-ля! Фотографический павильон готов. Превосходная штука, – он достал из портфеля маленький фотоаппарат. – Отечественная разработка, так сказать, побочный продукт основной деятельности. Как твои эссенции, – он кивнул Оресту. – В общем, умеем, если захотим... О чем бишь я? Да... Память несовершенно, а это, – заглянул в глазок, принаравливаясь, – как ни крути, уни-

версальный суррогат. Как сказал поэт: остановись мгновение! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо... А?

– А где вы проявляете? – спросил Чибис.

Павел Александрович взял торшер за ножку и дернул:

– Нет... Не пускает: слишком короткий шнур... Отдаю умельцам. В нашем ведомстве еще не перевелись... не перевелись... – он оставил торшер в покое и зажег верхний свет. – Ну, кто первый? Может быть, вы? – обратился к Инне. – Пусть в моей коллекции останется память о сегодняшней встрече.

Чибис думал, сейчас она откажется, но Инна кивнула.

– Вот и прекрасно! Занимайте место за креслом... Нет-нет, не так напряженно! Да, да... Руку на спинку... Орест! Ты только взгляни: какая красота... Божественно! А теперь замрите, – он навел глазок и щелкнул. – Вот. Это я называю: панацея. Все умрут, а ваша красота останется. На радость будущим поколениям...

Чибис не слушал, смотрел на отца. Отцовский затылок напрягся, словно что-то стянуло кожу. Две глубокие складки, похожие на скобки, прорезали углы рта. Верхняя губа приподнялась кривовато.

– Да... Чудо, просто чудо... – Павел Александрович сел в кресло и откинулся на спинку. – Ну, кто следующий? Может быть – ты? Или вместе? – он смотрел на отца и сына.

– Я? – Чибис сморгнул. – Я потом. Мне надо... – и выскользнул в прихожую. Прикрыв за собой дверь, сел на сундук.

Примостился, упираясь ногами в медное кольцо: «Сколько раз предлагал: взять и снести на помойку... Кому нужны старые пальто... Кто их будет носить...»

Раньше над сундуком была прибита вешалка, на которой висели старые пальто. В детстве Чибис любил

под ними прятаться. Сидел, вдыхая запас слежалого ватина. Тишина закладывала уши. Он жмурился, стараясь не заплакать, а однажды случайно заснул. Отец звал его, ходил по комнатам, пока не догадался заглянуть под вешалку, где и обнаружил сына – красного и ошалелого от духоты. Чибис моргал сонными ресницами, не понимая, почему отец кричит... На следующий день явились какие-то рабочие, и вешалку перенесли на другую стенку.

Из комнаты доносились обрывки голосов. Он сидел, стараясь сосредоточиться. Какая-то мысль – манок, пластмассовая уточка – мелькала, не даваясь в руки... Чибис прижался к стене разгоревшимся ухом и различил шаги. Кто-то ходил под дверь. Он поерзал, прислушиваясь. Шаги затихли. Чибис слез с сундука, намереваясь вернуться в комнату, но тут раздался звонок: короткий, будто кто-то, едва нажав на кнопку, отдернул руку.

– Кто там? – он подошел к двери.

– Пожалуйста... откройте... – женский голос отозвался едва слышно. – Я объясню... Я все объясню...

За порогом стояла женщина. Коротко оглядев Чибиса, она обежала прихожую тревожным, быстрым взглядом. Сквозь портьеру, висевшую на комнатной двери, пробился голос отца.

– Дома? Он дома? – женщина заговорила счастливым шепотом.

– Вы... к отцу? – Чибис отступил.

Она вошла и остановилась у вешалки. Пальцы не слушались. Наконец славив с петлями, сняла пальто и бросила на сундук. Чибис хотел поднять и повесить на вешалку, но она махнула рукой.

– Пожалуйста, проходите... – он пригласил вежливо.

Женщина шагнула к двери. Стоя за ее спиной, Чибис смотрел на сведенные лопатки и высокую барашковую шапку, будто оттягивающую голову назад.

– Проходите, – он повторил приглашение.

Она толкнула дверь и переступила порог.

Отец обернулся и, поймав его глаза, женщина заговорила нежным мелодичным голосом:

– У вас странная, очень странная парадная. Давит, – она поднесла руку к затылку. – Кажется, мне стало плохо, а потом дверь открылась и вышел... Антон... Пожалуйста, прости, но я... ты исчез... я просто испугалась...

Чибис ждал, что отец ответит, но Орест Георгиевич молчал.

– Что до меня, – Павел Александрович откликнулся вежливо, – тут я с вами согласен: эта лестница действительно...

Отец пожал плечами и двинулся к окну. Взялся за подоконник, постоял и зашагал обратно.

– ...Я тоже что-то такое замечаю, – Павел смотрел на отца, провожая его взглядом. – Отчасти мне это даже нравится. Существует же лестница Якова, почему не быть лестнице Ореста? Тебе не надоело туда-сюда слоняться? – и, не дождавшись ответа, обратился к женщине: – А здесь, в квартире, вы ничего такого не ощущаете?

– Ощущаю, – Орест Георгиевич включился неожиданно. – Раньше была нормальная квартира: два выхода – парадный и черный, – он говорил отрывисто и воодушевленно. – Потом половину отрезали: столовую, спальню, вторую ванную комнату...

– Вот что бывает, когда вовремя не запасешься окончательной бумагой, самой последней бумагой! – Павел Александрович смотрел на женщину внимательно, словно ждал, что она ответит.

– Да уж куда мне! Я – не профессор Преображенский. В моих услугах наши старцы не нуждаются... Слава богу, хоть это оставили, – отец оглядел стены.

«При чем здесь – Преображенский? Какой Преображенский?..» – Чибис гадал, удивляясь.

– Ладно тебе! Не прибедняйся... Ты тоже большой ученый. – Павел подошел к женщине. – Может, все-таки познакомишь нас с твоей гостьей?

– Мой друг – Павел Александрович, – Орест Георгиевич произнес тихо.

– Меня... – на мгновение женщина будто бы смешалась, потом моргнула стрельчатými глазами. – Светлана, – и протянула руку.

Павел Александрович поклонился галантно.

– А мы, – Инна смотрела холодно, – живем в новом районе. В Гавани. Из северных – самый лучший. Мы вообще по лестницам не ходим. У нас два лифта: один грузовой, другой...

– С чем я вас и поздравляю, – Павел Александрович задержал руку женщины в своей. – Лифт – штука хорошая. Как говорится, в ногах правды нет.

– Может, чайник поставить? – Чибис думал о том, что с отцом происходит что-то странное.

– Очень своевременная мысль... Кстати, что касается правды, – Павел сел в кресло и закинул ногу на ногу. – Пока Антоша ставит чайник, могу рассказать вам одну прелюбопытнейшую историю из своего египетского прошлого. Жил да был человек. В наших благословенных краях зватья бы ему Иванушкой-дурачком, а в ихних был он фараон-еретик, и звали его Эхнатон... Кстати, – он обернулся к Оресту, – это не миф, а суровая правда. Это я так, на всякий случай.

– Ладно, ладно, – Орест усмехнулся и кивнул головой.

– Да, да, я знаю. Нам об этом рассказывали... – женщина подхватила радостно.

– Рассказывали? И где же? – Павел Александрович спросил, демонстрируя живой интерес.

– Понимаете, я работаю в *Механобфе*, в отделе технического перевода. К нам приходит один... – она подбирала слово, – ученый. Читает лекции по мифологии.

– Ч-ш-ш! – Павел зашипел, изображая комический испуг. – В доме повешенного о мифах – ни слова!

– Что? – женщина переспросила растерянно и посмотрела на Чибиса.

– Это... шутка, – он вспыхнул и отвел глаза.

– Извините, я просто не поняла, – женщина оглянулась на Павла.

– Вот именно, – Павел Александрович кивнул. – Продолжайте, продолжайте.

– Лекции, да... Начал с Вавилона, теперь перешел к Египту. Удивительно, какой эрудит! А как рассказывает... Прямо хочется стать египтянкой, – она взглянула на Ореста Георгиевича и запнулась. – Конечно, всех не упомнишь, но этого я запомнила – Эхнатон...

– Уж поверьте моему опыту, – Павел Александрович смотрел на нее с удовольствием, – этого делать не стоит. Нынешние египтянки... – он сморщился.

Глаза женщины вспыхнули:

– Вы были в Египте?

– И в Египте... И в Вавилоне... То бишь, я имею в виду, в Ираке, – он вздохнул и развел руками. – Ни-че-го. Никакого былого величия. Просто-таки ни следа.

Чибис слушал внимательно и напряженно:

– Он... старик?

– Нет-нет, – женщина покачала головой. – Остался портрет, скульптурный. Поразительное лицо... Глаза... такие большие... А губы, не знаю, будто подпухшие...

Мне кажется, – она помедлила, словно не решаясь продолжить, – похож на твоего отца...

Взгляд Чибиса остановился на Инне: ее лицо застыло, словно его тоже вырезали из камня.

– Нет... – он заторопился, – не этот, не фараон. Я имею в виду ученого. Он... как выглядит?

– Ну, – женщина на секунду задумалась. – Сказать по совести, странно. Ботинки на босу ногу. Правда, правда, – она закивала, словно боялась, что ей не поверят. – Даже не скажешь: неухоженный. Какой-то обшарпанный. А еще... – она коснулась пальцем верхней губы, – бородавка. Огромная, как картофелина. А он ее дергает. Или платком обтирает. Сидишь и думаешь: господи, сейчас оторвется. Конечно, это глупость... – она смешалась.

– Так-так... А еще он о чем рассказывает? – Павел Александрович улыбнулся ободряюще.

– Вообще... О древних мифологиях. Вчера, например, как же его... Мардука. В Вавилоне это верховный бог...

Орест Георгиевич слушал невнимательно.

– ...У этого старика своя особая теория. Говорит: верховных богов много, в каждой цивилизации – свой. Но главное, этот бог всегда рождается как-то по-особому, не как обычный человек...

– Почему – особая? Это известная теория, – казалось, Павел Александрович говорит серьезно. – В христианстве, например, непорочное зачатие. Один из главных мотивов Рождества.

– А еще... Еще он говорил про культ матери... – женщина вспоминала старательно. – А потом про... Иштар. Она тоже верховная богиня. Но так ее звали вначале, а в другой цивилизации дали новое имя: Инанна. Они вообще никуда не исчезают, просто переходят из цивилизации в цивилизацию...

– Кто? – Орест Георгиевич перебил.

– Боги. Он сказал – боги, – женщина улыбнулась.

– Нет, – Чибис вдруг вмешался. – Не боги, а Дух.

– Ну как же... – она улыбнулась растерянно. – Он сказал: все повторяется – каждая следующая цивилизация использует старые мифы. Вот, например, потоп. Этот миф есть в любой мифологии. И в древних, и в нашей, нынешней...

– В нашей? Что вы имеете в виду? – Павел перебил.

– В нашей, в христианской, – снова она моргнула стрельчатыми глазами.

Орест Георгиевич засмеялся, словно услышал хорошую шутку.

Инна слушала, покусывая губы.

– Ну, положим, у нас своя мифология. Как говорится, нам чужого не надо, но и свое не отдадим. Впрочем, бог с ним, – Павел Александрович протянул миролюбиво. – Как вы сказали – Инанна? И чем же она прославилась?

– А вот представьте себе, – женщина поправила барашковую шапку. – Потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила: не пустят, ворвется сама и выпустит их всех на волю.

– И как, подписали пропуск? – Павел Александрович скрыл усмешку.

– Еще бы! Они испугались: у них в мифологии мертвые поедают живых.

– Вот это уж точно как у нас, – Орест Георгиевич произнес тихо.

Павел Александрович кашлянул:

– Ну что ж... Честь ей и хвала. Смелая женщина. И как часто случаются эти лекции?

Светлана задумалась на мгновение:

– Вообще-то раз в две недели. По вторникам. А что? Вы тоже хотите послушать?

– Если б не работа, – Павел улыбнулся тонко и развел руками, – с превеликим удовольствием. Судя по тому, как вы про него рассказываете, этот старик и вправду какой-то уникал. Во всяком случае, энтузиаст.

– А какие у него книги! И современные. Но больше, конечно, старых. Представьте, – Светлана всплеснула руками, – даже прошлого века.

Павел Александрович бросил взгляд на Ореста.

– Охотно представляю. А авторы? Вы, случаем, не запомнили?

– Нет... – женщина засмузилась. – Я ведь обложки не видела. Он только картинки показывает.

– Картинки – это замечательно. Так на чем мы... – Павел обвел глазами аудиторию.

– На Эхнатоне, – подсказал Чибис.

– Вот именно, – Павел кивнул благодарно. – Впрочем, тут тоже не все гладко: сперва его звали Аменхотеп. Если мне не изменяет память, Аменхотеп Четвертый.

– А разве он – не один? – Светлана переспросила удивленно.

– И даже не два, – Павел Александрович покачал головой. – Но в мировой истории осталось только двое: отец и сын. Отец враждовал со своими жрецами, сын пошел дальше – совершил духовный переворот... Не верите, спросите у своего ученого...

Чибис слушал, скрестив на коленях руки.

– А дело было так, – Павел Александрович сел в кресло и закинул ногу на ногу. – Однажды молодой фараон пережил глубокое духовное потрясение: ему открылось, что нет никакого множества богов, а есть один – Единый и Единственный, Великий и Всемогущий: бог солнца – Атон. И узрев эту эпохальную истину, решил Аменхотеп переменить свое имя и назваться Эхнато-

ном. И бороться со старой правдой жрецов за свою новую, еретическую правду. Я не слишком высокопарен? Так вот, он их победил, причем не какими-нибудь колесницами или казнями египетскими, а одним росчерком пера. – Павел поднял руку и что-то выписал в воздухе. – Издал указ, запрещающий писать слово *правда* старым знаком. В смысле, иероглифом. Каково?

– Вот-вот, – Орест Георгиевич кивнул. – Даже эту идею мы благополучно заимствовали...

– Я бы тоже так сделал, – неожиданно выступил Чибис. – Понимаете, мы привыкаем к слову. Попробуйте, напишите много раз, а потом всмотритесь. Я пробовал: *правда, правда, правда...* Ничего не видно, как будто засорилось, – он покраснел и покосился на отца. – Вот я и подумал: что если взять и написать по-другому? Не все, но хотя бы главные слова...

– По-другому? – Орест Георгиевич наконец улыбнулся. – А где гарантия, что снова не засорится?

– Гарантии нет, но можно же попробовать... Как будто... – Чибис чувствовал, как у него разгораются уши, – промыть окно...

– Так, – подытожил Павел Александрович. – Поскольку мы не в Египте и ты не фараон, значит, Иванушка-дурачок.

– А потом опять испачкается? – Орест Георгиевич гордился сыном.

– А мы – на что? Возьмем и опять вымоем. А потом уже не мы – другие...

– Мы – это кто? – поинтересовался Павел Александрович.

– Еретики, – тихо, почти шепотом ответил Чибис.

– Ну что ж... – Павел Александрович вздохнул. – Достойная гражданская позиция. Думаю, нечто подобное вдохновляло и самого Эхнатона. Жаль только, ничего

не вышло, – он развел руками. – Не поручусь за подробности, но ходят слухи, будто жрецы его все-таки отравили. Да еще и стерли новые иероглифы, на которые юный фараон возлагал такие большие надежды. Впрочем, существует и другая теория: дескать, этот юноша просто опередил свое время.... Но у тебя, – Павел Александрович подошел к Чибису и положил руку ему на плечо, – времени уйма! А пока... – закончил весело, – неси-ка, голубчик, чай.

Набрав на клавиатуре слово «чай», я закрыл глаза руками. Сквозь прорехи в плохо сведенных пальцах смотрел на светящийся экран и видел их всех, собравшихся в отцовской комнате. Как будто там был не только фотоаппарат, но еще и чья-то кинокамера. Сидел и думал: конечно, соврала... Потоп, которым она оправдывалась, не мог случиться накануне: книгу они пришли продавать до Нового года, а значит, уже успели познакомиться. Это я запомнил точно: на другой день Ксения не пришла в школу, я позвонил ей, хотел спросить про оперу, но к телефону подошла соседка, сказала, переехали, больше не живут. А еще я помню, как мы с отцом встречали Новый год. Я сидел как на иголках – боялся, что он спросит про эту десятку, но отец молчал. В половине первого я сказал, что хочу спать, и ушел к себе, а потом услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, отец уехал к Светлане. Но тогда мы были незнакомы. Я ничего о ней не знал.

Откуда мне было знать... Я не писатель, у меня другая профессия. Это они воображают себя богами, которым открыты чужие тайны, знают, что упомянуть, а чем пожертвовать: чтобы связать концы с концами, чтобы все подчинилось общему замыслу. А я? Кем я чувствовал себя, когда писал эти разрозненные и неумелые странички? Пожалуй что персонажем. Как там у Достоевского... Надеялся *разрешить мысль*. Свою собственную. Она казалась мне самой важной. Важнее, чем мысли остальных персонажей, за которыми я следил внимательно.

Будь я писателем, мне, вообще, следовало начинать со старика. Того самого, о котором рассказывала Светлана. Конечно, я узнал его сразу, едва она упомянула про бородавку. Потому что встретил его в нашей кондитерской – еще на каникулах, кажется, дня за три до этого разговора, который словно бы записали на камеру.

Он стоял за высоким столиком и лакомился песочной полоской, запивая тепловатым бачковым кофе. За другими столиками оставалась уйма свободного места. Точнее, кроме нас в кондитерской никого не было, если не считать старушки – я запомнил ее шляпку, украшенную обрывком вуали. И все-таки я подошел к нему.

В его лице было что-то притягательное, но в то же время отталкивающее, как эта бородавка над верхней губой, огромная: я старался не смотреть на нее, но не мог отвести взгляд.

Стараясь соблюсти приличия, я перевел глаза на портфель. Этот портфель, чем-то походивший на школьный, стоял у него в ногах – рыжеватый, из кожзаменителя, на двух металлических застежках. Похоже, замки давно сорвались. Приходилось перетягивать ремнем, истершимся, как старый собачий ошейник. Из пасти торчали книжные корешки.

Сперва он меня не замечал. Отвлекаясь от своей полоски, косился на портфель, и глаза его вспыхивали, как у охотника, оглядывающего доверху набитый *ягдташ*. Я помню: у меня всплыло именно это слово – накануне я читал «Войну и мир», сцены с Левиным. Они не входили в перечень глав, которые нас заставляли читать по программе, но я всегда читал подряд. Боялся упустить самое важное.

А потом я увидел: старик ко мне приглядывается, но как-то недоверчиво, словно и во мне было что-то притягивающее и в то же время отталкивающее.

Он сам заговорил со мной. Но сначала вынул из кармана неопрятный платок и обтер рот, попутно захватывая бородавку:

– Надеюсь, я не ошибся, предположив в вас умного и начитанного юношу?

Его голос показался мне неприятным: будто слегка надтреснутый, как кофейная чашка, которую он нес ко рту, но замер на полдороге. А еще это слово: *юноша*.

Если я и кивнул, то, скорее, от растерянности.

– Значит, – он продолжил, – вы должны были задаться вопросом: почему гибнут цивилизации? – тут он снова полез в карман за платком.

Честно сказать, я не понял, с чего он завел про эти цивилизации. У меня, вообще, сложилось впечатление, что старик – городской сумасшедший. Он и выглядел соответственно.

– Дух, – он воздел крючковатый палец. – Только он способен обеспечить величие, но никогда, я подчеркиваю, никогда оно не длится вечно. Проходит время – в лучшем случае несколько столетий, – и соцветие превращается в сморщенную гроздь... – тут он откашлялся и сделал здоровенный глоток. – Города, некогда великие, занимают варвары. Но их сил хватает только на

то, чтобы разрушить камни. Духовные знания им неподвластны. Вы, вероятно, спросите почему? – чокнутый старик потеревбил бородавку, нависшую над верхней губой картофельным клубнем. – А я вам отвечу: миф. Вот универсальный способ передачи сокровенных знаний.

Из вежливости я кивнул.

– Никогда, – его тон стал торжественным, – духовные поиски не начинаются на пустом месте, – тут он заговорил про какие-то *общие мифы*, которые, насколько я его понял, переходят от цивилизации к цивилизации, пересекая историю насквозь. Помню, я еще подумал: что-то вроде печного отопления – как труба, которая начинается в подвале и доходит до крыши. – Поверьте, общих мифов великое множество: Великая мать, рождающая бога, – он загнул палец, – чудесное рождение, – загнул второй палец, – наконец, близнецы...

Тут он заговорил о каких-то близнецах, которые появились еще в Месопотамии и постепенно добрались до Библии. Здесь я отвлекся, потому что представил себе этих древних близнецов, которые карабкаются по трубе. Эта картинка показалась мне ужасно смешной, я даже поднес руку ко рту, на всякий случай, чтобы старик не заметил, если я вдруг хихикну. Но он смотрел куда-то в сторону. Во всяком случае, не на меня.

– Надеюсь, вы понимаете, – он сжал кулак, будто спрятал от меня что-то важное, – мифы не остаются неизменными, но именно они и только они объединяют человечество: мы рождаемся и умираем в разные исторические эпохи, однако в духовном смысле движемся одной дорогой. Точнее, стоим у одного окна. В древности оно было совсем пыльным, но каждая следующая цивилизация накапливала новые духовные знания и в этом смысле его немного промывала...

Тут мне захотелось спросить: а что будет в конце? Станет окно прозрачным или немножко пыли все-таки останется? Но я не решился. Подумал: вдруг этот чокнутый старик разозлится. А еще я хотел спросить: что там, за этим окном?

Но он словно бы прочел мои мысли:

– За этим окном стоят ответы на три главных вопроса, на которых зиждется каждая цивилизация: Жизнь и Смерть, Любовь и Ненависть, Добро и Зло, – тут старик обернулся, будто все эти вопросы стояли за окном кондитерской, прямо на тротуаре Среднего проспекта. Я тоже обернулся и, конечно, ничего не увидел, разве что старушку, допивавшую свой кофе. – Кстати, – он обвел меня испытующим взглядом, – вам никогда не приходило в голову задаться еще одним вопросом: кто такие *волхвы*?

Про волхвов я кое-что слышал: мудрецы, которые шли с Востока, сверяя свой путь по Звезде. Явились, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Но я не стал ему отвечать, потому что к этому моменту окончательно уверился: старик *не в себе*. Не в том дело, что я счел его рассуждения нелепыми. Что я мог знать про все эти мифы – и общие, и не общие? Конечно, я читал «Легенды и мифы Древней Греции». Но лезть с такими разговорами к первому встречному... Короче говоря, я решил *валить*, и чем скорее, тем лучше. Я даже отодвинул чашку с остатками кофе, но старик неожиданно нырнул под стол и, ловким жестом распустив стянутый ошейник, вынул довольно потрепанную книгу, из которой торчали ключки-закладки.

– Вот, – он прижал ее к груди так, что я не разглядел ни автора, ни названия, – дело даже не в том – кто они, эти волхвы. Главное, – его голос снова стал торжественным, – *зачем* они пришли, – он сделал еще один гло-

ток и отставил пустую чашку. – Чтобы засвидетельствовать рождение истины, новой, но в то же время не порывающей с прежними победами Духа. Только при этом условии новая цивилизация может стать великой. Вы спросите: а что будет с теми народами, кто отринет прежние достижения? Их судьба – остаться на обочине, кануть в омут этнографии...

Кажется, я промышчал что-то неопределенное. А еще я подумал, что эти волхвы, если верить старику, похожи на автобусных контролеров, проверяющих билеты. Только не у людей, а у цивилизаций: предъявил – поезжай дальше, нет билета – выходи и стой на обочине.

Я уже успел доесть пирожок и теперь дожидался удобного момента, чтобы благополучно смыться, но старик меня опередил: склонился к портфелю и, вложив в него свою потрепанную книгу, застегнул ремешок. Я стоял и смотрел ему вслед. Еще не догадываясь, что слова этого безумца перевернут мою жизнь. И, Господи, если бы только мою...

Теперь-то я понимаю: я должен был задуматься об этом всерьез, но кто в шестнадцать лет, окажись он на моем месте, справился бы с этой задачей?

Я отвел от лица сведенные пальцы и подумал: Инна. Только она.

Она одна сумела *что-то* почувствовать, когда стояла на коленях перед проклятым телевизором, понимая, что все пропало – и ей уже никуда не скрыться... Или – я отодвинул кресло и вышел из-за стола – могла, но не захотела? В конце концов у нее было время, чтобы обдумать всё как следует и больше не обращаться к Звезде. А может, всё дело в той истории про Инанну, явившуюся на кладбище?..

Я стоял у окна, мысленно прокручивая старую пленку, пока не добрался до Светланиных слов: «Эта богиня потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила: не впустят, ворвется сама. И выпустит их всех на волю... Они испугались: у них в мифологии мертвые поедают живых». А отец ответил: «Совсем как у нас», – а Инна всё это слышала: и миф, и имя верховной богини, похожее на ее собственное. Конечно, это всего лишь совпадение, но разве оно не могло ее поразить? Особенно если потом она нашла этот древний миф и прочла его полностью: Инанна, богиня плодородия, плотской любви и распри, звезда утреннего восхода,ладычица небес... Я попытался представить себе: вот она идет в библиотеку, роется в энциклопедиях, читает этот странный миф, в котором женщина, центральное божество шумерского пантеона, принимает из рук бога-отца таблички человеческих судеб, а пьяный отец посылает ей вслед демонов, и она сражается с ними, а потом превращает в кровь всю воду в источниках, так что деревья начинают сочиться кровью; о ее любви к богу-пастуху Думузи, о том, как она уходит под землю, – в этот общий миф, страну без возврата, – и понял: да. Все правильно, так оно и было. Это я читал и выдумывал знаки, а она действовала. Сама, без оглядки на своих предшественниц...

И что, – я сжал кулаки, – выходит, она сама во всем виновата? Но тогда при чем здесь Звезда? Миллионы людей, жившие и умиравшие в СССР, ничего не загадывали и *ни о чем таком* не задумывались. Ни о тех, чьи таблички остались в древнейших цивилизациях, ни о других, которые гибли в нашей, возомнившей себя наследницей духовного величия...

И тут я вспомнил слова старика: дело не в том, кто такие волхвы, а в том, *зачем* они пришли. Рано или поздно они обязательно являются, чтобы засвидетельст-

воват истину или опровергнуть ее подобие. И в том и в другом случае их самих выбирает история. У волхвов, идущих с Востока, выбора нет...

Все-таки старик сумел задеть меня за живое. «Ну, положим, – я шел домой по Среднему проспекту, – любовь и ненависть, добро и зло... Древние люди могли отвечать на эти вопросы по-своему. Но *жизнь и смерть?* В какую эпоху ни родись, разве можно относиться к ним иначе? Иметь особое мнение, совершенно отличное от нашего?..»

А еще я понял: заговорив со мной, этот старик не ошибся. Потому что я тоже думал о смерти, хотя никогда не видел мертвых, но они окружали меня с самого детства, как ватные пальто, под которыми я прятался. Именно эту мысль я надеялся *разрешить*, когда открывал наш семейный альбом, а потом писал слово *смерть*, но, сколько ни вглядывался, видел только мертвые буквы. «Потому что, – я вошел в свою парадную и оглядел стены, изрезанные надписями и рисунками, – смотрел в грязное окно. А они, те, кто умер раньше? Разве они смотрели в чистое?..»

Дома никого не было. Я зашел в свою комнату и отдернул занавеску. Стоял, пытаюсь понять, *как* они смотрели, когда думали о смерти? И что они там видели – за своим пыльным окном?

И тут что-то сдвинулось в моей в голове, потому что я вспомнил одну тоненькую книжку, старую, еще дореволюционную. Про древних египтян. Она стояла на полке в кабинете отца. Раньше я не обращал на нее внимания, но теперь достал и прочел. Внимательно, от корки до корки. Эти древние египтяне действительно думали по-своему: для них жизнь была преддверием смерти.

«А моя жизнь – что она для меня?»

На этот вопрос я не мог ответить. А потому снова задумался о смерти. Мне казалось, смерть бывает справедливой и несправедливой. Вот, например, мой дед, погибший на войне. Я думал: на войне погибают многие. В этом смысле его смерть справедлива, ею можно гордиться. Сколько раз просил отца рассказать подробнее, но он всегда отмалчивается. А потом вспомнил о духовных поисках: старик утверждал, что они не начинаются на пустом месте. Все, кто умерли до нас, искали ответы на эти вопросы, иными словами, пытались внести свой вклад. Как близнецы, которые карабкались по трубе, стараясь добраться до крыши. Если верить старику, мы, живущие в двадцатом веке, вскарабкались выше египтян.

Эта мысль мне очень понравилась. Согласитесь, приятно почувствовать себя самым умным, умнее всех древних народов, которые лезли и лезли, да так и не добрались до истины. Я даже пожалел египтян. А потом пролистал тоненькую книжку и подумал: кое в чем эти древние египтяне правы. Мы пишем буквами, а они знаками. Любое правописание со временем засоряется, но то, что написано знаками, исправить легче. Знаки живее букв.

И потом: знак можно просто выскрести, а на его место поставить новый. С буквами это не так-то просто.

Я взял листок и попробовал: ПРАВДА, ПРУВДА, ПРИВДА.

Любому первокласснику ясно, что это никакой не новый смысл, а просто ошибка. Те, кто придет после нас, моментально ее исправят да еще будут смеяться над нашей безграмотностью. Вот и получится, что мы никуда не вскарабкались, а так и провисели на одном месте, вцепившись в трубу.

Короче говоря, я понял, что должен делать. Но окончательно решился только после того, как услышал про Эхнатона. Меня поразило это совпадение, будто там, в Древнем Египте, я нашел своего близнеца. Павел Александрович сказал, что у этого Эхнатона ничего не вышло. Но я подумал: мало ли, что у кого не вышло... Во-первых, я живу позже. А во-вторых, у кого-то же получалось. Почему не у меня?..

3

К старой чертежной доске, невесть от кого доставшейся по наследству – в родне чертежников не было, – Чибис прикреплял шершавый ватманский лист. Прежде чем разложиться на столе, он внимательно обошел пустые комнаты, как будто проверил караулы. Старые пальто, висевшие в прихожей, сторожили бессонно и надежно.

Завершив осмотр, сел и открыл альбом. Смотрел на фотографию деда: его дед погиб справедливой смертью – как многие другие, кто погиб на войне. Глаза, губы... И правда, как будто подпухшие. Эта женщина сказала: отец похож на Эхнатона. Выходит, дед тоже?..

Чибис поджал под себя ногу, достал маленькую коробочку и высыпал горсть серебристых кнопок. Теперь он думал о другой смерти – несправедливой и необъяснимой никакими словами – и готовился приступить к тайному делу, которое касалось области их семейного преданья, но если в других семьях эта туманная область начиналась за полями, откуда вам кива-

ют бабушки и дедушки, в их семье всё обстояло иначе. Она начиналась совсем рядом, в больнице Отта, где умерла его мать.

Уже избавленная от предсмертной боли и ужаса прощания, одетая в праздничное платье небесно-голубого цвета, в котором тремя василеостровскими днями позже ее положили в гроб, она уходила от Чибиса, и ветер, никогда не стихающий на Васильевском острове, поднимал ее слабые косы. На фотографии, сохранившейся в альбоме, она носила короткую стрижку, а в ожидании ребенка отпустила волосы и заплела их мягкими белыми тряпочками, но Чибису, лежавшему в высокой кровати в темном здании на Биржевой линии, они виделись не косами, поднятыми ветром, а высокими коровьими рогами. Глядя ей вслед, он чувствовал себя обузой, которую она оставила на руках мужа, – теленком, тоскующим по материнскому молоку.

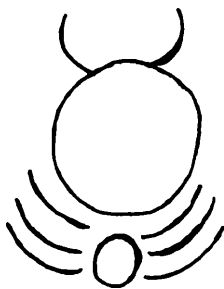
Несправедливость, принявшая облик смерти, с которой началась его жизнь, усугублялась рассказами отца о том, что с тяжелой формой родильной горячки, одолевшей его мать, позже научились бороться, придумав какое-то лекарство или вакцину. Об этой двойной несправедливости он думал неотступно, как будто долгие шестнадцать лет шел, держась за подол ее небесно-голубого платья, в другие края, которые нельзя разглядеть, даже встав на цыпочки у самой кромки Финского залива.

Под Чибисовой беспокойной рукой передовой отряд копейщиков расплзлся по ватманской глади. Каждая из кнопок, прикрываясь круглым щитом, бесстрашно выставляла вперед острое металлическое копыцецо.

Отряд располагался внизу, там, где кончался оазис зеленого сукна и начиналась каменистая пустыня, выбеленная светом настольной лампы. Отделив маленькую

горстку смельчаков, Чибис выдвинул их вперед и дал задание закрепиться на ближних рубежах. Запустив руку в тупичок тумбы, извлек два пузырька с тушью – черной и красной – и коробочку с плакатными перьями.

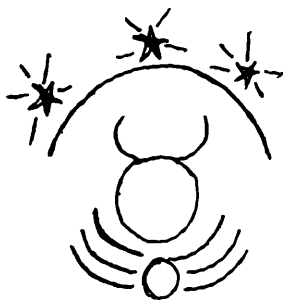
На нижнем краю каменистой пустыни появилась тонкая, чуть-чуть неправильная окружность. Переменив перо, Чибис обмакнул его в красную склянку и пририсовал два выгнутых отростка, похожих на коровьи рога или косы, поднятые ветром. Под первой, бóльшей, окружностью он вывел еще одну – черный шарик, тяжелую маленькую гирьку, под которой разумел себя. Теперь они были вместе, но как-то непрочно, потому что у матери не было рук, чтобы его удержать. Снова переменив перо, он добавил несколько симметричных штрихов: беря начало под большей окружностью, они крылато оперили ее с боков. На этот раз соединение получилось надежным. Шарик, уравновешивая силу материнских, вновь обретенных крыльев, не позволял ей уйти в высокое небо, где косы, поднявшиеся коровьими рогами, будут и вовсе неразличимы.



Рука Чибиса дрогнула. Он замер, прислушиваясь. Кто-то поднимался по лестнице – ему показалось, он слышит шаги. За спиной скрипнуло, как дверь больничной палаты. Чибис обернулся и увидел высокую худую старуху. По густой синей шали, расшитой мелкими

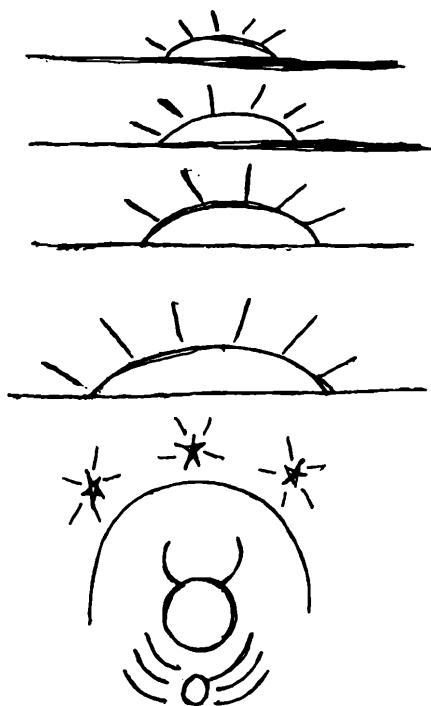
золотыми звездами, которую она, подходя к кровати, накинула на железную спинку, завесив табличку с материнским именем и упоминанием о безымянном еще Чибисе, он узнал бабушку – мать отца. В прежние времена эта шаль принадлежала ей, но потом, после ее смерти, перешла к невестке.

Звездная ткань занавесила солнечное сияние, которым Чибисово воображение окружало табличку – ничтожный кусочек больничного картона, где они с матерью навсегда остались вместе. Бабка склонилась над кроватью молодым и гибким движением, как будто требовала своего места в их тайном общем знаке. Не смея послушаться, Чибис стряхнул с пера лишнюю капельку туши и вывел правильный полукруг. Над ним, словно бабушкина шаль, занавесившая солнце, превратилась в ночное небо, взошли три сияющие звезды.



Еще не осознавая, к чему клонится дело, Чибис дал свободу руке, будто слез с навьюченной, бессловесной ослицы. Рука цокнула по столу костяшками пальцев. Перо отчертило горизонтальную линию и вывело еще один полукруг. Формой он повторял бабушкин знак, но был привязан к небу лучами – будто из-под звездной шали выбилось солнце.

Глаза дрожали, напрягаясь. Знак его прабабки, похожий на солнце, двоился и троился, уходя за новые горизонты, и Чибис понял: цепь, замкнутая тяжелым шариком, состоит из женщин, не связанных между собою прямой последовательностью родства – каждая рождала собственного сына, чтобы через него вступить с невесткой в кровную связь. Этой молодой матери ее свекровь передавала тайну рождения. Так было всегда, кроме самого последнего раза, когда бабка, занавесив их общую с матерью табличку, открыла невестке другую тайну: рождения, совпадающего со смертью.



Чибис стукнул об стол костяшками пальцев и подул на них, словно боль дымилась.

Он понял, почему отец не любит говорить о смерти деда: смерть мужчин не имеет отношения к главной тайне жизни. Он встал и зашагал по комнате, торопя новую догадку: чтобы замкнуть цепь, разорвавшуюся на его матери, нужна *новая мать* – живая и настоящая. Ее надо вовлечь в их семейное прошлое, привить его, как вакцину смертельной болезни, чтобы она, став неуязвимой, выступила *против* его бабушки, тем самым раз и навсегда разделив рождение и смерть.

Чибис смотрел, не отводя глаз, словно горизонтальные линии, выведенные его пером, стали поперечинами, по которым можно карабкаться всё выше и выше, и думал о старике. Этот старик сказал правду: тайное окно существует. Главное, научиться правильно смотреть.

«Еще немного... и всё получится...» – но потом вдруг моргнул, и *оно* рассыпалось. Как будто окно, в которое он заглядывал, снова покрылось пылью.

* * *

«Нам не дано предугадать... как наше слово... отзовется... И что-то как-то там дается, как нам дается...» – Матвей Платонович перехватил расплзающийся портфель.

Памятью он обладал уникальной. Раз прочитанное впечатывалось в нее намертво. Всё, кроме стихов. Вечно ускользали какие-то строчки, словно извилины, скрытые под черепной коробкой, были своего рода научной библиотекой, хранящей исключительно факты. В юности Тетерятников не осознавал своих талантов, искренне полагая, что мало чем отличается от всех

прочих. Глаза открылись тогда, когда, поразив экзаменаторов своими познаниями, он поступил на философский факультет Ленинградского университета. Тут-то обнаружилась еще одна странная особенность, повлекшая за собой неприятные последствия.

Выяснилось, что при всей уникальной памяти Тетерятников не мог стать отличником. Огромный корпус сведений, плескавшихся в его мозгу, не складывался в закономерности, гласившие, что история движется поступательно – от плохого к хорошему. Честно приступая к ответу, Тетерятников довольно скоро углублялся в дебри частных фактов, из которых уже не мог выбрать на светлые поляны советской науки. За лесом фактов ему мерещилось трагическое, чуждое университетским профессорам. Профессора, ожидавшие от него последних оптимистических выводов, пытались прийти на помощь, но талантливый студент сникал на глазах.

По окончании университета он получил распределение в среднюю мужскую школу. Этот недолгий период жизни Тетерятников вспоминал с тоской. Мальчиков, сидевших за партами, не интересовали ни факты, ни закономерности. На уроках истории ученики занимались посторонними делами – Матвей Платонович вещал в пустоту. Со временем он возможно бы и свыкся, если бы они оставили его в покое. То вынимая из-под себя очередную кнопку, то находя в портфеле разбитую чернильницу, он дивился бессмысленной жестокости малолеток, находивших радость в чужих страданиях, но объяснял это тем, что большинство росло без отцов. Однажды, войдя в класс, он обнаружил мертвую собаку – вытянувшись к передним лапам, она лежала перед учительским столом. В собачьей голове зияла глубокая рана. Матвей Платонович смотрел на кровь, свернувшуюся сгустками, представляя себе,

как эти мальчики забивают ее палками. Другой учитель, оказись он на его месте, приказал бы вынести на помойку, но Тетерятников раскрыл портфель и начал урок. Он рассказывал о древних людях, приносивших своим богам человеческие жертвы, и, косясь на острую мордочку, думал: *такое* нельзя оставлять без последствий. На перемене он отправился к директору. Зачинщиков выявили и примерно наказали, но по некоторым репликам в его адрес, которые позволила себе школьная директриса, Матвей Платонович не то чтобы понял, скорее, почувствовал: в каком-то высшем, *философском*, смысле она – на их стороне.

Через неделю он подал заявление, которое директриса охотно подписала, и устроился в научно-исследовательский институт. Его обязанности сводились к подбору и брошюровке документов. Бессмысленная работа не раздражала. Смысл жизни Тетерятников находил в собирании книг. В основу библиотеки легли довоенные приобретения. В те упоительные времена редчайшие экземпляры доставались за бесценок.

До войны Матвей Платонович жил в большой коммуналке на углу 9-й линии и Среднего проспекта. Весной сорок первого он заболел туберкулезом, правда, в закрытой форме. Но все равно его не призвали. Чтобы выздороветь, туберкулезникам требуется усиленное питание. Он был уверен, что умрет очень скоро, а потому не спускался в бомбоубежище: еще неизвестно, какая смерть лучше. Мучили голод и тревога за книги: умру – пожгут. Эти разговоры соседи заводили давно: дескать, вон какое богатство, а тут дети мерзнут... Дети вскорости умерли, но тревога осталась.

Через год, когда норму выдачи немного прибавили, Тетерятников начал подсушивать сухари. Постепенно набрался маленький мешочек. Квартиру он присмотр-

рел заранее: однокомнатную, лепившуюся под стрехой бывшего доходного дома на Среднем. Зимой сорок пятого сговорился с одним контуженным: вдвоем они и перевезли на саночках, пачку за пачкой. Контуженный получил сухари и в придачу тетерятниковскую комнату – двадцать восемь метров. Обе стороны остались довольны сделкой.

Туберкулез отвязался так же неожиданно, как и пристал. Весной сорок шестого Тетерятникова признали здоровым. Теперь он боялся только возвращения прежних хозяев, но года через три успокоился и нанял плотника. До этого книги так и лежали в пачках.

К началу семидесятых книжного богатства прибавилось, чего не скажешь о жилом пространстве: дополнительные стеллажи пришлось пустить поперек. По узким проходам, разрезавшим комнату на ломтики, Тетерятников плавал как рыба в воде.

Теперь подлинные удачи случались всё реже. С тем большим азартом Матвей Платонович выслеживал добычу.

Впервые появившись в чужом доме, он окидывал взглядом корешки и, высмотрев несколько названий, вступал в переговоры. Обыкновенно торг удавался, поскольку, встав на тропу охоты, Матвей Платонович умел быть щедрым. С несговорчивыми хозяевами он прибегал к воровству, но так, что поймать его за руку не было никакой возможности. В худшем случае Матвею Платоновичу отказывали от дома, но дело было сделано, и, хитро улыбаясь, Тетерятников определял добычу на дальнюю полку. К себе в квартиру он не допускал никого.

С годами, отдавая чтению каждую свободную минуту, Матвей Платонович научился лавировать и в море фактов, переполнявших его память. Всё реже отклоня-

ясь в сторону, он сосредоточился на мифологическом аспекте истории, и его мысли обрели относительные границы. Теперь он дожидался пенсии. Всякий раз, когда отдел собирали на очередные *проводы*, Матвей Платонович представлял себя на месте уходящего и, ничем не выдавая своих сокровенных мыслей, мечтал о будущем, в котором не останется места документам: исключительно книги.

Всё вышло случайно. В тот год в Эрмитаж привезли золотую маску Тутанхамона. Сослуживицы, успевшие посетить выставку, обсуждали меры безопасности. Особенно их поразили охранник с автоматом, стоявший у пуленепробиваемого стекла. Все гадали: станет ли он стрелять, если почувствует что-то неладное?

– А вы? – Марья Дмитриевна, не пропускавшая ни одного заметного культурного события, обратилась к Терятникову. – Успели посетить?

Матвей Платонович хмыкнул неопределенно. Конечно, он слышал об этой выставке. Но – идти? Для этого и существуют каталоги. Каталог египетской выставки он надеялся приобрести на днях – через одного книжника, имевшего прямые связи с Эрмитажем.

– Сходите, обязательно сходите! Просто подарок ленинградцам! Конечно, в школе проходят, но, знаете, как-то пресно: рабы, пирамиды... И мужу очень понравилось. Раньше, говорит, думал, все эти боги – уроды какие-то, а теперь говорит: надо почитать. И про богов, и про этого фараона. Вот, – Марья Дмитриевна вынула из сумочки тоненькую книжку, – в библиотеке взяла. Вы случайно не читали?

Матвей Платонович встrepенулся. Покопавшись в пиджачном кармане, он извлек платок, для чего руке пришлось нырнуть за рваную подкладку, обтер рот и, потерев бородавку, к которой его сослуживицы давно

привыкли, принялся рассуждать о виновнике чрезвычайных мер. Ясно и легко выговаривая имена, будто речь шла о личных знакомых, он рассказывал о прелестной Анхсенпамон, дочери Эхнатона и Нефертити, с которой ее будущий супруг, представший перед ленинградцами в виде золотой маски, вырос при царском дворе. Не замечая изумления, проступавшего в лицах, Тетерятников приступил к характеристике амарнского периода и, рассказав про культ бога Атона, назвал его прообразом единобожия, а значит, первым шагом духовной истории человечества на новом – магистральном – пути. Именно с этим культом, нарушая волю покойного свекра, и покончил Тутанхамон.

Обеденный перерыв подступил незаметно. В столовой, дожидаясь своей очереди к раздаче, женщины обсуждали удивительное превращение. Матвей Платонович сидел в уголке и ел суп, не ведая об успехе. Собственно, отвечая на вопрос, он выдал первое, что пришло в голову: дал несколько беглых штрихов. Того, что ответ растянулся часа на полтора, Тетерятников не заметил.

После перерыва в отдел потянулись люди. Просьба продолжить рассказ не застала его врасплох. В лекции, продлившейся следующие полтора часа, Матвей Платонович не повторился ни единым словом, как будто, раскрыв невидимую энциклопедию на новой странице, прочел другую статью.

Глубокие вздохи слушательниц сопровождали рассказ о двух скульптурных портретах царицы Нефертити, один из которых, имевший щербинку на правой ушной раковине, находился в Берлине, а другой – цвета мрамора – украшал экспозицию Каирского музея.

С этого дня жизнь Тетерятникова совершенно изменилась. Пошептавшись и доложив руководству, активистки организовали курс еженедельных лекций под об-

щим названием «История мирового искусства». Начинать решили с шумеро-аккадских времен, поскольку Тетерятников, охотно взявший на себя такое общественное поручение, утверждал, что именно в Южном Междуречьи, которое греки прозвали Месопотамией, следует искать истоки иудео-христианской цивилизации. В разговоре с начальством женщины сумели избежать этого определения, назвав ее *современной*.

Аудитория состояла исключительно из женщин, если не брать в расчет представителя администрации: своим присутствием он почтил несколько первых заседаний. Убедившись, что Матвей Платонович рассуждает о временах, не составляющих опасной конкуренции эпохе развитого социализма, представитель вахту оставил.

За кафедрой Матвей Платонович преображался. Он вещал легко и вдохновенно, ловко раскрывал фолианты в заложенных местах и рачительно откладывал в сторону клочки-закладки. Грассирующий голос, в рабочее время звучавший нелепо, придавал его словам дополнительную вескость. В отличие от мальчиков, оставшихся в далеком прошлом, женщины старались не упустить ни слова.

Ознакомив аудиторию с азами клинописи, Тетерятников перешел к символике зиккурата – ступенчатой пирамиды, каждый ярус которой окрашен в свой цвет. Истоки этого архитектурного новшества он нашел в эпосе о Гильгамеше и, походя коснувшись важной темы по-топа, красной линией прошедшей через все великие книги древности, перешел к деяниям Хаммурапи. Предъявив аудитории фотографию царского камня, на котором был высечен свод законов, Тетерятников подчеркнул его фаллическую символику. Этого слова женщины не поняли, но, взглянув на камень, отчего-то застеснялись и не решились переспросить.

Вторая лекция была посвящена Ассирии. Слушателям запомнился рельефный портрет полководца, чей лысый череп вступал в противоречие с буйно вьющейся бородой. Эта борода, похожая на крахмальный цилиндр, жестко подпирала подбородок, понуждая ее носителя держать голову прямо, что соответствовало его высокому военному статусу. Подчеркивая эту особенность, лектор употребил таинственное слово: *канон*.

Мало-помалу весть о талантах Тетерятникова разнеслась по городу. Вскоре в профком института пришло письмо от смежников. Матвея Платоновича вызвали и, намекнув на материальные выгоды, предложили отправиться в народ. С этих пор портфель Тетерятникова разевал пасть в различных лекционных залах, для проникновения в которые требовались специальные пропуска.

На пенсию Матвея Платоновича отпустили неохотно. В голосах женщин, выступавших на проводах, звенела обида: Тетерятникова призывали не забывать родные стены, давшие ему путевку в большую жизнь.

И прежде Тетерятников не слишком заботился о бренном, ныне производил и вовсе ошеломляющее впечатление. Во-первых, из его гардероба навсегда исчезли носки. Эти парные предметы обладали отвратительным свойством: терялись и рвались. Покончив с носками, Матвей Платонович взялся за ножницы. Изрезав две еще вполне приличные, на его взгляд, рубашки, он изготовил несколько удобнейших пластронов, которые подвязывал на манер детских слюнявчиков, заправляя под лацканы пиджака.

Теперь, обретя достойное поприще, Тетерятников был доволен жизнью – если бы не мысли о смерти, являвшиеся все чаще, и их спутница – тоска. Нет, смерти

он не боялся. Матвея Платоновича томил другой страх: стоит ему умереть, и знания, накопленные за долгие годы, навсегда исчезнут. На память приходила Александрийская библиотека: основанная в III веке до новой эры в правление египетского царя Птолемея III, она была варварски сожжена римским императором Аврелианом в 272 году.

Снова вмешался случай. Время от времени в городе умирали владельцы библиотек, и их наследники, предпочитавшие частные услуги, приглашали Тетерятникова. Оценивал он скрупулезно и честно, а в качестве гонорара подбирал для себя стопку книг, об истинной ценности которых скромно умалчивал. Наследники догадывались, но предпочитали скрывать догадки, поскольку в обмен получали исчерпывающий прејскурант. На букинистов имя Тетерятникова действовало магически.

Большинство владельцев заметных библиотек Матвей Платонович знал лично. Круг был довольно узок: основные библиотечные состояния сколачивались на его памяти, но в тот раз особенно повезло. Мужчина, позвонивший по телефону, назвал свою фамилию, и, прежде чем проситель объяснился, Тетерятников понял: речь идет о библиотеке профессора, много лет прослужившего в Пушкинском Доме. Судя по тону, наследник был беспомощен. Не то чтобы Матвей Платонович собирался его обманывать, но с дилетантом вести дела приятнее.

Работа заняла два месяца, и к их исходу Тетерятников сделался обладателем увесистой стопки, едва помещавшейся в портфеле. Торопясь упиться добычей, Матвей Платонович поднимался по крутой лестнице. До шестого этажа он добрел, задыхаясь.

Пересидев одышку, Тетерятников достал из портфеля четвертинку черного хлеба, порезал ее на аккурат-

ные кусочки – привычка, оставшаяся с блокады, и, радуясь доступности колотого сахара, полезного для мозговой деятельности, поужинал и напился чаю. Затем вытер стол, покрытый старой клеенкой, и взялся за немца, изданного по-русски в 1924 году.

Лет сорок назад, плоховато зная немецкий, – Матвей Платонович всегда завидовал тем, кто успел поучиться в царских гимназиях, – он с грехом пополам осилил подлинник, но счел теорию надуманной. Автор, напротив, показался весьма симпатичным, то есть довольно эрудированным. Подергав бородавку, Тетерятников углубился в чтение. То, что не далось в подлиннике, на этот раз открылось во всей полноте.

Нет нужды говорить, что немец выражался витиевато, – Матвей Платонович понял его основную мысль: конечно, историческое время движется вперед, но не прямо, а прихотливыми зигзагами. Расправляясь с очевидностью, затемнявшей суть дела, немец искал *одновременные* эпохи – подход, чуждый ленинградским профессорам. Эти эпохи приходились на разные времена и разные точки земли. На поверхностный взгляд какого-нибудь университетского дилетанта, между ними не было ничего общего, однако за обманчивой очевидностью немец обнаруживал сокровенную суть: эти эпохи обладали общими свойствами, так что люди, чьи жизненные сроки отстояли друг от друга на многие тысячелетия, на самом деле были *современниками*.

Слово, произнесенное немцем, отозвалось памятью о мертвой собаке, которую ученики принесли в жертву своему сиротству. Говоря формально, эти мальчишки жили с ним в одно и то же время и в одном городе, но их души словно бы отстояли от его собственной на сотни тысяч лет. Будь его воля, никогда он не назвал бы их своими современниками.

Тетерятников трубно высморкался и кивнул: похоже, они с немцем поняли друг друга. Во всяком случае, рассуждали об одном и том же, только двигаясь с противоположных сторон.

Между тем его собеседник приступил к великим цивилизациям древности. Эта тема Матвею Платоновичу была особенно близка. Куда ближе, чем история новейшего времени, которую он наблюдал ежедневно: в книжных и продуктовых магазинах, в лекционных залах и даже на собственной лестнице – когда вступал в контакты с людьми. О современности немец тоже был не слишком высокого мнения, так что и в этом отношении обнаружилось глубокое сродство.

Часа через три, почувствовав резь в глазах, Матвей Платонович отложил книгу и подошел к окну, голому, не завешенному шторами – на такие мелочи он не трагился, – и, глядя в темное небо, лежавшее на крышах, задумался о слове *величие*.

Сколько раз ему доводилось слышать, что он живет в великой стране: революция, индустриализация, победа в страшной войне, наконец, покорение космоса – свершения, ставшие возможными благодаря величию духа советских людей. Но ведь и раньше случались победоносные войны и великие свершения. Чего стоят семь чудес света, о которых писал Антипатр из Сидона: *Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно и колесницам; видел Зевса в Олимпе я, чудо висячих садов, колосс Гелиоса...* – но все они исчезли – сошли с лица земли. Значит, дело не в стенах или колоссах, не в садах или иных рукотворных памятниках. И даже не в победах... В конечном счете всегда являлись варвары, чтобы одержать окончательную победу...

«И топит в пропасти забвенья... и топит в пропасти забвенья... – словно продолжая разговор с немцем, Мат-

вей Платонович пытался вспомнить ускользающую строку. – Да, цивилизации умирали, на их месте рождались новые. Но не каждой из вновь родившихся доставалось в наследство бывшее величие. Потому что не каждая *наследовала в Духе...* Тут немец безусловно прав».

Может быть, собеседник Тетерятникова, размышляющий о судьбах мира, рассуждал не столь категорично, но Матвей Платонович понял его по-своему: оселком, на котором проверяется *величие* цивилизации, становятся не победы на ратном поле, а способность впитать в себя духовные достижения своих предшественников и, развивая их на новом этапе, тем самым вписаться в круговорот *вечных возвращений*.

А еще он понял: этот немец, чьи познания – в сравнении с его собственными – были скромнее, правильно распорядился своей памятью – не позволил ее сжечь.

Дух Тетерятникова воспрянул. Теперь он знал, на что потратить остаток своей жизни. Опираясь на теорию немца, он разгадает сокровенный смысл эпохи, выпавшей на его долю.

* * *

На литературе заканчивали Рахметова. Монотонный голос учительницы бубнил о *новом человеке*. Инна записывала машинально: профессиональный революционер, пришел на смену *лишним людям*, призывал к светлому и прекрасному будущему.

– Пройдет еще немного времени, и *тип нового человека* станет общей натурой всех людей, – Надежда Ивановна закончила мысль, и тут раздался звонок. Все зашевелились.

– Тихо, – она стукнула по столу костяшками пальцев. – Звонок не для вас, а для учителя.

– Все, что ли, на гвоздях будем спать? – Вовка хохотнул и покрутил головой, ожидая народной поддержки.

– Ты, душа моя Черепков, не умничай. Если понадобится – будете как миленькие.

– Надежда Иванна, а если я не могу? Может, у меня эта... гемофилия? – никак не унимался Вовка.

Класс грохнул:

– Ага, видали наследного принца!

– Вот вызову родителей, будешь и принцем, и нищим, – учительница закрыла журнал.

Складывая тетради, Инна думала: и вправду дурак. Эти, у которых гемофилия, совсем другие – глупые и беспомощные, как, например, *та* женщина. Конечно, она узнала ее сразу: счастливица, которая стояла у «Севера». К ней он шел через дорогу, улыбаясь набрякшим ртом. Щербинки на ушной раковине стали заметнее.

За чайным столом женщина сидела напротив: Инна успела рассмотреть. Щербинки на ушной раковине стали заметнее. Но главное – лицо. Под светом люстры оно больше не казалось осенним яблоком – яблоко пролежало в подвале всю зиму, до новой весны. А еще эти стрелки, старомодные, теперь такие не рисуют...

Все вышли в прихожую, но Инна не двинулась с места. Чибис тоже. За столом они остались вдвоем.

– Она вам – кто?

– Никто, – Чибис глядел настороженно.

– А чего ходит?

– Не знаю, пришла... – на этот вопрос у него не было ответа.

– А твоя мама, где она? – Инна прислушивалась к тихим голосам, доносящимся из прихожей.

- Умерла.
- Давно? – она спросила просто, и он ответил:
- Когда я родился.

Вернувшись домой, Инна вспоминала губы, которые Светлана назвала подпухшими, и думала об этой женщине, смотрела цепкими глазами, будто прокручивала фильм: вот он снова стоит, разводя руками, улыбаясь своей набрякшей улыбкой, а она идет ему навстречу. Что-то подступало к сердцу: «Не она, не она... я...» Теперь, словно пленку уже подменили, он пересекал Невский, направляясь не к другой женщине, о которой забыл в ту же минуту, а к ней, стоящей на пустом берегу...

Сказала: похож на Эхнатона... Египет проходили в шестом классе. Инна одернула рукава домашнего халата и пошла к стеллажу. Старые учебники стояли на нижней полке. Она нашла и сдула пыль. В параграфе, посвященном фараонам, никакого Эхнатона не было. Здесь говорилось о рабах, чей труд нещадно эксплуатировали. Пробежав глазами, захлопнула учебник и подошла к окну.

Снег, валивший хлопьями, облеплял холодные стекла. «Как он с ней разговаривал, этот его друг, Павел Александрович... Насмехался, все время насмехался... А эта дура так и не заметила...»

В гостиной поднялись голоса. Инна подкралась и заглянула: родители усаживались перед телевизором – к ней спиной.

«Чибис сказал: жена умерла. *Эта* – вообще никто...»

Отец дотянулся и нажал на кнопку. Спутник облетел Землю с победным писком и исчез. Вместо него выплыл грузный силуэт страны, похожий на животное, поджавшее лапы под брюхо. Затаив дыхание, Инна дожидалась появления башни.

Башня, статная красавица, явилась в рогатом кокошнике. От четырех рубиновых граней, подобно пунктирному сиянию, спускались нанизанные на нити жемчуга. Торопясь, пока заставка не исчезнет, Инна оторвала второй лепесток. Он забился в руке, как живой. «Получилось, в тот раз получилось... Значит, и теперь получится...»

Разжав пальцы, она швырнула в эфир свое второе желание:

ВЕЛИ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ МОИМ...

* * *

На следующий день уроки шли особенно медленно. Выйдя из школы, Инна двинулась по Среднему проспекту – мимо высокой безымянной церкви, гастронома и булочной, переходящей в угловую кондитерскую. За стеклом маячила маленькая старушка – стояла у высокого столика, едва дотягиваясь до столешницы. Птичья лапка, унизанная серебряными кольцами, цепко держала кусочек бисквита, украшенный пластинкой желе. Обрывок вуальки ежилась складками на вытертой шапочке. Сглотнув голодную слюну, Инна вошла.

Мелочи едва хватило на чай. Аккуратно, боясь расплескать, она донесла чашку и поставила на столик. Напротив, за другим столиком, стоял старик. Бородавка, похожая на картофелину, шевелилась, тыкаясь в коржик.

Если бы не бородавка, она ни за что бы его не узнала: мало ли нищих... Но теперь, мгновенно вспомнив, замерла.

Проглотив последний кусочек, он запил остатками кофе.

– Скажите, – Инна решилась, еще не зная, как начать. – Вы ведь... ученый?.. Я... я очень интересуюсь Египтом. Особенно фараонами...

Она ждала, что он откликнется, но старик смотрел безучастно, будто не слышал.

– Конечно, мы проходили по истории. Но мне хочется узнать больше... Например, про Эхнатона. В учебнике про него нету...

Не дослушав, он нагнулся, поднял портфель и направился к выходу.

«Подумаешь!.. – Инна фыркнула презрительно. – То же мне... ученый!..» – и оглянулась на старушку, допивавшую кофе за соседним столиком.

Старушка отставила чашку и подняла на Инну голубые глаза.

– Очень, очень красивая девочка. Смотрю и люблю, – сморщенные губы сложились в улыбку. – Я тоже была красивой. Мы обе: я и сестра... Хочешь, покажу?

Инна кивнула машинально.

Вытерев пальцы аккуратным платочком, старушка открыла сумочку:

– Вот...

Фотография, выцветшая и потертая, ничего особенного: какие-то девочки, стоящие в два ряда. Четыре пониже, три повыше, за спинами, словно им под ноги подставили скамейку.

– А вы где? – просто так, из вежливости.

– Ну как же! – старушка всплеснула птичьими лапками. – Вот же – вторая с краю. А это, – коготок скользнул в сторону, – моя сестра. Здесь нам обеим по шестнадцать.

– Очень красивые, – на самом деле не очень. Просто молодые. – Это что, после войны?

– Ну что ты! – старушка засмеялась беззвучно. – До, конечно, до. Они же погибли, умерли от голода, – она улыбалась, будто говорила о чем-то приятном.

– Все?.. И... ваша сестра?

– Да-да, все, – старушка кивала с радостной готовностью. – А твои родные? – старушка убрала фотографию и закрыла сумочку. – Они были в блокаде?

Если бы не девочки, которые погибли, конечно, она ответила бы правду, но теперь кивнула:

– Да. И мама, и бабушка. Они эвакуировались в сорок четвертом. А мамин отец погиб под Ленинградом, в день снятия блокады, – и улыбнулась, уверенная, что ее ответ понравится.

Старушка подняла руку и сложила пальцы сухой щепоткой:

– Храни тебя Бог, деточка! Храни тебя Господь!

Этого Инна никак не ожидала. Чувствуя ужасную неловкость, она опустила глаза, а когда подняла, не было ни старушки, ни ее кофейной чашки с отбитым краем. На том месте, где аккуратная старушка лакомилась желейным ломтиком, стояла краснорожая баба, таскающая тележку с грязной посудой – елозила тряпкой по пустому столу.

Старушечье благословение таяло в воздухе. Чай стал горьким и вязким. Старуха не могла уйти далеко.

Она выбежала из кондитерской и, свернув за угол, поймала глазами шапочку, украшенную искусственным венчиком. Обежала и перерезала путь. Старушечьи глаза глядели, не узнавая. Инна хотела извиниться и объяснить, что раньше их семья жила в Азербайджане, в Ленинград они приехали после войны – и отец, и мама, а дед был врачом и погиб под Москвой, но нелепая старуха, беспомощно стоявшая посреди тротуара, вдруг вздернула острый подбородок и, защищаясь от

бесцеремонности чужой девочки, застучала палкой о землю.

Инна отшатнулась и замерла: ей казалось, все прохожие остановились и смотрят на нее злыми глазами. Сорвавшись с места, она кинулась прочь. Добежав до знакомой парадной, оглянулась, обводя глазами пустой переулок, и захлопнула за собой дверь.

Немного кружилась голова. «Подумаешь, – утешала себя, – ну старуха... Мало ли чокнутых старух...»

Сердце успокаивалось. В тот раз *он* вернулся домой в половине восьмого. Это она запомнила точно. Инна взглянула на запястье: стрелка часов подходила к пяти. Вниз, в подвал, вели скругленные ступени. «Два с половиной часа... Долго. Ничего, дождусь...»

* * *

Постепенно глаза привыкли к темноте. Инна разглядела окошко, забитое досками, и, сев на подоконник, представила, будто она – княжна Тараканова, а этот подвал – каземат. Сидела, воображая, как вода начнет подступать – всё быстрее и быстрее с каждой секундой... Вдруг показалось, будто в углу что-то шевелится. Инна подтянула ноги и обхватила колени: «Это просто тени... Тени...» Сквозь доски сочились отсветы фонарей. Длинные тени, трогаясь от углов, уходили под своды.

Она сидела съезжившись. Холод сковывал пальцы, лез под рукава. Время, кислое, как вчерашнее молоко, сбивалось в масляный ком и затвердевало на холоде. «Ну и пусть... Вот возьму и замерзну... – вдруг подумала: – А если *уже* вернулся?..» – вскочила, еще не решив, что будет делать, и тут же услышала голоса. Сначала женский, похожий на звон надтреснутого колокольчика:

– Мало ли, мало ли что тебе показалось! Опомнись, опомнись...

Другой, мужской, ответил неразборчиво, но Инна все равно узнала: он.

– Постой, постой! – колокольчик звякнул в последний раз и разбился под ударом парадной двери.

Скользя рукой по стене, она поднялась по ступеням. Под ногами хрустело, будто кто-то разбросал черепки.

«Вернется. Рано или поздно, – она села на батарею и приложила пальцы к горячим ребрышкам. – А вдруг – вместе?.. Ушли, а потом вернутся?.. Может, лучше завтра?..»

Подвальный холод таял. Над льдинками, ныряющими как утки, поднимался беловатый пар. Края лунки осыпались ледяным крошевом. Белые крошки становились все мельче...

Входная дверь хлопнула.

Орест Георгиевич вошел в парадную.

– Вы?! – он смотрел ошарашено. – Что вы... тут... делаете?.. Может быть?.. Пойдемте, – оглянулся на дверь лифта, – туда, наверх...

Детское, полузабытое нетерпение, от которого заныли десны, торкнулось в груди. Помедлив у края, она оттолкнулась, сделала шаг и, уже срываясь вниз по холодному, шипучему, лимонадному языку, успела подумать, что снова, как в детстве, делает что-то абсолютно недозволенное, но горка уже дышала, как надувшаяся лягушка, и выдувала свой длинный язык. В ушах звенело, щеки загорались темным пламенем. Инна летела, зная, что ее время пришло.

В третий раз она поднималась в эту квартиру. Первый пах вином и ананасами, второй – непросохшим

зимним пальто, третий – подвальной землей. Зеленые цифры, выведенные с внутренней стороны лифтовой шахты, промелькнули быстро, будто маленькие акробаты, встававшие друг другу на плечи.

Инна вошла в комнату и села на диван. Руки высохли, как богомольи лапки. Орест Георгиевич кружил по комнате:

– Ну, что ж вы?.. Разве так можно?.. Надо поставить термометр. Кажется, у вас жар, – он спохватился и пошел к шкафчику.

Инна подумала: сейчас он достанет градусник, но Орест Георгиевич выдвинул ящик:

– Я... То есть Павел, Павел Александрович, вы же его помните... Вот, – он протягивал фотографию, – возьмите. Пусть лучше – у вас.

Вообще-то получилось красиво, хотя и по-старинному, как всё у них. Инне понравилась ее рука, словно парящая над высокой спинкой. Волосы, гладко зачесанные, выглядели короткой стрижкой. Жаль, белоснежная блузка вышла желтоватой:

– Мне нравится, – она ответила вежливо.

– Не знаю, как уж это... Но вы... немного похожи... – Орест Георгиевич выдвинул еще один ящик и достал лакированный альбом.

– На кого? – Инна спросила напряженно.

– Нет, конечно... Мне просто показалось, – он хрустнул металлическими застежками. – Так бывает. Ракурс и свет... – говорил, но смотрел не на нее, а куда-то в сторону. – Да, – вспомнил. – Термометр...

– У меня нормальная температура, – она положила фотографию на стол. – Душно. Там, внизу... Просто закружилась голова. И сейчас, тоже...

– Может... чаю? Конечно, вам же надо согреться... Я поставлю... – он вышел из комнаты.

Инна подкралась к двери и прислушалась: где-то далеко звякали чашки. Она обошла комнату, оглядывая портреты, словно искала совета: с чего начать?

Орест Георгиевич вернулся.

– Вот, прошу вас... Сахар – там... Я положил две ложечки. Может, мало?..

– Нет, – она глотнула. – Сладко. Хорошо.

– А я, с вашего разрешения, – Орест Георгиевич снова вышел и вернулся с фужером и бутылкой вина. – Весь день знобит, – улыбнулся виновато.

Инна смотрела, как он возится с пробкой. Орест Георгиевич выпил и отставил пустой фужер.

– И что вы там делали? – теперь вопросы давались легче. – Дожидались Антона?

– Нет, – она отставила чашку. – Я ждала вас.

– Меня? – он сделал усилие, чтобы улыбнуться, поднялся и зашагал по комнате.

– Пожалуйста, сядьте, у меня опять... кружится...

Орест Георгиевич остановился:

– Может, вам лучше... прилечь? Я... принесу плед...

Инна легла, неловко подобрав руки, и пристроила голову на диванный валик. Он снова куда-то вышел и, вернувшись, набросил ей на ноги синее детское одеяльце.

Сквозь неплотно сомкнутые веки Инна смотрела: он ходил по комнате, потом сел в кресло – к ней спиной – и раскрыл альбом.

Приподнявшись на локте, Инна заглянула: женщина, коротко остриженная. Что-то темное лежало на подлокотнике, морщилось звездными складками.

Снова звякнула бутылка.

– Терзают, терзают, рвут когтями, – он бормотал и тер рукой грудь. – Какая странная история! До чего же странная история... Грызет мой мозг. Я думал, спра-

вился... но всё осталось... Нет и не может быть спасения... Всё кончится страшно, так страшно, что даже ты не можешь себе представить... Или можешь? – прошептал громко. – Всё знаешь наперед? Или сердце твое ожесточилось несправедливостью?..

Инне хотелось встать и уйти из этого дома, просто спуститься по лестнице, но что-то, похожее на любопытство, удерживало. Он бормотал и бормотал несвязное, состоящее из непонятных слов. Тягучие слова пахли подсолнечным маслом, как в детстве, когда ставили компрессы...

Когда она открыла глаза, в комнате никого не было. Тихо, боясь потревожить портреты, она подошла к низкому столику: пустая бутылка и две фотографии. Глаза, губы, волосы... «Похожи... Но так... не слишком...» – помедлила и раскрыла альбом. На нее смотрел мужчина: нос, узкий в переносице, тяжелый, словно набрякший рот. «Какой-то родственник», – определила равнодушно и, отомкнув замок входной двери, пошла вниз.

Шла и вспоминала женщину, которая так и не вернулась. Эта женщина говорила: странная лестница, давит. Ничего *такого* Инна не чувствовала, спускалась, зачем-то считая этажи, словно боялась пропустить первый, а еще – встретить Чибиса. Последний пролет она пробежала бегом. «Надо было на лифте...» – подумала запоздало и тут увидела тусклый желтоватый свет. Он пробивался из приоткрытой двери. Она подошла и заглянула: каморка, похожая на дворницкую. Сквозь щель виднелась ситцевая занавеска, топчан, ободраный стул.

Он сидел, опустив голову на руки.

Она открыла и вошла.

Стояла, оглядывая стены – голубые, выцветшие. По ним ленивой походкой шли желтые нарисованные львы. Львы, идущие на водопой, обходили сторбленную фигуру.

Орест Георгиевич услышал шорох и поднял глаза. Прежде чем Инна успела отступить и скрыться, он шевельнул ей навстречу набрякшими губами. Всё возвращалось: нос, узкий в переносице, нежно расходился к крыльям, улыбка плыла, отделяясь от темного лица. Мир, рухнувший за ее спиной, рождался на львином острове, потому что, встав, он снимал с нее сначала пальто и шапку, а потом платье. Цепляясь за его плечи, Инна косила глазами в окно, за которым, подметая двор свалявшимися в войлок космами, всю ночь бродила ленинградская старуха, готовая растерзать ее только за то, что Инна была чужой, не ленинградской девочкой.

* * *

Ночью поднялись четыре ветра с четырех краев неба и сцепились воздушными струями под почерневшим и беззвездным куполом. Ни месяца, ни звезды не виделось с земли, когда они носились друг за другом и, поймав, обхватывали лапами, вонзались зубами в загривки, целились когтями в сверкающие глаза. Ухнули четыре ветра в глубокую воронку, впившуюся острием в Финский залив, и вышли по ту сторону земли, и разошлись на все четыре стороны – каждый на свою; как четыре присмиривших зверя легли у ног ангелов, и четыре ангела надели им на шею поводки и посадили к ноге, как псов. И под тихое утро приснились тишайшие сны тем, кто с вечера заснул под ленинградским серым небом.

Чибис – сын фараона, грамотей и еретик – увидел во сне огромное небо, похожее на непокорный лист бумаги, который храбрые воины-копейщики гвоздили к деревянной доске тонкими, слабосильными копьезами. Оно белело, как чертежный лист, и было непокорным, как свиток. Медленно свивая оба края, небо сползало к середине и уже грозило скататься в узкую, полу трубку, которую чертежники носят в черных кожаных саркофагах, когда солнце – Единый и Единственный бог и небесный ловчий – подняло охотничий рог и протрубило громко, и четыре ангела отстегнули ошейники четверем небесным животным, и львы бросились к солнцу, послушные его голосистому рогу. И сразу же в небесах стало так светло и празднично, что Чибис, вздохнув глубоким, рассветным вздохом, поверил обещанию.

В этот же самый час в доме, который стоял у самой кромки залива, а значит, еженощно рисковал быть втянутым в широкое горло воронки сорвавшимися с поводков ветрами, некрасивая и неловкая девочка лежала в постели в той же самой ночной рубашке, в которой она вставала на защиту высокого, чистого голоса. Ксеньин сон начался в тот миг, когда взошла поздняя утренняя звезда, которую Чибис, по чистоте своей души, предводительницы копеечников, так и не увидел.

Львы шли навстречу солнцу к звездному городу, чьи высокие глиняные стены уже вставали над розовеющим миром. Город полыхнул сотней обитых медью ворот, защищающих его от прожорливых, как саранча, варваров. По дороге, мощеной лазоревыми плитами, шли потоком земные купцы. Рассветный воздух свадебно благоухал корицей и доселе невиданным снадобьем, которое принято хранить в белых алебастровых сосудах, похожих на тот, что Мария несла за обе ручки. В обратный путь купцы пускались через другие – узкие

ворота, и ослики, свободные от клади, цокали копытцами по глиняным плитам. Из-под поднятой к бровям купеческой руки нельзя было рассмотреть муравьиные дорожки строителей, начавших с рассветом свое терпеливое восхождение.

Вскинув звездную руку к змеиному капюшону, красавица, владеющая этим городом, глядела с тронной высоты. Повинуясь ее гаснущим к рассвету глазам, львы издали по короткому, беспомощному рыку и выпростили из-под грудей передние лапы. Тонкие шеи, скрывавшиеся под гривами, хрустнули, когда небесные животные потянулись всеми передними лапами. Четверо рыжеволосых ангелов смотрели безучастно.

Часы показывали седьмой час утра, и Ксения проснулась. Первой утренней мыслью, чиркнувшей острым крылом, было что-то плохое, случившееся с вечера. Она вспомнила: приходили Иннины родители, поздно, когда все легли.

В прихожую она вышла в ночной рубашке, стояла, отвечая на их вопросы: «Давно, еще в начале болезни, она принесла мне пленку... Больше не виделись. Нет, в школу я не хожу».

Потом, когда ушли, лежала, закрыв глаза: какое-то воспоминание, быстрый журавль, то пронесилось, касаясь лба, то уходило в небо. Теперь оно опустилось синицей на одеяло: Иннины метнувшиеся глаза. Ксения встала и пошла на цыпочках. Припав к темному стеклу, разглядела пелену света, висящую над окном верхней кухни. Значит, так и не вернулась...

«Что, что могло случиться, – она легла, отгоняя плохие мысли. – Неужели поехала к ним? Зачем?.. Утром снова придут...» Если придут, придется рассказывать правду: и про оперу, и про книгу, которую украли, и про

долг. «Надо что-то делать...» – она заторопилась, словно решила бежать, не дожидаясь новых распросов.

В темный воскресный час на улице было пусто. Ксения дождалась автобуса и, проехав весь Васильевский остров, вышла у Невы.

Ее следы были первыми на запорошенной остановке. Два надменных женских лица, удлинённых высокими, косо срезанными шапками, смотрели со своих постаментов. В глазах сфинксов тлело презрение. Ксения стянула варежку и подышала на пальцы. Со стороны площади Труда долетел слабый звон трамвая. Мимо проехал автомобиль, и набережная сузилась, расставаясь с ночной пустынностью.

Свернув в переулок, косящий влево, Ксения шла, приглядываясь к фасадам. Записка с адресом осталась в портфеле – она не догадалась захватить. Дома, стоявшие по другую сторону, провожали ее темными настоженными окнами. Дойдя до высокого дома, богато украшенного лепниной, Ксения остановилась: «Кажется, здесь...»

Постояла, собираясь с духом, стараясь не обращать внимания на окна, глядящие в спину. Набравшись решимости, взялась за дверную ручку, но дернуть не успела – дверь открылась сама. Из парадной вышла женщина, скользнула по Ксении невидящими глазами, машинально придерживая дверь.

Темные своды. Штукатурка, изрезанная надписями. Кое-где пласты выкрошились до камня. «Да, здесь».

Желтая лампочка, тлевшая под металлическим колпаком, высвечивала ровный круг. Силы света едва хватило на половину батареи. Ксения примостилась в угол, сидела, согреваясь и раздумывая: во сне все казалось ясным, теперь, когда добралась до их дома, она не понимала – зачем пришла?

Парадная дверь стукнула. Тень женщины, которую только что встретила, вошла и остановилась, словно замерла. И сразу, как будто того и ждали, скрипнули дверные петли. Стена, покрытая искрошенной плиткой, раскрылась на узкую полосу света, и из этой светящейся полосы выступила другая тень. Глаза женщины метнулись, и мелодичный голос, какой не может принадлежать горестной тени, воскликнул: «Оре!..»

Тень, выступившая из стены, съежилась. Полоса света делалась уже, пока не превратилась в острый, вертикальный луч.

Еще не упал, разбившись, высокий голос, но из перехваченного женского горла уже выползали шелестящие змеи: «с-с-с... т-т-т...»

На Ксеньиных глазах происходило необъяснимое: на площадку вышел отец Чибиса, за ним – Инна. Дверь, открывшаяся в стене, светила им в спины, словно держала факел.

Ксения вжималась в стену, будто надеялась, что ее стена тоже развернется и она исчезнет, успеет скрыться.

Дверь захлопнулась: погас догоревший факел. Лампочку, висящую над входом, шатнуло ударом сквозняка.

– Как же ты?.. Как же ты мог?.. Она же... боже мой, девочка! – женщина свела руки на горле.

Металлический колпак ходил из стороны в сторону, отбрасывая безобразные тени. Они ложились на Иннино лицо.

Уже не понимая, что делает, Ксения оторвалась от трубы, упершейся в спину, и шагнула в круг. Три пары глаз сошлись на ней, словно вонзились в грудь. Расправляя легкие для вдоха, она встала на цыпочки. Ноги, слабые после болезни, дрожали птичьими лапами:

– Я пришла... потому что мне снился город и звезда... Эта звезда предаст и погубит...

Круг лопнул и раскрылся. Тени, шедшие хороводом, остановились.

– Орест, она больна! Разве ты не видишь – больна, больна... – женщина повторяла растерянно.

Орест Георгиевич перевел взгляд на девочку, чье неожиданное появление спасало от невесть какой развязки, и произнес крепнущим голосом:

– Надо наверх – здесь нельзя.

В прихожей Ксения размотала теплый платок. Под ним оказался другой – белый, банный, завязанный с вечера.

Пропустив вперед больную девочку, Светлана вошла в комнату и направилась к окну. Стояла, пытаясь справиться с дрожью, смотрела на противоположную стену: ни одно окно не прожигало ее насквозь. За спиной вспыхнул верхний свет, в оконном стекле отразилась комната, разоблаченная до последнего угла.

Антон, одетый в пижаму, появился в дверях, жмурясь со сна. Светлана обернулась.

Инна, стоявшая у журнального столика, одергивала юбку:

– Тебя... родители прислали?

Ксеньина голова дернулась, и белый платок сморщился, как будто собирался заплакать:

– Нет, они спят. Я сама, – голос пульсировал то тише, то громче. – Мне приснился сон. Я видела город и подумала, что скоро умру... Мама говорила, в нашей семье умирают мальчики... Но теперь я осталась одна, и... наверно... придется мне...

– Дальше, – Орест Георгиевич приказал каким-то неживым голосом.

– Там кирпичная башня и дорога: между стен. Вся выложена плитам... Желтые львы по голубому...

– Врешь! Ты... ты подсмотрела! – Инна выкрикнула отчаянно и сжала кулаки.

– Она не врет. Я тоже... Мне тоже... снилось... – Антон заговорил быстро и сбивчиво.

Светлана подошла и, взяв его за локоть, зашептала настойчиво. Он помедлил, потом кивнул и выскользнул из комнаты.

– Я хотела... накопить и отдать, но сразу заболела, и завтраков больше не было. Я пришла сказать, что обязательно накоплю...

– Без тебя отдали, – Инна шевелила мертвеющими губами.

Чибиc вернулся и сел, поджав ногу под себя. Рука пошарила и наткнулась на карандаш: втянув голову в плечи, он царапал карандашом по столешнице.

– Орест, девочке нужно лечь! – женщина произнесла жестко.

Чибиc сидел, не поднимая головы: водил карандашом, словно записывал за ними слово в слово.

– Сейчас она ляжет, – громко и раздраженно произнес Орест Георгиевич. – Но сначала я пойму, при чем здесь мальчики и этот город. Там, – он ткнул пальцем вниз, – она говорила другое!

– Что бы мы ни говорили *здесь, там* мы уж точно заговорим по-другому, – раздался влажный голос. Павел Александрович входил в комнату.

– Это я попросила, сказала позвонить, девочке нужен врач, – над плечом Ореста Георгиевича Светлана объясняла шепотом.

Чибиc царапал и царапал по столу. К его недоумению, Павел Александрович, вызванный к больной Ксении, взглянул на нее мимоходом и направился к отцу. Коротким жестом он нащупал позади себя стул и сел напротив. Глаза отца избегали его глаз.

– Погасите верхний и зажгите торшер, – распорядился Павел Александрович. Чибис поднялся послушно. – Начнем сначала: итак, что говорила девочка?

Из Ксеньиного угла белел головной платок.

– Она говорила, – Орест Георгиевич сцепил пальцы, – про какую-то звезду, которая предаст и погубит... – Светлана видела, он пытается усмехнуться. – Нет, нет, – он отмахнулся нетерпеливо. – Она говорила, что видела сон и город, но стоило нам подняться, все изменила: сказала, что умрет, потому что в ее семье умирают мальчики, – он объяснял раздраженно.

Павел Александрович обернулся к Светлане.

– Девочка была внизу, в парадной, – та обронила сухо и коротко.

– Так ли я понял, что девочка боится умереть, потому что умирают мальчики? Но она – не мальчик. А теперь ответь мне: есть ли логическая связь между смертью мальчиков и ее собственной смертью?

– Логическая? Нет... Какая-то другая, мне никак не уловить, – Орест Георгиевич водил ладонями по груди, хмурясь.

– Главное – спокойствие, – Павел Александрович наконец поймал его глаза. – Если связь есть, сейчас мы ее уловим. И девочка нам в этом поможет, – не оборачиваясь, он поманил пальцем. Ксения сделала шаг.

Плюеный абажур налился металлической тяжестью.

Павел Александрович приложил руку к Ксеньиному лбу, задержал и отвел. Ее лицо дрогнуло. Глаза подернулись поволокой. Белая поволока расплзлась, как гнилой холст.

Светлана смотрела на банный платок, терзаясь жалостью.

Чибис прижал руки к солнечному сплетению и скорчился над столом.

– Я видела небо, и город, и львиную дорогу, и звезду, – Ксеньины глаза сияли. – Она – обманщица. Предаст и погубит... Я знаю, как спастись...

Павел Александрович сделал быстрое движение щестью, будто собрал ее зрение в горсть. Ксения пошатнулась и обмякла. Он подхватил ее на руки и положил на диван:

– Надо накрыть. Проснется – будет озноб, легкий.

Чибиc неловко поднялся и прикрыл Ксению синим байковым одеялом.

– Ничего страшного. Переходный возраст. Разгулялось воображение, – Павел Александрович внимательно смотрел на отца. – Давайте – в кухню. Я все объясню.

Инна вышла первой. Отец – за ней.

Чибиc поймал взгляд Светланы: она смотрела на Павла.

Темные мужские портреты следили за Чибиcом из дубовых рам. Из коридора доносились размытые голоса. В кухне полилась вода. Потом что-то звякнуло.

– В синей бутылке, там, в лаборатории, – донесся голос отца.

Слабо зашумел чайник, потом сильнее. Наконец, запрыгала крышка. Голоса звякали, как чайные чашки.

Хлопнула входная дверь. Чибиc услышал голос Светланы:

– Да, да, ушла... Девочка ушла...

Портреты, висящие за его спиной, не сводили глаз. Все они были мужчинами, не имевшими отношения к семейной тайне.

Он подошел к окну и поднял руку: на стекле, покрытом холодной влагой, проступал его собственный тайный знак: прямые, которые никогда не пересекаются,

Елена Чижова

ложились ровными ступеньками; цепь, состоявшую из женщин, замкнул тяжелый шарик.

Чибис обернулся. Догадка, мелькнувшая в его окне, обретала живые черты.

«Ксанка?.. Неужели она?»

Эта девочка пришла сюда по своей воле. Сказала, что умирают мальчики. Неправда. Разве он умер? Это мама умерла.

Ступая на цыпочках, он подобрался к секретеру и выдвинул верхний ящик. Из опустевшей выемки вытянул еще один – потайной: сперва они оба вырастут, а потом у них родится сын, и тогда проклятая цепь разомкнется.

Футляр, похожий на яйцо, раскрылся, распавшись на две скорлупки. Между ними лежал серебряный перстень-печатка. Буквы, выбитые вязью, сплетались в монограмму. Чибис поцеловал перстень прямо в буквы и, обойдя стул, вставший поперек дороги, подошел к дивану, на котором, недвижно вытянувшись, спала девочка.

Портреты, висевшие на стене, следили внимательно.

Протянув руку, он приложил перстень к Ксеньиным губам.

Портреты переглянулись. Для них здесь крылось что-то непонятное: позволил поцеловать материнские буквы или запечатал ей рот?

4

Орест Георгиевич вздрогнул и проснулся. Лежал, силясь вспомнить. Вставали несвязные картины: платок, белый и морщинистый; острый свет, бьющий в глаза.

На тумбочке осталась пустая ампула и клочок ваты. Он поднес к носу: слабо пахнуло спиртом. Рядом – сложенный листок. Он развернул и прочел: Светлана писала, что должна идти, вернется к вечеру, Павел Александрович обещал зайти днем, после обеда, Антон дал ему ключи.

Он сморщился и попытался подняться. «Надо позвонить... на работу», – подумал и махнул рукой.

Теперь картины не вспыхивали, а складывались связано: «Ровесница сына... Будь я проклят! – осознание, постепенно приходящее, рисовало картины расплаты. Если она расскажет родителям... Всё, что должно наступить в дальнейшем, становилось справедливостью, гибельной и для него, и для Антона. – Явятся. Обыск: стеллажи, бюро, лаборатория... – оно всплывало в памя-

ти, словно все эти годы дожидалось своего часа. – Так, во-первых, *книги...* Потом бумаги... Надо просмотреть».

Закрывшись в кабинете, выдвинул ящик: «Собачье сердце». Под ней еще одна: Н.С. Трубецкой «Европа и человечество». Спрятал от Антона, потом забыл. Тамиздат приносил Павел. В их *ведомстве* такие книжечки циркулировали. Орест отложил в сторону: придет – сразу отдать. Вдруг, словно *эти* уже пришли, мелькнуло: жаль, так и не успел прочитать.

Рылся, вынимал бумаги: старые рукописи, и отцовские, и свои собственные. К отцовским он не прикасался давно. Надо перебрать, просмотреть, хотя бы бегло... Мало ли, к чему могут привязаться... Сходил в ванную за тазом.

Листы расплзались по полу. Он собирал и складывал. Бумага вспухала и шевелилась в тазу, как закипавшая каша. «Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов...» – поймал себя на том, что тоже бормочет: разбирая бумаги, отец напевал эти безумные слова. «Господи, – словно очнулся. – Что со мной? При чем здесь *это*, – оглядывал разоренные папки. – Какое им дело до отца?..»

Сел в кресло и откинулся на спинку, пытаюсь отогнать ненужное: отец, закутанный в клетчатое одеяло – сложенный угол остро торчал над затылком. Когда разбирал бумаги, становился загадочным, похожим на отшельника.

Не хотел, чтобы сын становился химиком. Упорно повторял, что нынешняя наука лишена главного, для настоящей химии Орест опоздал родиться. Позже, уже став взрослым, он и сам пришел к выводу: науки, которыми они занимались, и вправду были разными. Наука отца требовала рыцарского, самоотверженного служе-

ния, непременным условием которого была всесторонняя образованность. Отец считал естественным для химика знать математику, историю и языки, иметь не общее представление о медицине, разбираться в юриспруденции и астрономии, но, главное, ставить перед собой серьезные задачи.

Некоторые из них отдавали шарлатанством. Чего стоила, например, отцовская сокровенная мечта улучшить природу человека, воздействуя на организм каким-то химическим реактивом, который еще предстояло открыть. Он – в своих рукописях отец упоминал об этом – имел бы силу очистить человеческий организм от вредных примесей, но они понимались не как шлаки, продукт переработки веществ, занесенных с пищей, а как отклонение человеческой природы от эталонной сущности. На эти – предварительные – формулы Орест наткнулся еще на первом курсе. Тогда он не обладал достаточными знаниями, чтобы оценить отцовские выкладки, но идея показалась безумной.

Позже, читая в спецхране специальную литературу двадцатых годов, пришел к другому заключению: сама по себе цель, выглядевшая шарлатанской с высоты шестидесятых-семидесятых, в двадцатые годы таковой, как ни странно, не казалась. В научном мире у нее были вполне уважаемые сторонники. Впрочем, споры касались, скорее, не цели, а средств ее достижения, а также характеристик эталонного образца. Теперь Оресту вдруг показалось, что его собственная работа – в самое ближайшее время ее должны обсуждать на кафедре – оказывалась следствием отцовских размышлений. Она была посвящена методам определения чистоты некоторых сложных веществ...

Желтоватый свет наступающего вечера, похожий на окись свинца, заливал окна.

Орест задернул штору, подхватил таз и скорыми шагами направился в лабораторию: лучший выход – сжечь. Сжечь и не ломать себе голову, что и к чему имеет отношение...

Разведя огонь в лабораторной печи, принялся швырять листки черновиков в разгоравшуюся пасть – пригоршнями, как воду, пока не наткнулся на желтоватые страницы, сшитые через край черными нитками: отцовский почерк, в легком гимназическом наклоне которого как будто проступали отвергнутые декретом *яти*.

В правом углу листа было выведено: *02.03.1936*.

«День моего рождения...» – и вдруг вспомнил: в детстве отец рассказывал ему старинную средневековую не то легенду, не то поверье. Новорожденный львенок рождается спящим, спит с открытыми глазами и воскресает на третий день, после того, как услышит рев льва-отца.

Ниже – как строки из дневника:

Сегодня я вернулся из Москвы, куда был вызван консультантом для выбора материала, из которого должны быть выполнены звезды Кремля. Я предложил отлить их из двух слоев стекла – белого и рубиново-красного. Их должны вмонтировать в огромный, прочнейший каркас из нержавеющей стали, ожидаемый вес которого – около полутора тонн. Размах лучей – до четырех метров. Изнутри их будут освещать мощные лампы.

Дальше следовал пропуск – полоска когда-то белой, теперь пожелтевшей бумаги, и той же ровной рукой, тем же почерком, теми же синеватыми чернилами продолжено безо всякой связи:

Глупец становится безумцем, богач – бедняком, философ – балтуном. Я – придворный бездушной науки, требующей но-

вых жертв. Если мне удастся создать для них нового человека, они станут бессмертными, если не удастся – сгноят меня в тюрьме и все равно останутся бессмертными. И все-таки я уверен: порча человеческой природы – болезнь, которую можно лечить. Но к ним самим это не относится.

Орест Георгиевич провел рукой по лбу, стирая испарину. Ровный отцовский голос звучал в его ушах шумом, как будто буквы – мертвые птицы, оживали и копошились. Он перевернул несколько страниц, заполненных формулами, и продолжил:

Киммерийские тени, закутанные в черные плащи, сбились в стаю у самого жерла и не дают мне дышать. Я видел страшные, голые остовы будущих звезд. Пока что на бумаге. Это – и мое детище. Надо признать, я переоценил свое мужество. Ежели нет моих сил пережить это, в общем, весьма безобидное деяние, что будет с моим сердцем, когда исполнится моя главная мечта? Все, что мне дано еще будет открыт, заранее опорочено жуткой, ужасающей действительностью. Все, проходящее через их руки, превращается в золото – их сусальное золото, в их драгоценные камни – кроваво-рубиновое стекло. Глупец становится безумцем, богатый – бедным, философ – болтуном? О, если б так! Глупцы, они не станут безумцами. Другие безумцы откроют для них тайну очищения... Они просто вытянут ее клещами из безумных, но рабских голов.

Дальше, широкими свободными буквами, как может писать перо, гонимое вперед ясной и зрелой мыслью, было выведено:

Ум раба слабее, чем ум свободного человека. Эта мысль – мое последнее спасение. Я, их раб, не сумевший избежать обшей участи, не сумею открыть того, для чего создан мой мозг,

мое сознание, наконец, душа. Открытия, которого они ждут от меня, мне не сделать. Значит, я не сумею исполниться.

Последнее слово было подчеркнуто.

Росчерк крайней буквы упал вниз, словно отца превали.

Глаза поймали угольные строки и больше не отпустили:

Прежде чем подняться на стены, мы в сопровождении товарищей пошли в Мавзолей, и там я видел Его. Если бы я когда-нибудь открыл свое вещество, в первое оправдание себе я поставил бы то, что смог бы воскресить Его мозг и этим воскресить тысячи и тысячи еще не сгинувших: здесь и теперь, повсеместно и вовеки. Для меня остается тайной, случайно ли мне организовали посещение Мавзолея или они действительно заинтересовались направлением моей работы? Мечтают воспроизвести в реальности то, что производится ими в чудовищном языческом ритуале? Боюсь, в последних докладах я допустил некоторые проговорки.

Новый пропуск – желтоватая, пустая полоса.

Философ не становится болтуном, и болтуну не стать философом. Я должен принять решение и больше никогда к нему не возвращаться: нет или да. Половинки распавшегося мира смотрят одна в другую и отражаются друг в друге зеркально, как близнецы: жизнь и смерть, правда и ложь, палачи и жертвы? Всю свою долгую историю человечество искало ответы на эти вопросы. Эти дают свои. Их ответы известны мне доподлинно. Их новый мир – блудник, и моя наука – его родная сестра. Все, к чему прикасаются их руки, переливается в огромную реторту: они дистиллируют жидкость, не спеша, и она распадается на безвкусную флегму

и кроваво-красные капли. Но это только пока. В будущем, которое они рано или поздно построят, все соединится намертво, и больше не будет разделений: смерть сольется с жизнью, правда с ложью, жертва с палачом. Так, как это было в самой глубокой первобытной древности, когда человечество двигалось в потемках.

Счастье, что я не доживу. Судя по всему, теперь уже скоро: эти красные капли они выжмут и из меня... Они не выпустят меня из рук. Никогда, до самой смерти.

Час назад у меня родился сын. Я решил назвать его Орестом. Эту рукопись надо сжечь.

Орест Георгиевич сидел, сгорбившись, зажав кисти рук между коленями. Слова, не сгоревшие чудом, проступали, проясняясь в сознании. Он представил себе отцовского Истукана – башню, освященную рубиново-красной звездой. В чрезвычайном блеске она восходила над миром как исполин – голова из двухслойного стекла, тело – из кирпича.

Орест поднялся и зашагал по лаборатории – прямо по раскиданным черновикам, как по пеплу: «Надеялся на *этого*, который лежит в Мавзолее? Верил, что премники извратили ленинские мысли?..»

Он сел, терзаемый огненной болью: отец знал, что обречен, осознавал, что ему не вырваться – ни в том, ни в другом случае, независимо от того, какой ответ он даст своим палачам. «Значит... здесь нет моей вины...» – понял и почувствовал прилив радости.

Та вина – цепь, приковавшая к отцовскому прошлому, на которой сидел всю жизнь, не надеясь вырваться. Разве что ценою собственной гибели. «Да. В этом всё и дело – вдруг осознал, словно увидел новыми глазами. – Я сам искал своей гибели. И вот наконец нашел...»

Новая вина, собственная и очевидная, *никак* не связанная с отцовским прошлым, будет иметь простые и ясные последствия: арестуют и посадят. Теперь он думал об этом с облегчением, как о наступающей справедливости.

Огонь, пожрав обреченные черновики, опал. Орест сидел перед гаснущей печью и держал на коленях желтые, не сгинувшие страницы.

«Отец постановил сжечь... – он взвешивал в руке спичечный коробок. – На это моих сил хватит...»

В прихожей захрустело: чья-то рука поворачивала ключ в замке. Орест Георгиевич пихнул спичку в коробок и выглянул.

– Ждешь кого-нибудь? – Павел интересовался улыбочиво. – Или чертей гоняешь? – Только теперь Орест Георгиевич заметил, что держит в руке кочергу. – Ну, и сколько же их помещается на кончике, если, конечно, рядом? – Павел хохотнул и влажно откашлялся.

Орест Георгиевич посторонился и, буркнув:

– Кочергу положу, – отступил в лабораторию. Сшитые через край листки лежали на полу. Он сунул кочергу на место, свернул рукопись в трубку и вышел к гостю.

– Ну, как ты? Полегчало? А то вчера прямо... – Павел покачал головой.

Орест стоял, бросив руки вдоль туловища, и смотрел в пол:

– Вот, – неожиданно для себя он протянул Павлу.

Павел Александрович подошел к окну, и, накинув на плечо темно-красную штору – ни дать ни взять статуя Барклай-де-Толли у Казанского, – поднес к правому глазу:

– Гляди-ка! Есть эффект приближения!

– Павел, послушай, – Орест Георгиевич хмурился и косился в сторону. – Мне попались записи. Листы до-

военного дневника. Там и формулы. Конечно, обрывочные, хотя и рассчитаны на глаз химика, вернее – ни на чьи глаза. Отец постановил сжечь. Открой и прочти.

Павел Александрович сбросил штору с плеча, сел на диван и расправил листы на коленях. Они топорщились, норовя свернуться. Углубляясь в чтение, он забрал в горсть клинышек бороды:

– Старик, это бесценное свидетельство. Музейный экземпляр! – Павел поднял глаза, и Орест Георгиевич поразился брызнувшему сиянию.

– Ты дальше, дальше прочти, музейщик, – он сказал тихо, с трудом выдерживая сияющий взгляд. Голос был тусклым, как будто прогорел в печи вместе с черновиками.

Павел читал внимательно, то забегаая вперед, то возвращаясь к прочитанному. Глаза летали над формулами. Когда он закончил, юношеской ясности не осталось: взгляд сверкал лезвиями, наточенными до блеска:

– Сжечь? – лезвия скрылись в прищуре. – Зачем же он их сшил? – палец поддел нитку и дернул. – А эта порча человеческой природы? Что он имеет в виду: порча при жизни или после смерти или и то и другое? Какой-то универсальный метод?..

Орест Георгиевич поморщился:

– Мне и самому не очень понятно. Идеологический бред... И эта порча, и посещение Мавзолея... Стоять перед мумией, размышляя о ее воскресении... Мумия, впавшая в летаргический сон... Чертовщина какая-то... Кстати, ты не помнишь, откуда это: «Ум раба слабее, чем ум свободного человека»?

Павел скривился и пожал плечами:

– Понятия не имею. Аристотель какой-нибудь...

– Ладно, – Орест свернул тему, – как думаешь, что делать с рукописью?

– По крайней мере, не жечь, – Павел скатал в трубочку. – Лежала, пусть лежит и дальше... Для твоего спокойствия могу хранить у себя. Это ж надо: спящая мумия...

И снится ей не рокот космодрома, не эта ледяная синева,
А снится ей трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава!

Ха-ха-ха! Может, и мы с тобой ей снимся?..

– Нет, – Орест Георгиевич подошел вплотную. – Пусть лежит, где лежала, раз уж не успел сжечь. А знаешь, ты-то успел как раз вовремя. Еще минута...

– На том стоим, – Павел отозвался вяло. – Орест, послушай! – он опустился в кресло. Рукопись, свернутая в трубку, лежала у него на коленях. – А теперь давай серьезно. Шут с ними со всеми, – он дернул щекой, – со звездами, их остовами и тенями! Меня интересует одно: случайно или неслучайно они повели его осматривать труп?

– Откуда мне знать! Ритуальное поклонение дороговому праху, прежде чем зажигать звезды...

– Если звезды зажигают... – Павел начал, но скомкал. – Орест! В сентиментальность я давно не верю. Скажи, – он нахохлился, забиваясь в кресло. Пристальные вороновы глаза уставились на Ореста, – ты как химик абсолютно исключаешь возможность *этого* открытия?

– Паша, окстись! – Орест Георгиевич отмахнулся. – Вещество, способное оживлять трупы? К тому же пятидесятилетней выдержки?!

– Значит, дело, так сказать, в возрасте: пятьдесят, тридцать, двадцать пять?

– Я не понимаю, – Орест Георгиевич чувствовал, как у него опускаются руки.

– Эту тему разрабатывает академический институт, – Павел потер лоб. – Там штат лучших из лучших. Эксперименты... – он сцепил пальцы.

– Да какого черта! – Орест вспыхнул. – Вам что, не хватает ритуалов? Для вас он и так живет всех живых!

– Для нас – это для кого? – Павел передернул плечами.

– Ладно тебе! – Орест Георгиевич поморщился. – А то ты сам не знаешь...

– Орест, – Павел Александрович заговорил тихо, будто с оглядкой на чужие уши. – *Внутренними делами*, – он ткнул в окно пальцем, – я никогда не занимался. Ни я, ни мои коллеги. И ты это знаешь. Но мы... Да, да, я имею в виду и тебя, и нас – русские люди. Есть такое понятие: патриотизм. Не *этот*, для быдла, – он брезгливо сморщился. – Но тем, кто придет за нами, просто не хватит мозгов. И тогда – конец, – Павел говорил горестно и серьезно. – Сколько-то, конечно, продлится, но потом – крах, коллапс.

– Сколько-то... Лет двести! К тому времени мы, слава богу... – он махнул рукой. – Кстати, а что же ваша идеология, вобравшая и достойно увенчавшая собою все духовные поиски прошлого? – теперь он говорил с открытой издевкой.

Павел страдальчески морщился:

– Теория Маркса – миф. Не хуже любого другого.

– Вот-вот, – Орест поддакнул, – а еще война, блокада. У вас все идет в дело...

– Знаешь что, – похоже, на этот раз Павел озлился не на шутку. – Не делай из нас идиотов! Мы – не кремлевские старцы. Уж как-нибудь понимаем, до такой, как говорится, степени, – он взял себя в руки и смирил голос. – Дело не в воскресении. Это – в крайнем пределе. Главная задача – улучшение человеческой природы...

– В смысле, хомо советикус? – Орест перебил ехидно. – Но ты же не занимаешься *внутренними делами*? Позволь напомнить: этот вид обитает здесь, внутри.

– Пожалуйста, не ерничай. Если не мы... Старцам, погрязшим в идеологии, такие задачи не под силу. Не решим – все жертвы впустую. Погибнет страна.

– Да какая страна?! И что значит – погибнет?

– Орест, – Павел поднялся. – Страна – наша. Если угодно, СССР. Всё катится в тартарары. Экономика, черт бы ее, захлебывается. Но главное – человеческий фактор. Порядочность и энтузиазм. То, чем воспользовались в тридцатые.

– Ты хочешь сказать, вернуться заново?.. – Орест Георгиевич переспросил, охрипнув.

– Нельзя-я молиться за царя Ирода-а-а? – Павел пропел и махнул рукой. – Ладно, не глупи! Масштабные репрессии? Давно бы уж вернулись, но теперь другие времена. Необходимо принципиально иное воздействие. Без этого не выходит. В тридцатых это еще работало, а нынче, увы! Энтузиазм не закрепляется генетически. Сколько не дефлорируй, все равно потомство рождается с девственной плевой.

– Ага. Понимаю: а вам с вашими *лысенками* хотелось бы, чтобы сразу – блядьми, – Орест Георгиевич улыбнулся криво: шутка, которую вспомнил Павел, родилась в незапамятные времена. И сразу стала легендой, почти что мифом.

– Орест, это не шутки, – Павел Александрович потянулся к столу, по которому расплзлась куча бумаг. – Если хоть тень, хоть след в его формулах, хоть остов идеи... Если хоть намек, Орест, ты сможешь это закончить!

Орест Георгиевич стоял, не двигаясь. Павел подошел, взял за плечи и тряхнул так, что в груди екнуло. Пальцы Пескарского жгли сквозь рубашку:

– Орест! Это же Нобелевская премия.

Орест Георгиевич отстранился и взял себя в руки:

– Угу. И в Швецию поедем втроем. Ты, я и Ильич. Помнится, он предпочитал Швейцарию.

– Перестань паясничать, – Павел стал укоризненным. – И оставь, наконец, Ильича. Требуется корректировка настоящего. Точнее, возвращение к прошлому – на генетическом уровне. Выработка устойчивых личностных характеристик: добросовестность в работе, скромность, непритязательность в личной жизни...

– А честь и достоинство? Этого вам не требуется? Помнится, в далеком прошлом что-то эдакое встречалось...

– Хватился! – Павел воздел руки. – Не-ет, – улыбнулся криво. – Мы, батенька, реалисты...

– Представь, я – тоже. Поэтому и уверен: не выйдет. У меня не получится.

– Можно подумать, с тебя потребуют гарантий, – теперь Павел говорил зло и отрывисто. – Ну какой, какой у тебя выбор? Прозябать в своей лаборатории, среди придурков, каждый из которых еще и ничтожество? И это ты называешь наукой?!

– Нет, – Орест подошел к окну и теперь стоял, отвернувшись. – Иногда мне и вправду кажется, будто схожусь ума. Осточертели кондитерские эссенции! До серьезных дел не допускают. Так, время от времени, по частным вопросам: намажут медком и – по бороде... – он коснулся чисто выбритого подбородка. – Вполне вероятно, козни вашего ведомства, – махнул рукой, не оборачиваясь, словно пресек возможные возражения. – Не могут простить семейного прошлого... Да пойми ты, – он обернулся, – отец *все-таки* верил. А я – нет. С моей стороны будет прямой подлость. В прошлом веке в подобных обстоятельствах уходили в отставку, к себе в имение, затворниками, или, – Орест усмехнулся, – туда же, но в ссылку. Как говорится, под надзор.

– Эко тебя! – Павел откликнулся недовольно.

– Да. Представь! – Орест продолжил запальчиво. – Во мне есть то, что раньше называлось творческой энергией, но... Как там, у Пушкина: я – человек с предрассудками. Трудно идти против убеждений. Отец написал, что *не исполнился*. Кажется, я тоже, – он говорил, торопясь высказать наболевшее, но чувствовал растущую неловкость, словно они оба – и он, и его собеседник – играли в каком-то нелепом фарсе, к тому же кто-то подменил роли, и теперь выходило, что, возражая Павлу, он уговаривает сам себя.

Он понял это и закончил решительно:

– Павел, то, что ты предлагаешь, – дешевая мистика. В конце концов – это *их* проблемы. Что хотели – то и получили. Наконец, это просто преступно!

Губы Павла Александровича дернулись:

– Тебе ли, мой друг, рассуждать об этих материях! Если девочка заговорит... – он качал головой озабоченно. – Что касается мистики, не ты ли вбил себе в голову, что твоя жена воскресла?

– А ты?.. Откуда... ты?.. – Орест Георгиевич шагнул к бюро. Рука наткнулась на мраморный прибор с двумя пустыми чернильницами:

– Если ты сейчас же, сию же минуту... не уберешься из моего дома...

Павел стоял, держась рукой за дверную портьеру.

Орест Георгиевич размахнулся, целя в длинноносую тень, падающую на стену. Тень не шелохнулась. Он покачнулся и взялся за стол. Широкой струей полились бумаги. Взгляд проследил и остановился на чернильнице, лежавшей на полу. Орест поднял и поставил на место. Провел рукой по губам. Они были сухими и шершавыми, как запеклись.

Павел сделал шаг и приобнял его за плечи:

– Пойдем, пойдем... тебе надо лечь...

На глиняных ногах Орест Георгиевич добрался до постели. Павел Александрович вынул ампулу и закатал ему рукав.

* * *

Завершив очередную лекцию, Матвей Платонович вышел на набережную. Он миновал дом Лавая, где Карамзин впервые читал вслух отрывки из своей «Истории», и остановился у поребрика. На этом месте перехода не было, но не делать же лишний крюк. Матвей Платонович стоял, пережидая поток машин. Наконец, опасливо спустив ногу, словно пробовал воду, двинулся вперед и почти добрался до противоположного берега, когда серая «Волга», скользящая за спиной акульей тенью, взревела, напугав до смерти. В голове отдавалось хрустом и болью. Превозмогая слабость, Матвей Платонович доковылял до садовой решетки и, обойдя всадника, задумавшего взлететь выше римских колесниц, свернул к скамейкам. Боль не проходила. Держась за грудь, он унимал колотье.

Неприятно ныло сердце, как будто «Волга», взревевшая за спиной, никуда не исчезла – осталась невидимой угрозой. Матвей Платонович огляделся, не найдя свободного места. Скамейки были заняты старухами и молодыми женщинами с детьми. Он подошел и примостился на край.

Пожилая дама покосилась на грязноватого старика и поджала губы. Прежде чем продолжить разговор, отодвинулась демонстративно:

– Разве ж это горе... Не гневите бога, Розалия Карловна. Горе – если дети плохие выросли...

Ее собеседница что-то ответила, но Тетерятников не прислушивался, сидел, оглядываясь по сторонам. Великий город – столица канувшей в прошлое цивилизации. Куда ни глянь, следы былого величия: арки, скульптуры, ангелы, крылатые гении с римскими лицами... Он смотрел на здание Сената и Синода. Особенно тот, над самой аркой, державший перо, похожее на меч. Черенки великих культур прививаются не чернилами, а кровью.

Переживая сердцебиение, Тетерятников вспоминал Марка Аврелия, апологета тягостной тщетности. Вчера они крепко поспорили. В этом споре он выглядел достойно. Теперь, словно поймав его на слабости, вчерашний собеседник снова завел свое: всё проходит, государства рождаются и гибнут; люди тоже – рождаются и умирают в свой срок. Их природу не изменишь: рабы и негодяи – такими они были всегда. Так было и будет, а значит, роптать тщетно...

Тетерятников поднялся и двинулся в сторону площади, на ходу продолжая спор. Что касается людей, его собеседник преувеличивает: за долгую жизнь он навидался всяких – и добрых, и злых. Но в большинстве люди, скорее, бессмысленны. Их глаза словно подергивает поволока, позволяющая различать лишь то, что лежит на поверхности. Удел людей – их собственная жизнь. Время от времени они могут чем-нибудь заинтересоваться, прочитав какую-то книжку, сходить на выставку, но интерес быстро проходит, стоит им удовлетворить первое любопытство. Вот и на его лекциях – казалось бы, записывают, задают вопросы. Но эти вопросы по большей части однообразны, как будто одни и те же люди переходят из аудитории в аудиторию... Впрочем, как раз сегодня подошел молодой человек. Лекция только что закончилась, Тетерятников стоял

за кафедрой, складывая демонстрационные материалы. Сегодня он рассказывал про Сиракузы и, естественно, упомянул про Карфаген.

Лет тридцати, приятной наружности. Вопрос, который он задал, касался человеческих жертвоприношений. В древности этот жестокий обычай был свойственен многим народам, но карфагеняне приносили в жертву детей – судя по обнаруженным черепам, не старше трех лет.

– Скажите, профессор, – молодой человек держал в руке блокнот. Задавая вопросы, он заглядывал в свои записи, словно боялся сбиться. – Вы сказали, что накануне решающего сражения число детей, принесенных в жертву, достигло пяти сотен. Я правильно записал цифру?

Тетерятников потеревил бородавку:

– В данном случае цифра, конечно, приблизительная.

Молодой человек отметил в своем блокноте и задал следующий вопрос:

– А почему именно дети?

– На этот счет, – Матвей Платонович оживился, – существуют разные точки зрения. Одни исследователи полагают...

– Простите профессор, – молодой человек перебил почтительно. – Исследователи – интерпретаторы. Меня интересует точка зрения самих карфагенян.

– Ну... – Тетерятников помедлил, – судя по всему, они полагали, что дети ближе к богам. Согласно языческим представлениям, человек не просто рождается. Он является из потустороннего мира, где боги, собственно, и пребывают.

– Очень интересно, – молодой человек пошелестел страницами. – Вы сказали, что накануне решающего сражения войско, присланное из Сиракуз, неожиданно

отступило. Можно ли считать, что жертвы, принесенные карфагенянами, принесли плоды? Меня интересует *ваша* точка зрения, – он выделил голосом.

– Моя? – Тетерятников вдруг поймал себя на мысли, что лицо молодого человека кажется знакомым: острый подбородок, внимательные узковато поставленные глаза. – Могу сказать одно: народ, живший в Карфагене, несомненно верил, что жертвы, принесенные богам, не остаются без ответа...

«Определенно где-то видел, но где?..»

Матвей Платонович хотел развить свою мысль, но молодой человек поблагодарил и закрыл блокнот. Видимо, куда-то торопился.

Как бы то ни было, разговор оставил приятное впечатление.

Матвей Платонович взошел на Дворцовый мост. Сердце, напуганное акулой, все еще вздрагивало.

«Да, государства рождаются и умирают, – забыв о молодом человеке, он продолжил свои собственные размышления, которыми именно сегодня собирался поделиться с эрудированным немцем, – но тоже по-разному. Одно дело – Мемфис и Вавилон, совсем другое – Рим. Те погибли безвозвратно, этому был уготован особый путь: дряхлый Рим воспринял новую веру и обрел второе рождение. Трудно представить, что случилось бы с Вечным городом, если бы не *валхвы*...»

Тетерятников остановился и окинул взглядом невскую панораму. Сам по себе этот город был еще одним совпадением, согревающим душу: Петербург – город святого Петра. С самого начала он был задуман как Рим, но только подлинный, воздвигнутый на новом камне. Теперь его переименовали, но тайное имя проступало в каждой арке, колеснице и статуе.

Хотя до поры до времени об этом красноречивом совпадении лучше умолчать: немец здесь не бывал, а значит, мог расценить этот довод как слишком личный, эмоциональный, противоречащий настоящему положению вещей. Конечно, можно сослаться на блокаду: единственный город Европы, который выстоял вопреки всем тактическим и стратегическим расчетам противника. Особое сакральное пространство, где не работают никакие практические причины и следствия. Подвиг ленинградцев – всецело Дух.

«Впрочем, апелляции к военному времени немец может счесть неделекатностью. Так что начинать следует с *общих мифов...*»

Готовясь к решительному разговору, он много дней подбирал и записывал их в столбик.

Матвей Платонович перешел мост и, дойдя до угловой кондитерской, вспомнил: надо поужинать. Он замедлил шаги, но, потоптавшись у входа, решил не терять времени: разговор предстоит долгий.

Дома он пристроил пальто на вешалку и достал тетрадь. Покосившись на немца, раскрытого на титульной странице, откашлялся, требуя внимания. Немец – единственный слушатель – молчал.

Тетерятников начал с *мифа о воскресении*: этот миф, положенный в основу христианской цивилизации, уходит корнями в языческие верования, связанные с темой умирающего и воскресающего божества. К древним религиям восходит и *миф о чудесном рождении*, на котором покоится культ Богоматери. Это же самое можно сказать и об *ангелах*. В позднейших религиозных системах эти бесплотные существа служат единому богу, воюя с его врагами, либо, предав Создателя, становятся бесами, однако представление о том, что за всем неживым стоит живое, лежит в основе натурали-

стического язычества и является общим для всех древних мифологий. Бегло коснувшись темы *души*, Тетерятников перешел к концепциям *загробного мира*, более или менее подробно разработанным в большинстве культов, канувших в прошлое: именно они стали источниками христианских понятий рая и ада. Часа через полтора, приведя не один десяток фактов, Матвей Платонович подошел к выводу: новая истина, засвидетельствованная волхвами, родилась не на пустом месте, в этот сложный процесс внесли свой вклад и тотемические культы, и религиозные системы великих цивилизаций древности.

Немец слушал благожелательно: своего рода университетский профессор, довольный ответом ученика. Конечно, ученик не сообщил ему ничего нового, просто более или менее систематически изложил то, что науке давно известно.

«Ничего... Сейчас, сейчас...» – предвкушая скорый триумф над немцем, Тетерятников закрыл тетрадь. Теперь он приступал к главному: к разговору о волхвах.

В глазах немца мелькнуло недоумение: в общем и он был согласен с выводом, который сделал его коллега. Одного он не мог взять в толк: какое отношение те, пришедшие с Востока, имеют к нынешней жизни, в особенности русской? В стране, где Рождество отменили?.. Оппонент Тетерятникова поджал губы: похоже, вечно студента *занесло*.

Матвей Платонович не собирался сдаваться: видимо, его собеседник представил себе этаких ветхозаветных персонажей, обряженных в штаны, круглые войлочные шапки и хитоны, расшитые звездами?

К такому повороту Тетерятников был готов:

– Думаю, – он заговорил веско, – уж вам-то не хуже моего известно, что всё это – позднейшие интерпрета-

ции. В Евангелии нет прямых указаний, кто они и откуда. К примеру, Климент Александрийский выводит их из персидско-месопотамского ареала. Некоторые другие – с Аравийского полуострова, в частности Ориген. Что касается прямых этнических отсылок, дольше всех они сохранились в византийской традиции. Запад, уже с новейшего времени, предложил иную интерпретацию: три расы – белая, черная и желтая...

Немец поморщился.

– Согласен, – Тетерятников кивнул оппоненту. – Полагаю, монголоиды ни при чем. Скорее, три древнейших цивилизации: Вавилон, Египет, Иудея... Как бы то ни было, – миновав этот опасный подводный камень, Матвей Платонович приободрился, – все сходятся в одном: повинувшись явлению чудесной звезды, эти мудрецы отправились к царю Ироду, чтобы, выпросив у него верную дорогу, засвидетельствовать величие Истины – новой, но впитавшей в себя сокровенные чаяния человечества.

Немец хмыкнул скептически: и что из того?

– А то, – Тетерятников продолжил свою мысль. – Речь идет о цивилизации, претендующей на величие. Это величие кто-то должен засвидетельствовать. Вот что я имею в виду, – он поглядел строго, – когда говорю о *новых волхвах*. С теми, прежними, их разделяют два тысячелетия, но в каком-то смысле они – *современники*.

Немец снова хмыкнул. Матвей Платонович почувствовал укол самолюбия: немец подсмеивается над ним, принимая за простеца. В стране, где не помнят про Рождество, нелепо рассуждать о волхвах. К тому же *те* волхвы явились прежде, чем началась христианская цивилизация, чье рождение они засвидетельствовали. Свое величие она обрела много позже, во времена ев-

ропейского Средневековья. Эти, *новые*, если и явятся, то, мягко говоря, с опозданием. Вьедливый немец прикинул: лет эдак на шестьдесят.

– Лучше поздно, чем никогда, – Тетерятников парировал твердо. Наверняка в немецком языке есть похожая поговорка, а кроме того, этот немец и сам не слишком деликатничал со временем, когда рассуждал про одновременные эпохи. Когда дело идет о величии, шестьдесят лет – ничтожный срок.

Его собеседник замолчал. Видимо, глубоко задумался. Матвей Платонович потерял руки: похоже, цепочкой своих рассуждений он сумел поставить немца в тупик.

Между тем время перевалило за полночь. Матвей Платонович почувствовал, что проголодался. Он достал из портфеля брикетик гречи, но, занятый неотступными размышлениями, действовал машинально и рассеянно, так что каша вышла комковатой. Съел, почти не чувствуя вкуса, и лег спать.

С вечера приснились какие-то люди, одетые в современные платья, но в то же время имевшие мифологические очертания. Во сне они действовали, однако, их действия казались обрывистыми и странными. Тетерятникову хотелось вмешаться, но они отмахивались от помощи. Ворочаясь с боку на бок, Матвей Платонович мучился дурными предчувствиями и все-таки надеялся на лучшее.

Залогом его надежд была подлинная история, случившаяся в давно прошедшем времени: волхвы, пришедшие с Востока, принесли Ему дары – золото, ладан и смирну и, получив во сне откровение не возвращаться к царю Ироду, иным путем отошли в страну свою. Так закончилась сокровенная часть древней мистерии, в которой действовали прежние волхвы, а значит, теперь, в новой *одновременной* эпохе, она должна была завершиться тем же чудесным образом.

* * *

Орест вскрикнул и очнулся. Подушка была липкой от пота.

Мысль об отце подступала исподволь. Он опознавал ее приближение: сначала пустело сердце, становилось полым сосудом. Он откинулся на подушку и закрыл глаза, будто снова услышал *тот* звонок.

Дома никого не было: только он и отец. Мать ушла на службу – тогда начала ходить в церковь. Отец кинулся в лабораторию, заперся на крюк. Что он мог понять – десятилетний? Или все-таки понял?..

В дверь позвонили снова. Он встал и открыл. Они спросили. Нет, он не сказал ни слова, просто посмотрел на лабораторную дверь. Дверь выломали быстро. Пахнуло горелым лесом.

Он забился за старые пальто. Сидел, дышал слежалым ватином.

Когда стихло, сделал щелку и выглянул. Отец выходил из лаборатории, прикрывая лицо рукой – кровь на разбитых губах. Все пошли в кабинет. Он слышал, как выдвигали ящики. Прислушивался к бумажному шуршанию, не различая голосов. Потом, кажется, заснул. Когда проснулся, они стояли в прихожей. Отцу приказали одеться. Он услышал и вцепился в пальто: испугался, что отец снимет с вешалки – тут его и обнаружат. Отец дернул – он не разжал пальцев. Кажется, отец понял, потому что выпустил полу и, вытянув длинный шарф, обмотал вокруг шеи. Так и ушел – налегке. Месяца через два мать сказала: без права переписки.

Десять лет спустя он не посмел назвать сына отцовским именем...

Елена Чижова

Орест поднялся и пошел в кабинет. Сшитых листов нигде не было. «Павел, – он сообразил, – забрал с собой».

Кровь пульсировала в жилах. Снова он думал об этой девочке: «Павел знает *всё*. Теперь *им* ничего не стоит взять и припереть к стенке. Куда же я, как же я...» – Орест Георгиевич бормотал, шаря вокруг себя, словно искал на ощупь, не замечая, что думает о Павле как об *их* сообщнике. Разрозненные, несшитые листки шныряли по углам.

Под руку попались письма, перевязанные крест-накрест. На штемпелях – допотопные даты. Вчера отложил, не развязав. *То* прошлое не имеет значения. Под стопкой писем лежал конверт из плотной бандерольной бумаги. Раскрыл и обнаружил два кусочка клеенки – красные веревочки, продернутые насквозь. Рукой безвестной повитухи выведено: *мальчик* и время рождения – час смерти его жены.

«Светлана. Она. Больше некому... – только ей он сказал о том, что на фотографии, которую сделал Павел, эта девочка похожа на его покойную жену. Просто похожа. *Воскресла* – не его слово. Это Светлана придумала сама. Он смолчал, не стал возражать – пусть думает, что угодно, лишь бы ушла, оставила в покое, избавила от тягостных выяснений. – Обдумала... Доложила во всех подробностях...» – скорым шагом он направился в лабораторию и открыл заслонку.

Огонь в печи погас. Он расшевелил пепел и чиркнул спичкой. Язычок занимался медленно. Оглянувшись на дверь, кинул в огонь клочки клеенки, похожие на лягушачью шкурку. Они свертывались, прогорая.

«Ну вот...» – кивнул удовлетворенно, словно спас своего сына от бог весть какой переписи.

«Сорок лет, прошло сорок лет...»
Самое соблазнительное: сослаться на странную теорию, сложившуюся в голове старика. Это он вообразил себе, что Ленинград – сакральное пространство, где вопреки реальным причинам и следствиям может случиться что угодно. Значит ли это, что он вообразил и нас? Мы, участники событий, стали персонажами, куклами, надетыми на его пальцы – те самые, которыми он касался картофельной бородавки. Эта мысль мне неприятна, но, как бы то ни было, в том, что случилось с нами, я усматриваю его вину.

«Чем кивать на старика...» – я думал о жалкой роли, которая в этой истории досталась мне. Станный старик заворожил мою душу. Тогда я не осознавал этого. Просто искал с ним встречи. В те годы мне казалось, что эрудиция – кратчайший путь к истине.

В следующий раз мы встретились недели через две.

За это время произошло многое: задним числом я могу вообразить себе некоторые события, которые

случились или, во всяком случае, должны были случиться. Во-первых, Светлана: судя по всему, тогда отец с ней и расстался – окончательно и бесповоротно. Но в чем я точно уверен: именно тогда *они* взяли его в оборот. Иначе он попытался бы встретиться с Инной. Мой отец был порядочным человеком, какой бы дьявольской насмешкой это ни звучало в тех, невообразимых, обстоятельствах. Но они не встретились. В этом виноват Павел Александрович – приходил, запутывал, вел свои разговоры. Кстати сказать, всегда в мое отсутствие и уже без предупреждения. Я имею в виду записочки, похожие на шифровки, которые он диктовал по телефону, а я записывал, чтобы передать отцу. Записок больше не было. В то время я не придавал этому значения: ведь и раньше он пропал надолго, а, кроме того, меня занимали собственные мысли, точнее, знаки, которые я надеялся высмотреть из своего окна. Поэтому и искал встречи со стариком – заходил в угловую кондитерскую, подолгу простаивал за высоким столиком над остывающей кофейной чашкой.

Однажды он появился в дверях.

Я поздоровался. Он кивнул приветливо, как старому знакомому, и, взяв кофе с песочной полоской, пристроился к моему столу.

Помню, он пожаловался на сердце: последнее время пошаливает. Я как мог посочувствовал и посоветовал обратиться к врачу. Совет он пропустил мимо ушей и вдруг заговорил о книге, которую задумал написать. С таким энтузиазмом, словно эта книга – будь она написана – осчастливит человечество.

Уж не знаю, по какой такой причине я удостоился этой чести, но, допив кофе, старик пригласил меня к себе.

В парадной воняло псиной. Мы поднялись по узкой лестнице, и, порывшись в портфеле, старик вынул большой бородчатый ключ. (Не понимаю, откуда у меня всплыло это слово: может быть, по аналогии с бородавкой?) Распахнув дверь, он впустил меня в свои владения. Комнату, разгороженную книжными стеллажами, я видел мельком, он сразу увлек меня в кухню.

На столе лежали остатки его завтрака: хлеб, нарезанный мелкими кусочками – за день они успели заветреться, и щербатая консервная банка «Завтрак туриста». Старик сложил кусочки в железную миску – помню, я еще подумал: какая-то собачья, – отодвинул пустую банку и указал на табурет.

Я думал: сейчас предложит чаю. В этой кухне, до изумления запущенной, я не сделал бы ни глотка. Но старик заговорил о каком-то тайном обществе. Тогда я не всё понял, но запомнил, что речь шла о древних каменщиках – они начинали как алхимики, но потом, позже, перешли к поискам истины, которую называли философским камнем. Имена и географические названия сыпались как из рога изобилия. Грешным делом, я даже подумал: старик – из их числа. Желая сделать ему приятное, я спросил:

– А сейчас? Они тоже существуют?

Он потеревил бородавку и отвел глаза, словно не расслышал моего вопроса, и как ни в чем не бывало продолжил рассказ об этом тайном братстве, поставившем себе целью привести человечество к земному раю – царству истины и любви. Погружаясь в скучные для меня подробности, он описывал их помещения, в которых эти самые каменщики собирались для производства своих *работ*. Эти помещения он называл ложами, и я представил себе огромный театр: зрителей и кучку актеров на сцене. Актеры держали в руках

странные предметы: *наугольники* и *масштабы*. Я и понятия не имел, как они выглядят и для чего используются. Подумал: видимо, какие-то древние линейки и треугольники. А еще мне запомнилось имя: Адонирам – старик назвал его Великим мастером.

Суть дела я ухватил в самых общих чертах: алчные подмастерья желали, чтобы их зарплата соответствовала заработкам мастера. По правилам их общества для этого надо было знать мастерское слово и его тайный знак. Короче говоря, они напали на него и убили, но даже перед лицом смерти этот Адонирам не выдал своей тайны.

Я слушал, надеясь, что рано или поздно он вернется к своим прежним рассказам: об этом окне, сквозь которое надо научиться смотреть, чтобы распознать правду.

Между тем старик не собирался слезать со своего любимого конька. Теперь он завел волюнку про Зло, которое тоже развивается во времени, принимая всё более законченные, но одновременно и размытые формы. Потом – снова о Духе, осеняющем великие цивилизации.

В его изложении этот Дух играл роль передаточного звена. Или ковра-самолета: переносил в другие земли какие-то накопленные сокровища, чтобы новым счастливым, осененным его присутствием, не пришлось начинать заново.

Тут я решил, что самое время – встрять:

– А что будет, если они, эти новые люди, откажутся от древних сокровищ, решат пойти *своей* дорогой?

Честно говоря, ничего особенного я не имел в виду. Мне просто хотелось сменить тему, перебросить мостик к моим собственным знакам, но старик посмотрел на меня с жалостью, как на обреченного:

– Это невозможно. В Духе *своей* дороги нет. *Свои* только тупики.

– А волхвы? – к тому времени я уже успел разузнать о них поподробнее, нашел в одной энциклопедии, которая стояла в кабинете отца. – Разве они шли чужой дорогой?

Он улыбнулся, обнажив съеденные зубы:

– Не по чужой. Но и не по своей.

Ну что на это скажешь?!

Я сидел, пытаюсь понять: каким образом всё это можно соединить?

Волхвов, идущих чужой, но в то же время *своей* дорогой. Близнецов, карабкающихся по трубе. Окно, в которое все по очереди выглядывают... Сидел, воображал себе эти странные картинки и думал: одно из двух. Если это окно единственное и каждый к нему карабкается – значит, оно должно быть чердачным. Но если его моют все по очереди и при этом карабкаются, значит, этих окон столько же, сколько этажей. И лезут они не по трубе, а по лестнице, вроде пожарной. Я вспомнил какой-то фильм: там тоже орудовали мойщики окон, но сами они не карабкались: их поднимали на люльке – с этажа на этаж...

Нет, я не собирался рассказывать ему об этом фильме, тем более он снова завел про свои *общие мифы*, по которым якобы карабкается истина. Не дожидаясь, пока старик углубится во все эти дебри, я задал вопрос:

– А какой из них *самый главный*? – я имел в виду главный из общих мифов. – Ведь может же случиться, что какие-то из них исполнятся, а другие – нет?

Про себя-то я был уверен: главный – миф о младенце. Ведь если младенец не родится, куда и зачем они отправятся – эти волхвы?

Кажется, он не понял вопроса, и мне пришлось переспрашивать:

– Вот, например, волхвы приходят. Смотрят, а никто не родился. И что тогда? Им-то что делать: возвращаться к Ироду?

Тут он замотал головой и стал говорить, что это невозможно, но я-то видел, он и сам ни в чем не уверен.

Вернувшись домой, я хотел выбросить всё это из головы, но слова старика не исчезали. Не знаю, как объяснить: как будто гипнотизировали. Снова и снова я возвращался к этой дороге: и своей, и чужой. От этих слов я не мог отрешиться и потом, когда писал свои странички, пытаюсь объяснить нашу историю, не то чтобы подтасовывая события, но, кажется, располагая их с умыслом: под влиянием старика.

А может быть, я и сам виноват в этом: незачем было воображать все эти трубы и близнецов, пожарные лестницы и чердачные окна. Теперь я думаю: надо было сосредоточиться на волхвах. Попытаться понять, как они отделяли *свое* от *чужого*, когда явились, чтобы засвидетельствовать правду? И главное: кто им подсказывал, на какие общие мифы стоит полагаться, а какие только запутывают дело?..

Об этом я пытался поговорить с отцом, но, конечно, позже – в середине восьмидесятых. К тому времени врачи уже сказали мне правду: его сознание, терзаемое болезнью, стремительно погружалось во мрак. Рассказы, в которых отец возвращался в свое прошлое, приходились на периоды просветления – эти передышки становились всё короче. Казалось, он не отступал от логики, не сбивался, стоял на своем. Однако на его свидетельства уже нельзя было полагаться. Но кое-что я все-таки записал. Успел записать с его слов.

Например, странный сон, ночной кошмар, о котором – позже. Тот самый, про соборного Истукана: иногда, как будто сбиваясь, отец называл его Иродом.... Хотя, если подумать... Кто даст гарантию, что этот Ирод – не порождение рассудка, тронутого распадом?..

Отец любил пересказывать этот сон, добавляя всё новые и новые подробности, которые, как ему казалось, что-то проясняли, но, возможно, именно они искажали реальность, если в нашем случае о реальности вообще можно вести речь. Но что я запомнил точно: пересказывая свой сон, он всегда начинал с той странной квартиры, где впервые встретил старуху, которая распорядилась подать чай. Все время повторял: жаль, что я так и не напился чаю, и там, в гостях у старухи, и потом, когда вернулся домой. Этому чаю он предавал невысказанную важность. Мне даже пришло в голову, будто это – не просто чай, а *чай* в метафизическом смысле, как у Достоевского: свету ли провалиться или мне чаю не пить?.. Выходило, будто, отказавшись от чая, он вроде бы хотел, чтобы свет не проваливался, но потом пожалел об этом. Сейчас я понимаю: ничего подобного. Его мучила самая обыкновенная жажда.

Впрочем, теперь это не имеет значения: и знай мы наверняка, нам, остальным свидетелям и участникам, это не поможет. Мы – не каменщики. Даже этого утешения нам не дано. Наша цивилизация, уже давшая ответы на все вопросы, в разные времена поставленные перед человечеством, неуклонно стремится к закату. Что бы ни случилось, в любом случае она останется камнем поперек дороги: чтобы двигаться дальше, другим народам, которые пойдут дорогой Духа, придется его обойти.

Обойти и оставить нас на обочине – оплакивать своих мертвецов. Наш опыт, если он и ценен, то только

Елена Чижова

для нас. Никто из идущих по главной дороге не сумеет им воспользоваться, тем самым хотя бы частично оправдав наши страдания. Потому что это – *наш личный опыт*: чем дальше, тем более он становится *герметичным* – в самом средневековом смысле этого слова.

Кто мне поверит, если я скажу: мы тоже искали правды, но Ирод, который распорядился жизнью той девочки, подкладывал нам под ноги *свои* ступени?..

От великих цивилизаций остаются мифы. Какие мифы останутся от нас?..

5

От дворницкой будки, ориентира, зеленой пуговицы на серой полё бульвара, Орест Георгиевич свернул под арку. Арочный козырек вырезал косой ломтик улицы Петра Лаврова. В гаснущих сумерках будка на глазах меняла зеленый цвет на темно-серый – милицейский.

Загородив часы, как таящийся загораживает ладонью спичку, Орест Георгиевич нажал на кнопку – циферблат вспыхнул изнутри.

Ряды окон опоясывали двор ярусами: окна подвалов были сплющены, к средним этажам они становились выше, в чердаки упирались узкие кошачьи оконца. Орест Георгиевич снова взглянул на часы: «Ну уж... – Назначая время, Павел настойчиво просил не опаздывать, теперь опаздывал сам. – Правый дальний угол... Сказал: последний этаж...» – он двинулся к парадной.

Черная лестница брала круто вверх.

«В любом случае – не диссидентство. Странно ожидать от людей, связанных с *конторой*... Не бороться,

а охранять – разве не к этому они призваны?..» – поднимаясь по ступеням, он пытался понять, может ли это как-нибудь сойтись: борьба и охрана.

От площадки четвертого этажа ступени вели на чердак. Орест Георгиевич остановился и положил руку на косяк: левая дверь выглядела приличнее, во всяком случае, новее. «Позвонить?.. В конце концов...»

За спиной скрипнуло, и бесцветный голос – ни мужской, ни женский – подсказал:

– Не работает. Стучите.

Орест Георгиевич стукнул костяшками пальцев. Звук получился слабым, но дверь распахнулась. Молодой человек скромной наружности смотрел на Ореста Георгиевича доброжелательно. В глубину он не отступал.

– Я, собственно, – Орест Георгиевич сделал шаг назад и взялся за перила, – кажется, я что-то перепутал...

Страж дверей вышел на площадку и наложил руку на противоположную дверь. Она подалась и щелкнула. Теперь он стоял так, будто отрезал путь к отступлению.

Юноша был очень худ. Пиджак висел на плечах, рука, лежавшая на чужой двери, выбивалась из рукава тонким, почти девичьим, запястьем.

– Как доложить? – он спросил вполголоса, и, замаявшись, Орест Георгиевич скривил губы:

– Доложите – Орест.

Молодой человек провел рукой по волосам – от темени к челке – и скрылся.

Из-за двери раздался знакомый раскатистый смех и влажное покашливание:

– Ну, насмешил, черт! – в освещенном проеме возник Павел. – Имечко у тебя – честных людей пугать. Ты бы уж хоть с отчеством, с отчеством представлялся!

Правая дверь скрипнула снова.

– Сообщающиеся сосуды, – громко заметил Павел Александрович. – Сколько сюда вошло, столько там и отмечено. Бдительность и еще раз бдительность! – он запер дверь на замок и завел Ореста в боковую комнату. – Побудь здесь, я предварю.

Взгляд Ореста Георгиевича остановился на бюро, похожем на его собственное. Подле бюро висел старинный портрет, вяло написанный маслом: какой-то безбородый мужчина с большим не то орденом, не то украшением на треугольной ленте.

Возня вокруг его персоны начинала раздражать. «Интересно, как Павел меня *там* рекомендует? Наверное, порядочным человеком. Говорит, что готов за меня поручиться. Судя по всему, его друзья могущественны. Если что, найдут способ вступиться. *Этим* нужна другая порядочность – в *их* смысле я порядочнее многих... Господи, какая глупость! – Орест Георгиевич думал в отчаянии. – Всё запугалось, связалось узлом – никому не под силу!» – последние слова он, кажется, произнес вслух.

– Кому и что не под силу? С кем это ты беседуешь, неофит? – голос Павла раздался с порога.

– Скажи уж лучше профан, – Орест отшутился вяло и вышел в коридор.

Из приоткрытой боковой двери спросили:

– Павлуша, это вы? – глуховатым голосом.

– Я, Аликó Ивановна, – Оресту показалось, что Павел откликнулся с неохотой.

– Зайдите ко мне, – из-за двери продолжили настойчиво.

Павел Александрович застегнул пиджак на все пуговицы. Неожиданно для себя Орест Георгиевич последовал за ним.

Во всю длину комнаты на струне, натянутой под потолком, висел плотный темно-синий занавес, делив

ший ее так, что вдоль окон образовалось подобие коридора. Павел приподнял край, словно выходил на сцену.

За занавесом в глубоком кресле сидела древняя старуха. Она отвела глаза от экрана и, обращаясь к вошедшим, произнесла ясно:

– Мне очень нравится Брежнев.

Орест Георгиевич взглянул: транслировали очередное заседание. Человек, произносящий слова с большим трудом, стоял на возвышении.

– Помилуйте, Алико Ивановна, – Павел откликнулся весело и почтительно, – он же большевик!

– Зато очень красив, – старуха возразила спокойно. – А вы, Павлуша, при большевиках не жили.

– А при ком же?.. – начал Павел, удивленно ломая бровь, но она уже обращалась к Оресту.

– Садитесь, голубчик, прошу вас, – и, подняв пергаментный палец, указала место напротив. – Вы из каких же краев?

Орест Георгиевич не был уверен, что уловил суть вопроса:

– Я живу на Васильевском, – он ответил принужденно.

– Плохое место... Гиблое. Трудно дышать – преобладают западные ветры. Я там работала: в больнице Отта.

– Вы... – Орест Георгиевич напрягся, – были врачом?

– Ну что вы! – она ответила протяжно и надменно. – Мы не могли быть врачами. Только санитарями. Тридцать лет – после большевиков. Голубчик мой, – неожиданно она обернулась к Павлу, – распорядитесь, чтобы чай подали в гостиную. А вас я запомню, милый. Зайдите ко мне – после.

Оказавшись по другую сторону темно-синего занавеса, Орест Георгиевич почувствовал облегчение. Сцена из тягостного спектакля завершилась. Самое странное

заключалось в том, что Павел действительно отдал распоряжение. Давешний юноша, выслушав заказ, отправился в кухню.

– Ну, считай, повинность отбыли, – Павел направился к двери, ведущей в другую комнату.

– Алико... – Орест Георгиевич произнес тихо, словно про себя. – Она... из грузин?

– Забирай выше! – Павел мотнул подбородком. – Еще из каких! Из князей.

– Чем-то похожа на мою мать...

Павел обернулся и посмотрел пристально.

– Не знаю, – Орест заторопился, словно оправдываясь. – Тоже очень худая...

Павел пожал плечами и хмыкнул неопределенно.

Поперек комнаты, в которую они вошли, тоже висел занавес, на этот раз бледно-лазоревый. Он был раздвинут: видимо, в честь гостей.

На диване, стоящем посередине комнаты, сидел человек. Орест Георгиевич отметил узкий нос с горбинкой, темные волосы. Впрочем, грузинская кровь в глаза не бросалась – ее смягчали среднерусские черты. Мужчина привстал навстречу и, пожимая протянутую руку, Орест ощутил ее цепкость.

– Кúрите? – хозяин придвинул резную сигаретницу и пепельницу в форме черепа, вырезанную из кокосового ореха. Орест Георгиевич поморщился. Хозяин поймал гримасу:

– Согласен. Мне тоже не слишком нравится – эдакое панибратство с вечностью. Однако в той африканской стране, где я жил довольно долго, вам могли подарить и настоящий – в память о вашем враге. Так что, как говорится, из двух зол!..

Орест Георгиевич покосился на Павла: «Видимо, и познакомились в Африке».

– А это... Тоже из жарких краев? – он потянулся к сигаретнице, сделанной из металла, но грубовато, будто у мастера не было подходящих инструментов. Воспользовался теми, что под рукой.

– Это... – хозяин помедлил. – Скорее, наоборот. Сувенир. Особый. Остался от отца... Это я к тому, что африканские украшения – мои. Могу дать исчерпывающий комментарий, а остальное... Тут уж я... – и развел руками.

– Там, в прихожей... Молодой человек... Ваш сын?

– Нет, – хозяин воздержался от объяснений.

– А Алико Ивановна?.. Ваша мама?

Хозяин покачал головой:

– Бабушка.

– Кто же за ней смотрит, когда все... на работе?

– Медсестра из поликлиники навещает – я плачу.

Орест Георгиевич представил себе: одна, в пустой квартире. «Так и умрет в кресле...»

– Алико Ивановна просила меня зайти. Если можно, я бы сейчас, – он обратился почти просительно.

– Сделайте одолжение, – хозяин взглянул на Павла.

Орест Георгиевич поднялся. Павел стоял, отвернувшись к книжным стеллажам.

В комнате старухи бормотал телевизор. Орест постучал в стену у края занавеса.

– Войдите.

Он услышал и приподнял тяжелый край.

– Вы один? – старуха заглядывала за его плечо.

– Вот... Пришел поговорить с вами, не прогоните? – пробежал глазами по стенам, словно надеясь за что-то зацепиться – найти какую-нибудь общую тему. – Это... вы? – он смотрел на портрет в тяжелой раме. Приглядевшись, понял: фотография. Девушка, сидящая вполоборота. Тяжелый узел волос. Тонкий профиль незем-

ной красоты. «Время. Вот что делает время...» – перевел взгляд на худую горбоносую старуху, утопавшую в глубоком кресле.

– Выключите телевизор, – она приказала шепотом. – Они всегда включают, говорят, мне нужны развлечения, – старуха пожевала губами. – Как вы думаете, когда-нибудь всё это кончится?

На всякий случай он кивнул.

– Хотелось бы дожить, – она вздохнула.

– Там, в больнице, где вы работали, умерла моя жена, – только теперь Орест вдруг понял: за этим и вернулся к старухе. – Недавно, шестнадцать лет, – ей он мог сказать *недавно*, всем остальным сказал бы – давно.

– Шестнадцать лет – это давно, – она возразила тихо. – Шестнадцать лет назад умер мой сын, и я смогла бросить работу.

– Ваш сын болел? Вам приходилось работать?

Старушечьи губы дрогнули:

– Мой сын – не больной. *Они* сгубили его. Двадцать лет у *них*... Но даже для сына я не просила жизни. Только бы сгнули, сгнули! – она подняла коричневые пальцы, сведенные в двуперстие.

Орест Георгиевич смотрел на темную щепоть и думал о хозяине: «Странно... Отец сидел, а его приблизили. Приняли к себе на службу...»

Старуха подалась вперед и поманила. Он не посмел послушаться.

– Я ведь думала, *эти* передохнут в блокаду. Жрали человечину. По ночам свозили покойников, к воротам, а утром они вырезали все мягкое – я знаю! Ходили румяные, а глаза блестят! Какие вам еще доказательства? – старушечьи глаза сияли.

– *Они?* – Орест переспросил вполголоса. Конечно, он помнил этот блокадный миф: глаза людоедов, сияв-

шие особенным блеском. Мать говорила: те, кто ел человечину, обязательно умирали. Похоже, старуха утверждает обратное. И вообще, кажется, что-то путает: те, кого она ненавидит, не голодали. Им полагались спецпайки.

– По-олно вам, – она протянула укоризненно, – вы же с ними дружите. Он – на *их* стороне.

– Вы... имеете в виду вашего внука? – Орест Георгиевич уточнил осторожно.

– Вну-ука! Он мне – не внук. Внуки растут дома. Он – сынок Людоеда. А вы, надо полагать, *тоже* выросли в приюте?

Орест запутался и сник. В старушечьей голове все соединялось каким-то диким образом – отголоски прожитой жизни. Он думал: разве у *тех* детей был выбор?

– Я вырос дома.

– Значит, ваших родителей не тронули? – она не скрывала разочарования.

– Мои родители умерли, – Орест ответил сухо.

– Вот! – снова она воздела палец, словно смерть его родителей свидетельствовала о ее правоте.

«Нет, явно – не в себе».

– Я помню вашу жену, – она произнесла отчетливо и ясно. – Она была последней. Теперь очередь за *ними*, – глаза закрылись. – Я расскажу вам, как она умерла..

Орест Георгиевич встал и попятился. Боясь, что глаза откроются и он не успеет, рванул шелковую тряпку и замер, прислушиваясь. «Сумасшедшая... Совершенно сумасшедшая...»

На цыпочках направился к двери, кое-как справляясь с собой.

В гостиной беседовали о «Докторе Живаго». Хозяин рассуждал о Ларе и Тоне: ни та ни другая не тянут

на образ России, разве что если соединить вместе, да и то с существенной оговоркой: по рождению обе из интеллигенции.

– Ну, в этом-то смысле, кто бы спорил, – Павел улыбнулся. – У нашего народа своя Родина-мать.

Орест Георгиевич сел в кресло. Напротив, за стеклом книжного шкафа была выставлена маска, судя по всему, тоже африканская: скуластое лицо, близко посаженные глазные прорезы, шапочка на плоском темени. К затылку лепились жидкие патлы, заправленные за уши.

– Это что? – он спросил, прерывая литературный разговор.

– Маска тайного общества, – хозяин откликнулся живо. – Привез из Нигерии. Кстати, за большие деньги. Такие вещи купить непросто – туземца пришлось уговаривать. Но это, в отличие от пепельницы, подлинник. Я подозреваю, ни у кого, кроме меня, нет.

– И как же вы уговорили?

– Сказал, что у себя на родине я – руководитель тайного общества. Представьте, туземец поверил. Бабушке не нравится, – хозяин усмехнулся. – Считает его людоедом.

Орест Георгиевич огляделся, отмечая разницу: комнату старухи заставили старинной мебелью. Здесь обстановка была современной. «Что-то еще, кроме обстановки...» Он попытался собраться с мыслями:

– Вы верите во всю эту... мистику? – спросил осторожно.

– До какой-то степени, – тон хозяина был серьезным. – Я думаю, древние знали в этом толк. Нам их мышление может показаться странным. Во-первых, не линейное, а, скорее, образное: смыслы сцепляются, но не причинно-следственными связями. В результате все

обретает многозначность или, – он пожевал губами, – глубину.

– Ну, – Павел вмешался, – этот тип сознания известен. В современном мире его демонстрируют больные шизофренией: в словах пациента есть своя логика, но, как бы сказать, вывернутая наизнанку. Здоровому человеку не уловить. А впрочем, – он усмехнулся, – у нас не поймешь. Наши соотечественники – те еще шизофреники или, – развел руками, – дикари.

– Ты имеешь в виду народ?

– Да что там – народ! – Павел Александрович рассердился. – Наша интеллигенция соткана из мифов. Да здравствует феодализм – светлое будущее человечества! Слышал актуальный лозунг?

– Ты хочешь сказать, – Орест Георгиевич покосился на маску, – человек, обладающий мифологическим сознанием, в каждом предмете видит потаенный смысл?

Павел не успел ответить. Длинноволосый юноша внес поднос, заставленный чайной посудой. Орест вспомнил старуху и вдруг осознал, что его беспокоило, точнее, показалось странным: Павел утверждал, что Алик Ивановна из княжеской семьи. Но в ее комнате не было книг. Конечно, они могли храниться здесь – он покосился на книжный шкаф. За стеклами стояли разрозненные издания и полные собрания сочинений, но, судя по обложкам, – все послевоенные.

«Видимо, пожгли в блокаду».

– У вас хорошая библиотека.

– Я бы так не сказал, – хозяин поднял заварочный чайник. – Скорее, обыкновенная. Джентльменский набор средне интеллигентного дома...

– Алик Ивановна, – Орест смотрел на струю, льющуюся в чашку, – тоже любит читать?

– Бабушка – великий книголюб! Точнее, была. Теперь и возраст почтенный, и глаза подводят.

– И что она предпочитает? Классику?

– Вы, – ложечкой с витой ручкой хозяин мешал в чашке, – хотите спросить: где ее книги? Я правильно вас понял?

– Честно говоря... – Орест смутился, словно его уличили в бестактности. – Знаете... Здесь, у нас, в Ленинграде... Всегда думаешь: война, блокада, жгли.

– Нет-нет, – хозяин положил ложечку на блюдце. – Бабушка их отдала. Я, грешный человек, предпочел бы продать, в особенности отдельные экземпляры, но тут уж... – он развел руками, – решать не мне.

– Да-а... У Алико Ивановны не забалуешь! – Павел плотнул и сморщился. – Горячо!

– Лет пять назад, когда поняла, что больше не может. Я имею в виду – читать.

– Я по-омню эту историю, – подхватил Павел. – Во всяком случае, начало, когда искали оценщика. Потому я уехал. Кажется, в Ирак.

– Оценщика, – хозяин усмехнулся. – Вот именно. Ему и отдала. Сахар, пожалуйста, – он пододвинул сахарницу.

– Подарила оценщику? Я не знал, – Павел поднял бровь.

– Спасибо. Я – без сахара. И... пусть немного остынет.

– Именно, именно, – хозяин улыбнулся. – В своем роде замечательная история, так сказать, в духе моей бабушки. Представьте, является этот персонаж... Нет, – он помотал головой, – тут нужна кисть Гоголя. Какой-то... замшелый, обтерханный... Неделю работал: реестр, цена по каждой позиции. Я уж, как говорится, и руки потирал. А потом: бац!

– Обманул, что ли? – Павел присвистнул восхищенно.

– Бабушку?! – хозяин засмеялся. – Не-ет... Ее не обманешь! Сама кого хочешь... – он сменил тон и заговорил серьезно. – О чем-то разговаривали. Нашли общий язык. Видно, златоуст оказался. А посмотришь – тихий такой, невзрачный. И бородавка – на полгубы...

– Но... – Орест поднял глаза и встретился взглядом с Павлом. Что-то, блеснувшее в Павловых глазах, заставило замолчать.

Павел поднес к губам чашку и глотнул:

– Да-а... Редкая женщина, замечательная... Последняя из могижан. Теперь таких нет. Видел ее портрет?

Орест кивнул, чувствуя какую-то скованность, словно они с Павлом только что о чем-то сговорились, но он не знал – о чем.

– В таком возрасте сохранить ясную голову! – Павел потянулся к заварочному чайнику.

«Ясную?.. Но она....» – опасаясь выдать себя, Орест отвел глаза.

– Видимо... – хозяин прищурился, – бабушка сказала, что вас помнит... или что-то в этом роде? Пожалуйста, не смущайтесь, я и сам человек искренний, тем более здесь ничего такого... Старость имеет свои особенности. Вот и моя бабушка. Вообразила себя хранительницей памяти, – он развел руками и улыбнулся грустно. – Своего рода, великая миссия...

– Еще неизвестно, чем мы себя вообразим. Если доживем, конечно... Спасителями отчества, – Павел хохотнул влажно.

– Надеюсь, моя эпитафия будет скромнее, – хозяин вытер рот салфеткой. – Внес посильный вклад в дело сохранения и укрепления. Лично я буду рад довольствоваться и этим, – он обернулся к Оресту. – Похоже, ваш чай совсем остыл.

– Да, да, благодарю... – Орест Георгиевич отодвинул нетронутую чашку. – Но сегодня... Мой сын... Я обещал, что приду пораньше...

Хозяин отложил салфетку и встал.

В прихожей он предупредил, что не любит разговоров на лестнице, а потому, когда Орест Георгиевич придет в следующий раз, а он его, конечно, приглашает, пусть постучит и подаст знак: левая ладонь на горле, правая рука поддерживает локоть.

– Что касается всего остального, надеюсь на вашу деликатность.

Орест кивнул.

С Павлом они вышли вместе. Пересекая двор, Орест Георгиевич вспоминал расположение комнат, пытаясь понять, куда выходят окна, за которыми сидит странная старуха: «Похоже, во двор...» Дойдя до арки, поднял голову и остановил взгляд на чердачных окошках. Квартира, из которой только что вышли, показалась просторной, но, он подобрал слово, слегка приплюснутой. «Конечно... – сообразил, – вот в чем дело... Этаж-то последний. В доходных домах высокие потолки только на средних этажах. Как у меня, на четвертом».

У мусорных баков крутилось какое-то животное: не то кошка, не то собака – в темноте не разобрать. «Или крыса...» – Орест Георгиевич обернулся к Павлу:

– Ты – домой?

Павел кивнул. Орест Георгиевич вспомнил оценщика, которому достались старухины книги. «Ну, положим, тот самый старик... Ленинград – город маленький, случаются и не такие совпадения. К чему эти переглядывания?»

Он хотел спросить, но Павел вдруг спохватился:

– Черт! Забыл кое-что. Придется возвращаться.

– Тебя подождать? – Орест смотрел на дворницкую будку, стоявшую за воротами: в темноте у нее не было никакого цвета.

– Да нет, не стоит... Сам-то доедешь, не заблудишься? – Павел снял перчатки и сунул в карман.

– Да уж как-нибудь... Ладно, до встречи, – Орест Георгиевич двинулся к автобусной остановке, на ходу размышляя о просьбе хозяина, точнее, об этом знаке, который попросили подать: «Можно подумать, гости ходят толпами. Что, в лицо не могут запомнить?..»

«Шестерка» подошла неожиданно быстро. «Даже тут предусмотрели... – поймав себя на этой глупой мысли, Орест мотнул головой. – Прав, прав Павлуша... Нервы – ни к черту...»

Выписывая снотворное, Павел рекомендовал гулять. Сказал: не поможет – подберем хорошее лекарство, пройдешь полный курс.

Орест Георгиевич закрыл глаза. Сидел, угадывая повороты: автобус свернул на Гоголя, и, миновав Исаакиевский собор, выехал на бульвар.

– Следующая остановка – площадь Труда, – водитель объявил, но не тронулся с места. Минут через пять буркнул в микрофон: дальше не пойдет. Какая-то поломка, Орест Георгиевич толком не расслышал. Пассажиры потянулись к дверям, недовольно ворча.

«И вправду что ли, прогуляться... Пройдусь, подышу свежим воздухом...» – глядя на купола Исаакиевского собора, он вдохнул полной грудью. Холодный воздух заполнил легкие. Стоял, размышляя, в какую сторону двинуться. Немного кружилась голова. Он представил, как, перейдя мост Лейтенанта Шмидта, пойдет мимо сфинксов и дальше – своим обычным маршрутом, огибая больницу Отта. «Нет, лучше к Дворцовому».

Шел мимо Сената и Синода, почти не глядя по сторонам, раздумывая о сегодняшнем знакомстве. Как ни крути, оно получилось странным. Нет, он не ожидал, что *о деле* заговорят сразу, так сказать, с места в карьер. «Но что-то же должны были...» – невидящими глазами оглядел Всадника.

Конная статуя дрожала в электрических лучах. Перейдя на другую сторону, Орест Георгиевич двинулся вдоль Невы, покрытой ледяным панцирем.

«Да о чем, о чем им спрашивать! Загодя разузнали – по своим каналам. Ишь, – вспомнил Павла, – забыл он... Ничего он не забыл! Заранее сговорились: небось, сидят, делятся впечатлениями. И старуха с ними. Как он сказал: хранительница памяти? Видимо, они тоже. Интересно, что они там хранят...» – раздраженные мысли скользили по поверхности, не решаясь уйти в глубину.

Переходя Дворцовый мост, вглядывался беспокойно: «Праздник, что ли, какой-то?.. – Куполок Кунсткамеры дрожал в отсветах факелов, гудящих на Ростральных колоннах. – Да вроде нет... Зима. Какие теперь праздники...» Пылая на самых вершинах, языки огня ломались в погасшем небе.

Он дошел до Биржи и, словно обессилев, сел на ступени.

Сидел и думал о гибели, которой искал всю жизнь, лишь бы оторваться от отцовского прошлого. Теперь она больше не казалась справедливостью. Положим, посадят... «Кому, кому это поможет?.. В конце концов, девочка явилась сама... Да, с моей стороны – помрачение... Само по себе – смягчающее обстоятельство...» – уговаривал себя, понимая, что всё это – жалкие слова, из которых не выбраться без посторонней помощи, словно чувствовал себя маленьким мальчиком: кто-то

взрослый и не оставляющий выбора должен взять его за руку и повести за собой.

В прихожей припахивало горелым. Антон выглянул из своей комнаты. Орест Георгиевич снимал пальто:

– Сжег что-то? – он приняхивался.

– Ага, чайник. Поставил и забыл, – сын объяснил виновато.

Орест Георгиевич хотел спросить, как дела в школе, но спросил:

– Ты... ужинал?

Сын кивнул и скрылся.

Он зашел в ванную, тщательно вымыл руки, пошоркал щеткой под ногтями – будто только что возился с едкими реактивами, и отправился в кухню. Внимательно осмотрел чайник: «Нет... Уже не отчистить». Открыл холодильник, но есть не хотелось. Единственное – чаю. Только теперь он почувствовал, как замерз. Можно было вскипятить в ковшике или, на худой конец, в кастрюле, но он вдруг отвлекся и посмотрел на потолок: «Да, заметно выше, если сравнивать с той квартирой». Подхватил чайник за дужку и вынес в прихожую: «Завтра выкину». Привычно покосившись на пальто, висящие на вешалке, прошел к себе и тут вдруг сообразил: «Две недели. Почти две недели...» Странное дело: теперь, когда Павел всерьез воспринял отцовские расчеты, которые остались в рукописи, мысли об этой девочке казались опасными, но в первую очередь для нее.словно, думая о ней, он тем самым вовлек ее во что-то сомнительное...

В комнате сына было тихо. Орест Георгиевич выпил таблетку, лег и закрыл глаза. Что-то вспыхивало, как пламя на Ростральных колоннах. «Или все-таки праздник?..»

Прежде чем снотворное подействовало, он пожалел, что так и не напился чаю...

В ушах билось, пульсируя. Он видел себя перед колоннадой Биржи. Колонны, подкашиваясь, ломались у капителей. Но тихо, бесшумно, не издавая ни звука – сползли вниз. Он сделал шаг, другой, побежал: по Дворцовому мосту, по набережной, мимо Адмиралтейства. С этой стороны Невы всё оставалось в целости. На крыше Синода и Сената дежурили острокрылые ангелы – висели, не взлетая... Он перешел на шаг, постепенно успокаиваясь. В ушах билось тише, реже... Свернул и двинулся вдоль ограды, мельком следя за ангелами. Ангельский дозор передал его караулу Манежа: из-за герба Советского Союза, выбитого на фронтоне, поднялись трое. Офицер приставил копьё к ноге.

Крыша Манежа гудела. За передними фигурами поднимались ряды копий. Голос, отдающий команды, раскатился по кровле: «А-а-а... е-е-е!» Копья опустились одновременно. Эхо: «А-а-а... е-е-е!» – отдалось во фронтонах.

Орест оглянулся. Повсюду разгорались фонари. Концентрически обрамляя арену площади, свет уходил в небо ярусами. Солдаты, стоящие в дозоре, смотрели на Собор, запрокинув шлемы. От колокольни к галерее купольного барабана вела узкая лестница. Он прислонился к ограде, стоял, глядя вверх: «Необдуманно и опрометчиво. Их солдаты обучены. Стоит добраться до колокольни – дальше не остановишь...»

На коньке крыши выступила темная каменная фигура. Ясно различимый на фоне купольного барабана, кто-то сидел в кресле, бросив на подлокотник тяжелую руку. Другую, свободную, поднял жестом, требующим внимания. Складки каменного плаща сбились на плече. Под рукой, на свободном подлокотнике, сидел каменный орел.

Орест Георгиевич услышал шуршащий губной звук. По площади, мимо собора, двигалась милицейская машина. Шуршание стало сплошным, словно сбрасывали песок, смешанный с галькой. Из-за угла, рассекая лучи прожекторов, ударил свет мотоциклетных фар. Массивные шлемы вылетали из-под колес темных, неестественно длинных машин. Наглухо задернутые занавески лежали каменными складками.

«Ах, вон оно что... Высокий исполкомовский гость! Надо полагать, московский... Не копыя – снайперские винтовки... – он бормотал, прикрываясь от света. – Безумцев, что ли, бояться? Кто в здравом уме станет стрелять по *их* почетным гостям?..» – вытер слезящиеся глаза.

В пальцах Истукана, сидящего над фронтоном, зашевелился клубок света. Взмахнув светоносным клубком, Истукан швырнул его в сад. Шаровая молния лопнула, расплываясь между деревьев. Тени, хорошо различимые в ярких вспышках, двинулись по газонам.

«Прочесывают... Чтобы никто не укрылся...» – Орест присел, припадая к ограде. Змеи, озарявшие сад, свернулись и потухли.

Две милицейские колонны огибали Собор. Орест Георгиевич представил себе кордоны у обоих мостов, баррикаду грузовиков в Арке Главного штаба – как всегда, на *их* демонстрациях, милицейские цепи в устье Невского и широким веером поперек ближних улиц: Гоголя, Герцена, Майорова...

Кажется, приготовления закончились. Теперь он оглядывался с любопытством.

Безжизненный голос флейты поднимался над садом. Замерев у ограды, Орест думал: «Надо выйти, бежать... Нет, нельзя... Могут пристрелить. Господи, что со мной? Что я возомнил? Кому я опасен? Нет причины пристреливать...»

Между тем показались солдатские колонны: широким серым квадратом смыкались вокруг Собора. Прозвучала команда: «...но!»

Ангелы замерли, сложив за спинами крылья.

«Казармы... Там, за Почтамтом», – он вспомнил и успокоился.

Голос флейты возвращался исподволь. К колоннаде, по темной чугунной лестнице, поднималась группа людей, одетых в ватные пальто. Ветер раздувал тяжелые полы. Дрогнувшие солдатские ряды испустили крик: «А-а-а!»

Острокрылые ангелы смотрели безучастно.

Судя по всему, торжественная часть заканчивалась. Шло быстрое и организованное перестроение. На смотровой площадке передавали раструб мегафона – по рукам.

Орест отвлекся и не заметил, как на арену выбежали пары. Теперь они замерли, приняв исходные стойки. Мегафон рыкнул. Огласив арену хищными выкриками, солдаты ринулись друг на друга. То по-лягушачьи растопыривая ноги, то выворачиваясь ящерницами, тренированные тела взлетали и падали и, завершив бой, исчезли.

«Вот оно что... Учебные бои. Закончились...»

На этот раз он, кажется, ошибся.

По каменным ступеням сбегали двое в темных, косо надвинутых беретах. Частая барабанная дробь летела им вслед. Барабаны смолкли, рассыпавшись. Один, высокий и мускулистый, развернулся к смотровой площадке и вскинул руку. Мегафон откликнулся доброжелательным рокотом. Другой, невысокий и жилистый, держал что-то, похожее на авоську. Оно мелькнуло в воздухе и рассыпалось широкой веерной сетью. Не принимая боя, сильный противник начал медленно отступать. Ме-

гафон, рывкнув, пригвоздил его к месту. Барабаны зашлись звериным ревом. Сеть сложилась. Силач прыгнул и распростерся в воздухе. Неуловимо-коротким движением жилистый боец хлестнул его по сапогам. Тот упал, как подрубленный. Арену покрыл безудержный свист.

Ожидая своей участи, безоружный боец лежал на земле. Кадык двигался толчками, словно барабанный клетот шел у него горлом.

– СПРАВЕДЛИВОСТИ! СПРАВЕДЛИВОСТИ! – крики зрителей перекрывали свист.

Складки плаща расправлялись с хрустом. Рука Ирода простерлась. Большой палец, с трудом отделившись от каменного кулака, поднялся вверх...

Орест крикнул и рванул одеяло. Сел, вцепившись в волосы. «Что это? Зачем?.. Отцовский Истукан? Ирод?.. – сидел, качаясь из стороны в сторону. Страх медленно уходил. Вместо него являлась надежда. – Поднял большой палец. Значит?..»

Надежда, занявшая место страха, крепла: все-таки Истукан был справедлив.

* * *

Инна приложила ухо к замочной скважине: за дверью бормотало радио. Позвонила коротко.

– А... Это ты... – Ксанкина мать протянула разочарованно. – А я думала – медсестра. Тапочки надевай, – и ушла в кухню.

«Нет, похоже, не проболталась. Пока...» – Инна сняла сапоги и поставила на коврик.

Дома был страшный скандал. «До сих пор не разговаривают. Даже за стол не зовут, оставляют в тарелке,

будто – не дочь, а собака». Сказала: засиделась в гостях, у девочки. Готовились к контрольной. Хватилась – половина второго. Отец: что, не могла позвонить? «Куда? Здесь же нет телефона!» А он: захотела бы, придумала. Когда не надо – ты умная. Мама: могла бы вызвать такси. «А деньги?» Отец: мы бы расплатились. Мама: весь дом подняли на ноги!

«Положим, не весь: только Ксанкиных родителей...»

– Ну? Все болеешь?

«Лежит, как ни в чем не бывало... Читает... Если проболтается, вообще убьют...»

Инна подошла и заглянула:

– Пищеварение? Мы уже прошли. Хочешь – объясню?

– Объясни. Куда исчезла фотография? Чибис ищет, – Ксения глянула исподлюбья.

– Фу, терпеть не могу анатомию, – Инна сморщилась. – Пищеварение – вообще гадость! Кости, кишки...

– А в Англии – знаешь что? Отсекали руку.

– Да – на! – Инна сунула руку под пояс юбки. – Любуйся!

Ногти, выкрашенные красным лаком, словно кончики пальцев уже отсекли.

– Это – она? Его мама? – Ксения спросила шепотом.

– Никому не скажешь? Клянись.

– Я... клянусь...

– Вот, – Инна порылась в кармане. – Теперь смотри!

– Две-е?.. Чибис сказал – одна. Ты что... обе украла?

– Эту. А эта – моя, – ткнула пальцем с обрубленным кончиком. – Ну правда похожи? А знаешь почему? Потому что я – ее дочь. Пришла, а там его друг. Случайно. Взял и сфотографировал. А он смотрит – одно лицо. А потом я снова пришла, чтобы узнать правду. Он бо-

ялся, что Чибис услышит. Вот мы и пошли в эту каморку. Сидели, разговаривали, он мне рассказывал...

– Так вы... двойняшки?.. Но вы же... А Чибис?.. Вы же с ним не похожи... – Ксения улыбалась беззащитно.

– Когда непохожи, кажется, близнецы. У нас в садике были – их и одевали по-разному. Чибиса твоего отцу отдали, а меня – чужим.

– Но почему, почему? – Ксения и верила, и не верила.

– Откуда я знаю! Так вышло. А вдруг они решили, что я умерла? – Инна выдумывала вдохновенно. – Взяли и положили на подоконник. А я полежала и ожила.

– Ну и отдали бы... – Ксения мотнула головой.

– Как ты не понимаешь! Это же – скандал. Врачей с работы бы выгнали. А потом... Она-то, наша мать, умерла. Вот врачи и подумали: отец – не мать, с двумя не справится. А потом меня удочерили...

– Кто? – Ксения совсем запуталась.

– Как – кто? – Инна подняла глаза к потолку. – Они. Мои нынешние родители.

– А... А – зачем?..

– Боялись, – она нашлась мгновенно, – что настоящие дети умрут. Как тети-Лилины и папиного брата. Мало ли, а вдруг – наследственная болезнь?.. Вроде гемофилии, только еще хуже, когда сразу умирают. Я давно замечала: Хабибку любят больше... Представляешь, меня даже за стол не зовут. Оставят в тарелке и уйдут...

– А... Откуда... – Ксения вставила слово. – Откуда он узнал, что ты вообще была?

Инна прикусила губу:

– Этого он не сказал. Но я все равно докопаюсь. Ты мне поможешь?

Ксения представила себе тарелку, в которой оставляют еду, и кивнула неуверенно.

– И помни: ты поклялась. Никому – ни моим, ни твоим, – Инна сунула карточки под пояс.

– А Чибис знает?

– Я ж говорю – никто. Только я и он.

– Слушай, – Ксения обрадовалась, – а женщина, эта женщина! Вдруг он ей рассказал? Они жениться собираются...

Иннины глаза сверкнули:

– Ничего он не рассказал, – глаза меркли. – Ладно, некогда мне с тобой. Лежи и болей.

– Да я выписалась, сегодня в школу ходила.

– А медсестра? – Инна сощурилась.

– Это так, соседка, из двести пятидесятой, работает в нашей поликлинике. Мама договорилась – витамины колоть.

– Все равно лежи, читай свое пищеварение.

Оставшись одна, Ксения отложила учебник. Только теперь вспомнила: переставить пленку. Хотела попросить, но совсем забыла. «А вдруг у меня тоже?.. Совсем другие родители?..»

– Мама! – позвала громко. – Я обедать хочу!

– Сейчас, сейчас, – мамин голос откликнулся с кухни. – Картошечка уже доваривается. Вот только борщ поставлю. Руки пока мой.

Ксения пошла в ванную и отвернула краны. Вода пахла противно. На старой квартире запаха не было.

– Мама, – она снова позвала. – Почему пахнет? Каким-то керосином...

– Не выдумывай! – мамин голос стал недовольным. – Это хлорка, воду обеззараживают.

– Не хлорка, я же чувствую, – Ксения вытирала руки, морща нос.

– Не выдумывай, – повторила мать, разливая борщ по тарелкам.

То, что казалось праздником, облетело, как елочная мишура.

«Зачем?.. Что я ему скажу? И думать забыл... – она представила, как садится в автобус, и *оно* подступает, наваливается всей тяжестью, будто она едет без билета, а все пассажиры на нее смотрят и только и ждут контролеров, чтобы ткнуть в нее пальцем. – А *вдруг?*..»

Вдруг ей показалось, что он хочет ее видеть, только не знает – как. У нее же нет телефона: «И адрес... Если б знал, давно бы...»

Из-под арки вырливал горбатенький «запорожец». Перемахнув через сугроб, Инна выскочила на обочину.

– Мне до Первой линии.

– Садись. До Первой – по пути.

– Только учтите – у меня денег нету.

Водитель усмехнулся и пожал плечами.

– Только побыстрей, – она села на переднее сиденье.

– Быстро не выйдет, – водитель включил дворники. – Гололед!

По обочинам пенилась коричневатая накипь.

– Дрожишь-то чего? Замерзла? Может, печку включить? – он потянулся к щитку.

«Тулуп... Дурацкий, как у извозчика. Еще бы подпоясался и рукавицы за пояс...» – Инна косилась неприязненно.

Разбрызгивая грязь, машина шла по Большому проспекту. Сквозь стекло она вдруг увидела: он шел, сунув руки в карманы и подняв воротник.

– Стойте! Здесь стойте!

– Ты чего! – водитель дернулся. – Взбесилась, за руки хватать? Здесь не могу – нельзя.

– Тогда я выпрыгну... выпрыгну... – Инна рвала ручку.

Взвизгнув тормозами, машина встала.

Орест Георгиевич шел к набережной. Скрываясь за спинами прохожих, Инна бежала следом. Он сел в автобус. Все-таки она успела вскочить через заднюю дверь.

Рядом – пустое место. Кому какое дело, если она подойдет и сядет?.. Инна стояла, оглядываясь украдкой: толстая тетка читала книжку, девица в вышитой дубленке болтала с высоким парнем – хихикала и вытирала нос варежкой. Старуха, закутанная в платок, рылась в сумке, стоящей в проходе: достала яичную картонку и примостила себе на колени. «Вот сейчас... пойду... как будто за билетом, – она сунула руку в карман и нащупала пяточок, но тут автобус остановился – в салон вошли новые пассажиры. Дядька в противной кроличьей шапке шлепнулся на пустое сиденье. Порывшись в кармане, постучал впереди сидящего в спину: «Передайте на билет», и Инна вдруг поняла: он едет к этой женщине. Пяточок стал горячим. Она кинула его в прорезь кассы и машинально сложила цифры: не хватало единички. Женщина, нагруженная тяжелыми сумками, открыла следующий билет. «Ей-то зачем?..» Женщина, которой досталось автобусное счастье, поставила сумки на пол и зажала их ногами.

Он сошел у «Чернышевской». Почти не таясь, Инна двинулась следом – в переулок, упиравшийся в белый бульвар. Он свернул в подворотню и скрылся в угловой парадной.

По лестнице она шла, вытягивая шею, осторожно выглядывая из-за перил.

– Я, я... – он начал и замолчал. Женский колокольчатый голос не приходил на помощь. Инна высунулась. Той женщины не было. В дверном проеме стоял какой-то тощий парень.

Отец Чибиса приложил руку к горлу, другой рукой взялся за локоть. Инна не успела удивиться. Тощий парень кивнул:

– Прошу.

Они вошли в квартиру, и замок щелкнул. Эхом раздался другой щелчок: дверь напротив раскрылась на узкую щелку. Там что-то заворшилось. Из щели высунулась голова, обмотанная рыжим платком. Шаркая черными бурками, старик подобрался к соседской двери и приник ухом. Длинное пальто цвета выношенной шинели сползло с плеч. Он нагнулся неловко.

В два прыжка подскочив к приоткрытой двери, Инна лягнула ее с размаху.

– Сторожим? – она обратилась ласково.

– Тебе-то чего? – он стоял, скрючившись над пальто.

– Вот сейчас позвоню им, – она кивнула на дверь.

– Дак звони, – он держал пальто под мышки, как раненого товарища. – Они и сами всё знают.

– Ага, сейчас увидим, – Инна шагнула к двери и уперлась пальцем в звонок.

Квартира безмолвствовала. Старик уже успел скрыться. Рыжие углы платка шевелились в щели тараканьими усами.

– Ты к старухе, что ли? – раздался шепоток. Под защитой двери он шел на мировую. – Медсестра?

– Может, я внучка! – Инна огрызнулась.

– Внучка... Как же! Жучка ты.

– А вы – таракан.

Он не обиделся:

– Стучи. У них звонок не работает.

– Не врите, только что работал.

– А теперь не работает. Когда хотят – работает, когда не хотят – не работает...

Инна смотрела исподлобья:

– Так не бывает.

– У них всё бывает. Чего хотят, то и делают. Хорошая ты девка! – он выползал обратно. – Мне бы годков пятьдесят скинуть, ух!

Она попятилась к двери и забарабанила кулаком. Рыжий платок исчез.

– Медсестра, – сказала, не слыша своего голоса.

Тощий пригладил челку и отступил.

– Сюда, – подождав, пока она снимет пальто, он оставил ее у занавеса. Инна взялась за край.

Занавес дернулся и приподнялся. Перед Инной стояла высокая худая старуха. Другой рукой она держалась за стену:

– А Верочка где же? Часом не заболела? – старушечьи глаза смотрели равнодушно.

– Уехала. За город, – Инна говорила, как по писаному, – послали меня.

Старуха слушала, клоня голову набок, будто не верила ни единому слову:

– И когда ж вернется?

– Завтра, – Инна ответила уверенно. – Она на один день.

– Ладно... Принеси мне умыться. Таз в ванной.

Завершив туалет, старуха провела пальцами по волосам:

– Ты завтракала?

Инна моргнула, пытаясь понять: при чем здесь завтрак? Нормальные люди уже обедают, а то и ужинают.

На столе лежала очищенная картофелина и клочки кожуры. Над миской вился картофельный пар. В животе заурчало. Старуха смотрела внимательно.

– Сядь. Бери картошку.

Инна села и взяла теплый клубень. Надкусив картофелину, проглотила. «Днем спит, вечером завтракает... Время перепутала».

– Ты Брежнева вчера видела? – старуха отвела взгляд от безмолвно светящегося экрана и перешла на шепот. – Последнее время он сдал. Наверное, плохо питается.

– Брежнев?! – Инна жевала картофелину.

Самое смешное, старуха угадала: сегодня она и вправду не завтракала. И денег тоже не дали – с вечера не попросила, сидела у себя в комнате. Думала: выйду, опять заведут свое...

– В его годы надо питаться особенно внимательно. Он еще не стар, но даже в его возрасте нельзя злоупотреблять мясом, – старуха говорила абсолютно серьезно. – Желудку полезна исключительно растительная пища. Тебе я настоятельно советую это запомнить – иначе родишь людоеда.

Инна огляделась тоскливо:

– Может, вам постирать или погладить? Я ванну могу вымыть...

– Без тебя вымоют, – сказала, как отрезала. – Много их тут: и мыть, и стирать.

– Алик Иванова, здравствуйте! К вам можно?

Инна вздрогнула. Глаза метнулись и остановились.

– Подождите, голубчик, – старуха глядела на нее. – Я не вполне готова к визитам. Загляните минут через пять.

Инна съежилась на стуле.

– Не беспокойтесь, Алик Иванова, – Орест Георгиевич откликнется. – Конечно, я подожду.

– Поди в кухню. Сиди, пока не позову.

Инна выскользнула. В кухне она затаилась у самой двери.

– Входите, входите, прошу вас! Прошлый раз вы исчезли так внезапно. Я не успела...

– Нет, нет, благодарю вас. Я знаю, как умерла моя жена, – про себя Орест Георгиевич отметил: сегодня он говорит спокойно. – Я, собственно, к вашему внуку, принес кой-какие бумаги... А к вам только поздороваться.

– Ах, вот как, – старуха ответила обиженным тоном. – Тогда прощайте. Сегодня я чувствую себя слабой. Боюсь, мне не до гостей.

Шаги удалялись. «Умерла. Старуха знает подробности... Надо выпросить. Пригодится для разговоров с Ксанкой...»

– Судя по всему, с моим гостем ты знакома? – старушечьи глаза вспыхивали любопытством.

– Да, это – правда, – из-за пояса Инна вынула фотографии и разгладила уголки. Она заговорила тихо и осторожно, словно готовясь захлопнуть птицу, попавшую в силочку. – Вы сказали... что знаете, как умерла его жена. Хотели рассказать ему, – Инна гладила пергаментную руку, – пожалуйста, расскажите мне.

Под Иннинными пальцами старушечья рука вздрагивала.

– Дело в том, – Иннины пальцы крепили, – что я – ее дочь. Вот, посмотрите, – она выложила на стол фотографии. – Можете сравнить. Так получилось, меня отдали чужим, но теперь я выросла и хочу знать правду.

– Ты, – старуха рассматривала, поднеся к самым глазам, – ее дочь? – С оборотной стороны *та* фотокарточка была желтее. – Значит, ты выросла в приюте? – старуха покосилась неприязненно.

– Нет-нет, – Инна заторопилась, – меня удочерили.

Старуха пожевала губами:

– Я всё помню... Конечно, она родила девочку. На мою память можно положиться. Это было при мне.

А потом явились *они*: двое, в приемное отделение. Тебе повезло. *Таких, как ты*, сдавали в приют. – На экране плыли ряды кресел. Люди в черных костюмах аплодировали беззвучно. – Гляди, – старуха указывала величественно, – вообразили, будто похожи на судей. Нарядились. Собрались нас судить.

– Это неправда! Нет! – Инна отдернула руку. Проклятая старуха оказалась хитрее, хитрее в тысячу раз. Она хитрила, слушая, и, выслушав, наврала. – Вы *ничего* не помните! Та женщина родила сына, вы слышите, сына!

– Я помню. Ты – ее дочь! – старуха не собиралась отказываться от своих слов. – Они думали, *это* не откроется, – она тыкала пальцем в экран. – Они думали, *все* выросли в приютах, думали – свидетелей нет. Я – свидетель. *Наши* дети выросли и пришли за вами – вам не уползти, не скрыться, не стать другими... другими рождаемся мы, – старушечьи плечи упали.

Рванув занавес, так что брызнули голубые искры, Инна выбежала прочь. Сорвала с вешалки пальто и выскочила на лестницу. Какая-то страшная, невообразимая мысль гнала вниз.

Перебежав через дорогу, плюхнулась на бульварную скамейку. «Врет! Врет!.. Дура сумасшедшая!»

Дворницкая будка, похожая на собачью конуру, облилась светом. Зеленые стенки падали как карточный домик. Безобразная, невообразимая ложь подкатывала к горлу – душила картофельной судорогой. Зажимая горло руками, Инна перегнулась за скамейку. В желудке екнуло и полилось наружу.

Она обтерла рот снегом. «Неужели поверила? – села и скрестила ноги. – Мегера, ведьма старая... Это для Ксанки, блаженной! У них же документы, сестры, врачи... Так бы и пугали – всех», – Инна представила себе

конверты – белые, с младенцами, сестры раздают кому попало...

Встала и пошла обратно к парадной. У мусорных баков крутилась бездомная собачонка.

«И назвали бы по-другому», – шла, подбирая себе новое имя, как будто не досталась никому.

Собачонка облизнула острую мордочку и завилала хвостом. Инна оглянулась. Хромая на заднюю ногу, собачонка бежала следом.

– Фу! Фу! Вон отсюда!

Бездомная собачонка оскалилась, припадая к земле.

– Жу-учка! – проскрипел довольный голос. – Чего это, снова пришла? Укольник ставить? – хихикало из щели.

Она постучала, надеясь, что тощий откроет.

– Я к тебе по-хорошему, а у них, всё одно, пусто. Этот-то, – он погладил себя по лбу, – портфельчик взял и – шась. А бабка сиднем сидит: стучи не стучи. Ждать теперь надо.

– Ладно, – она села на ступеньку.

– Грязь-то какая, а ты – пальтом, – он всплеснул тараканьими лапами. – Вставай, девка! Нельзя на камне.

– Вы старуху давно знаете?

Ободренный вопросом, Таракан выполз на площадку. Застиранная гимнастерка, на плече голубоватая заплатка:

– А тебе-то чего? Ишь, пришла вопросы спрашивать!

– Она сумасшедшая? – Инна спросила вежливо.

– В дурдом собралась свезти? – он подмигнул, шевельнув усом. – Раньше не свезли – теперь-то кто тронет: одной ногой в могиле. На кладбище уж теперь...

– Нет! – Инна прервала громко. – Никто и никуда ее не свезет, пока она не скажет мне правду...

Таракан заполз обратно и кивал из щели:

– Ага, ага... Значит, как скажет – подавай транспорт?

Она тебе скажет – ты только слушай!

– Убирайтесь вон! – Инна вскочила и, размахнувшись, припечатала дверь.

– Тянучку хочешь? – дверь снова скрипнула. Наружу вылезла рука.

– Ладно, – идя на мировую, Инна взяла конфету.

– А то заходи. Услышим, коли придут, – он кивал, приглашая.

«Черт с ним, чем сидеть», – она встала и отряхнула пальто.

– Картошечки будешь?

Из кухни шел густой запах.

Таракан собирал на стол: тарелки, хлеб ломтями, бутыл с беловатой полупрозрачной жидкостью, заткнутую комком марли.

– Ну чего, выпьем? – он подмигнул, покачивая бутыл. Беловатая жидкость плескалась тяжело.

– Спасибо, я ни есть, ни пить...

– Дак картошечки-то? – голубая заплата кривилась. – Ну как знаешь...

Взмахнув головой, Таракан кинул в рот содержимое чашки. Усы замерли.

– Первая – колóm, – крикнул и склонился над сковородой.

Запах застарелой пыли перебивался едким спиртовым духом. По потолку грязные разводы – следы протечек. В углу – полка, на ней – чучело: собачья голова на подставке. Грязные выцветшие обои – серо-желтые, в каких-то узорах. Инна приглядывалась. Нет, никакие не обои. Картинки: рядами, почти без просветов – одна к одной. «Стенгазета, что ли?..» – покосившись на Таракана, Инна встала и подошла.

За спиной крикнуло:

– Вторая – соколóm!

Фотографии крепились к стене портновскими булавками. Мужчины. Каждый по два раза: сбоку и лицом. Целая стена лилипутов, одетых в одинаковые рубахи. В правом углу – буква, рядом, через черточку – число.

– Это – кто? – она обернулась к Таракану.

– Э-эти? – он нянчил бутылку. – Тебе-то чего за дело? Пришла к старухе, вот и жди... А хочешь, смотри! – язык заметно заплетался. – Мертвые сраму не имут.

– Они – мертвые? – Инна оглядывала с интересом.

– Кому мертвые, а кому и мил-товарищи, – он хихикал, шевеля ложкой.

– А вы их что, знали?

– Зна-а-ал? – Таракан стукнул бутылью. Тяжелая рыбина плеснула на дне. – Стали бы они со мной знаться! – он поднялся и подошел к стене. – Я для них – клоп, насекомое запечное, – по одной вырвал булавки и выложил на стол. – Во, этот! Живьем бы в гроб полез, лишь бы со мной не знаться, – он гладил карточку нежно. – А я их все-ех к стеночке, – пригрозил пальцем, отцепил еще одну и протянул.

– Он – кто? – Инна смотрела внимательно: короткостриженная голова, тени в углах глаз, нижняя губа, как будто набрякшая кровью...

Таракан глянул:

– Ученый какой... или инженер...

– Их что, для вас фотографировали?

– Ты, девка, будто с печи упала, – Таракан отвечал с пьяной обстоятельностью. – Неужто, для меня! Для дел... Третья – мелкой пташечкой! – выдохнул и кинул в горло.

– Их что, на войне убило? – Инна покосилась на воющее пойло.

– Тьфу! Следователь чистый, а не девка! Зовут-то как?

– Никак, – она буркнула.

– Ага, – Таракан кивнул, ничуть не обидевшись. – Значит... будешь Динкой. А чего? Хорошее имя. У меня сучка была. Тоже Динкой назвал. Ла-асковая... С работы приду, прям ластится... Потом-то сдохла, – он кивнул на собачье чучело.

С лестницы послышался шум. Таракан прислушался:

– Нижние, – махнул презрительно и поманил пьяным пальцем: – Не на войне они, поняла? – он подползал ближе, перебирая лапами по столешнице. Зашептал, прикрывая голые десны. – Я ить *там* у входа дежурил. Ну? Поняла?

– У входа – куда? – Инна отодвинулась.

– Не твоего ума! – Таракан покрутил крючковатым пальцем. – В рай. Теперь поняла?

– Не моего, нечего и говорить.

Он моргал слипшимися ресницами.

«Не хватало еще одного психа».

Таракан бормотал свое:

– Хозяин-то умер, ох, тут-то и забегали... Из подвала – жгли во дворе. Потом и в подвале жгли. Только запалили, а тут – шашть! – и крысы. Хоронились, видать, в подвале... А они тащут, тащут...

– Кто, крысы?

Таракан не слышал – глядел мимо.

...От подвала тепло – котельная под полом. Пол мраморный, а хоть босиком ходи. Он не ходил, сидел в будке. Прислушивался: мягкий шорох шин. У *тех* всегда растерянные лица... Возвращая входные документы, отдавал конвою честь. Хоть бы раз козырнули... Однажды, по ошибке, отдал честь *этому*, кого привезли: светловосый, красивый, как киноартист – хоть сейчас на кар-

точку. Кивнул в ответ. Потом-то и сам засомневался, может, кто из знакомых? Раз набрался храбрости, спросил. Лейтенантик-то молодой, а то-же презрительный. Но, правда, ответил: мол, певец. С певцами он никогда не знался: рядовой Иван Полозов, русский, социальное происхождение – из крестьян.

Он помнил светловолосого. Всегда, даже в тот день, когда умер товарищ Сталин. Эти-то бегали всю ночь, таскали ящики... К утру одного вызвали. Кинулся: а ящик-то – куда? Оставил в каморке. И чего в голову влетело? Знал ведь, чем рискует. Прямо затмение: сидел, перебирал дела, вынимал карточки. Под барьером, на ощупь, как слепой. Сверху – лицо часового, а на коленях – пальцы: шарят, вскрывают папки...

Ящика хватились назавтра, поволокли на двор, к костру. Никто не догадался проверить. Дома разложил – нет, светловолосого не было. Потом и самого перевели. Работал. Выслужил квартиру. Всего-то лет за пять. В других войсках – хрен! Лет двадцать бы промурыжили. Женился. Потом все умерли: и жена, и сын...

К стене пришилил не сразу. Потом все-таки решился – оглянись, вон они. Будто живые души. Всё не один...

Он уперся на локти, тяжело трезвея...

«Вона когда настигли...» – на лбу выступила испарина. Капли пота, собравшись, покатались к бровям.

Он взялся за сковородник, лоснящийся от жира:

– Шпионить пришла, чертова кукла?! Медсестрой вырядили? – мелким, старческим галопцем кинулся к дверям. Добежав, закинул чугунный крюк.

– Если вы сейчас же... – Инна отступала к чучельной полке, – не откроете... – не оборачиваясь, нащупала собачью голову. – На стул! Я сказала, на стул!

Таракан затих. Она подскочила к двери и, откинув чугунный крюк, обернулась, торжествуя.

Таракан, старый и смиренный, сидел за столом.

– А старухе ты – кто?

– Внучка, – ответила из упрямства.

– Врешь ты всё, – он сказал и прикрыл десны. – Ты другого корня – не старухина. Чужая ты им – не родня. Ты хи-и-трая! А они – до-вер-чи-вые, – он вылезал из-за стола. Голые десны шевелились, приближаясь: – Ты – шпионка! – гладил себя по щекам, бормотал несусветное. – Ты не на них – на меня похожа. Моего корня... Как две капли!

Инна покосилась на собачью подставку:

– Я на маму похожа. Сейчас, – рука шарилась за поясом. – Вот, глядите. А это – я, – она сунула ему под нос другую карточку.

– Где похожа-то? Не похожа. – Тараканьи глазки забегали. – Ты – жучка приبلудная, а эта девка, – он ткнул в желтоватую фотографию, – старухе – родня!

– А я вот возьму... Возьму... и напишу, куда следует. Пусть знают, как вы тут шпионите... под дверью. И *всяких* развешиваете...

– Пиши, пиши... – Таракан хихикнул. – И я напишу. Заявление. Уж мне-то поверят. Ты меня... ага, била. Вон, этим... – он ткнул в собачье чучело.

Инна схватила фотографии и вышла, напоследок жакнув дверью. «Похожа – непохожа... Своя – чужая... – шагала вниз по лестнице. – Психи! Все сумасшедшие...»

В автобусе она забилась на заднее сидение. Сидела, думала: сейчас, вот сейчас *оно* снова приблизится. Но приближались маленькие лица, будто сошли с тараканьей стенки. Плыли перед глазами, будто бежали за нею следом. За ними лез Таракан, что-то бубнил, шевеля голыми деснами...

– Ваш билетик?

Инна вздрогнула: дядька с нарукавной повязкой тряс за плечо.

– Ой... я... я... – она съежилась: выведут из автобуса, отправят в милицию, вызовут родителей...

– Ваш билетик, женщина, – он повернулся к тетке, сидевшей у самого прохода. Тетка сунулась в сумку и предъявила проездной. – Штраф готовь. Рубль с тебя, – не выпуская Инну из поля зрения, контролер кинул через плечо. – Билетики предъявляем. Ваш билетик, мужчина...

Мужик в кроличьей шапке протянул билет.

Инна шарила в кармане, будто надеясь на чудо. Пусто, только фотографии. Она залезла поглубже. Звякнула мелочь...

– Понимаете... Я всегда плачу. Правда. Просто забыла...

– Чего ж ты так? – дядька глядел сурово. – Молодая, а беспамятная.

– А чего им, – тетка, сидевшая у прохода, встряла ворчливо. – Они ездют, а государство плати.

Автобус подъезжал к остановке. Парень в синей куртке, тесня пассажиров, пробирался к задней площадке. Дверь зашипела и открылась. Проходя мимо, сунул ей в руку свой билет.

– Я нашла, вот, – Инна протянула контролеру. – В кармане завалился.

– Завалился у нее... – контролер глянул на цифры. – Другой раз чтоб не заваливался... Женщина, билетик предъявляем... – он двинулся дальше.

Инна повернула голову. Парень стоял на остановке. Поймав ее взгляд, подмигнул.

Дворцовая площадь проплывала мимо. Ангел, стоявший на вершине колонны, поводил запорощенны-

ми плечами, согреваясь. На коленях лежали две фотографии. «Ты – Жучка приبلудная, а они – доверчивые... – что-то зашелестело тараканьими словами. – Ой... А где же?..» – свободной рукой Инна шарила в кармане. Рылась, уже понимая: вместо своей случайно прихватила чужую – этого... Инженера с опухшей губой – в фас и в профиль. Одна половина смотрит прямо, будто она и вправду его внучка – единственная, на кого он может положиться. Другая отвернулась в сторону, словно она – приبلудная жучка, на которую нельзя надеяться.

«Вспомнить... надо вспомнить...» – она вышла на кольцо и двинулась к своей парадной, скользя глазами по бледным, оклеенным плиткой домам. Сероватая плитка кое-где выкрошилась.

В лифте она расстегнула пальто. Задрала юбку, сунула карточку под рейтузы.

Войдя в прихожую, прислушалась.

– А в ЖЭКе-то что? Что они сказали?

– Нету у них рабочих. Сказали, недоделки устраняют, – материнский голос оправдывался.

– А ты? – отцовский голос настаивал.

– А что – я? Не умею я с ними. Сходил бы сам. Ты – мужчина...

Инна сняла сапоги, на цыпочках пробралась в большую комнату и включила телевизор.

Голубой экран занялся, расплываясь от точки. Далекая рубиновая звезда, горящая на Спасской башне, медленно всплывала из глубины.

Инна смотрела, дожидаясь пунктирного сияния.

Верхний лепесток клонился, готовый обломиться в основании. Заглядывая в глубину эфира, она считала секунды.

«Раз... два... три...»

Трехпалая звезда призывно подмигивала, готовясь выполнить *любое* желание. «Еще посмотрим, кто тут жучка...» Инна сунула руку под рейтузы и, нащупав фотографию, зашептала прямо в эфир:

Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
через север, через юг, возвращайся, сделав круг...

ВЕЛИ, ЧТОБЫ Я ВСПОМНИЛА...

Она ждала, что Башня кивнет благосклонно, но картинка съезжилась и погасла.

По экрану бежали черточки и точки. Борясь с помехами, передающая станция переключила на Ленинград. Из эфирной черноты явилась новая заставка: высокий заиндевелый собор. Ангельское воинство, одетое в солдатские шлемы, караулило подступы к куполу. Издалека каменные фигурки казались мелкими, как саранча.

Я не должен был останавливаться. Мое дело – перепечатать. Но я сидел, пытаюсь вспомнить: когда и как она рассказала мне про свой договор с Башней? Пытался, но не мог. Словно память, на которую я надеялся, стала телевизионным экраном, бегущим черточками и точками. Я подбил странички и сложил стопкой. «Надо проветрить голову, пройтись», – оделся и вышел на лестницу.

Внизу, на площадке первого этажа, стояла детская коляска. Проходя мимо, обратил внимание: широкая, в таких возят близнецов. В доме, где я живу, никаких детей нет. Видимо, их мать пришла в гости. Поравнявшись, заглянул осторожно: младенцы спали. Не поймешь, не то мальчики, не то девочки – оба одеты в темно-зеленые комбинезоны. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг захотелось узнать. Я отошел к почтовым ящикам, будто собираясь проверить почту. Их мать появится с минуты на минуты. Открывая ящик, думал: «Что тут особенного? Поздороваюсь и спрошу: у вас мальчики

или девочки?» Внутри было пусто – ни счетов, ни рекламных проспектов. Неудивительно: почтовый ящик я проверял вчера. Стоял и думал: «Странно, куда ж она подевалась? Ушла, оставила без присмотра... А вдруг какой-нибудь злоумышленник...»

Я подошел и качнул коляску. Младенцы открыли глаза. Одновременно, как по команде. Я испугался, что они заплачут, и отдернул руку. Но они не плакали – просто смотрели с интересом, словно понимали: им нечего бояться. Я улыбнулся, и они заулыбались в ответ, сияя одинаковыми беззубыми деснами, как будто смеялись над моим никчемным любопытством: какая разница – мальчики или девочки. Может быть, в России, это и имеет значение. Там их и одевают по-разному: мальчиков – в голубое, девочек – в розовое...

Я шел по улице и думал о своей семье. Ни дед, ни отец, ни я – ни один из нас так и не стал взрослым. Никто не прожил свою собственную жизнь. Мы все поступали сообразно обстоятельствам. А она – нет. Эта девочка была взрослой. Не потому, что ничего не боялась. Еще как боялась: и родителей, и этих дурацких контролеров...

Завернув за угол, я вышел на площадь. Даже в сезон здесь не бывает туристов. Что уж говорить о нынешнем времени: конец ноября. Через месяц на площади поставят елку. Детей распустят на рождественские каникулы. После каникул они вернутся в школу. А потом станут взрослыми и проживут свою собственную жизнь. В их памяти останутся новогодние елки, подарки, которые дарили к праздникам. Ни старух, хранящих память, ни стариков – хранителей знаний древних цивилизаций. Ни Тараканов, дежуривших у ворот в рай. Ни разрушенных кладбищ с пустыми могилами, ни этих двойных фотографий, которые смотрят на тебя из прошлого: просят, чтобы их вспомнили...

Жаль, что я не замотал горло шарфом. Мог бы погулять подольше, пройтись вдоль канала, посидеть на скамейке. Мне не хочется возвращаться, потому что я помню миф. Знаю, что будет дальше. В мифе, который старик для нее выбрал, она пойдет на кладбище и потребует, чтобы ее впустили в царство мертвых, а иначе она ворвется сама и выпустит их на волю. Всех, а не только моего деда, которого узнала по фотографии. Но они не испугаются. Чего им бояться? Они привыкли жить среди мертвецов...

И все-таки я возвращаюсь. У меня нет выбора. Я должен сесть за компьютер и продолжить с того места, на котором остановился, когда моя память тронулась экранными помехами.

Вели, чтобы я вспомнила...

Глядя на экран, я представляю себе кремлевскую башню, увенчанную трехпалой звездой, и думаю об одной странности, которую упустил из виду: почему, описывая то время, я не вышел за границы нашей личной истории? Настоящий писатель, окажись он на моем месте, попытался бы взять шире, скажем, пошел бы в библиотеку – пролистал подшивки газет. Не бог вещь какой труд, ведь речь идет всего лишь о паре месяцев, когда страна уже встретила Новый год и готовилась к следующим праздникам: 23 Февраля и 8 Марта – мужской и женский день. Можно попытаться вспомнить. В конце концов, у нас в школе были политинформации. Нам рассказывали о важнейших текущих событиях, которые, как утверждалось в газетах, определяли настоящее и будущее страны: кажется, в то время таким событием была *разрядка международной напряженности* – новый способ сосуществования двух противоборствующих систем. Когда надо было выразиться короче, употребля-

лось слово *детант* – подобие свитка, в который свернулось это длинное неуклюжее выражение и еще очень и очень многое: наше миролюбие, наши великие свершения, которые складывались из наших общих побед.

Так говорили жрецы.

Год за годом они подчищали знаки, написанные кровью, и придумывали свои, новые. К моим шестнадцати годам этих свитков, выскобленных советскими жрецами, накопилась целая библиотека: революция, гражданская, Великая Отечественная. Отдельный свиток – блокада Ленинграда.

Картинка, которую я вообразил, ежится и гаснет.

«Ты – Жучка приبلудная, а они – доверчивые...» – в моей памяти шелестят тараканьи слова. Я сажу, сжимаю и разжимаю пальцы, и думаю о старике, которому доверился. Сквозь годы мне нелегко разглядеть его черты. Единственное, что я вижу ясно: бородавка, нависавшая над верхней губой. А еще я думаю про общие мифы, которые касаются каждого, потому что соотносятся с судьбой страны. Но есть и другие, личные, вроде истории Ореста. В каждой цивилизации они могут исполниться по-своему: в нашей его отца тоже убили, но только не жена, а Родина-мать.

Я раскладываю свои странички, готовясь двинуться дальше.

Чертов старик оказался прав. Мифы не исчезают. Лежат, дожидаясь своего часа, чтобы однажды вернуться. Я не хочу продолжать... Потому что думаю про Инну. Ведь если старик прав и мифы исполняются, кто-то должен был испугаться... Во всяком случае, в ее мифе.

И тут я понял, чего испугалась Башня, когда девочка, оторвавшая третий лепесток, приказала вернуть ей память.

6

Сегодня он читал лекцию в «Механобре»: о египетских богах.

Коротко, минут на тридцать, дал характеристики всему пантеону: от Тота, бога мудрости и письма, – по традиции его изображали с головой ибиса – до великого Осириса, с чьим именем был неразрывно связан культ умирающего и воскресающего божества. Потом привел несколько отрывков из «Книги мертвых», где говорилось о загробном суде, ожидавшем каждого умершего, и, перечислив основные вопросы, на которые, по мнению египетских жрецов, должен ответить покойник, задержался на образе Анубиса, покровителя мертвых, которого изображали в виде шакала, спящего по кладбищам. Согласно «Текстам пирамид», в погребальном ритуале этот бог играл особую роль. Одной из его важнейших функций была подготовка тела покойного к бальзамированию и превращению его в мумию. Именно он отвечал за *канопу* – сосуд, содержащий внутренности покойного, извлеченные из трупа.

Покончив с этими подробностями, Матвей Платонович потерял бородавку и вернулся к Тоту, под чьим покровительством находились архивы и знаменитая библиотека Гермополя. В культе мертвых и погребальном ритуале ибисоголовому богу принадлежала не менее важная роль: на загробном суде он присутствовал в качестве писца. Позже, в религиозно-мистической литературе древних греков, Тот выступал под именем Гермеса Трисмегиста («трижды величайшего») и в этом качестве стал покровителем всех герметических ритуалов, включая масонский.

– Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Прежде чем закрыть книги, он собрал клочки-закладки, которыми, готовясь к лекции, заложил нужные страницы, и спрятал их в карман: пригодятся для следующей лекции.

– Здравствуйте, профессор...

Матвей Платонович поднял голову. Молодой человек улыбался приветливо. Тот самый, что двумя неделями раньше заинтересовался темой человеческих жертвоприношений. Снова его лицо показалось знакомым.

– Слушаю вас, – Матвей Платонович откликнулся дружелюбно: приятно иметь дело с любознательностью.

– Вы упомянули о масонстве... Верно ли я понял, что следующую лекцию вы собираетесь посвятить этому общественно-политическому движению, возникшему в Новое время?

Матвей Платонович покачал головой:

– К нашим темам общественная деятельность вольных каменщиков не имеет прямого отношения. Речь о другом: ритуалы тайных масонских лож опирались на мистический опыт, накопленный древними цивилизациями, и в этом смысле питались из тех же источников, из которых черпало церковное христианство...

– Мистический опыт, – щеки молодого человека покрылись румянцем удовольствия. – Исключительно интересная тема... – он коснулся руками щек, словно стер молодой румянец. – Александр Анучин, аспирант исторического факультета. В настоящее время выбираю тему диссертационного исследования.

– Вы... собираетесь заняться масонством? – Матвей Платонович не сумел скрыть удивления. В его времена подобные темы были под запретом.

– Конечно, не впрямую, – его собеседник отвел глаза. – Но, как вы понимаете, формулировку всегда можно подработать: некоторые аспекты... история вопроса... Хотя, по правде говоря, – он обернулся к двери, словно опасаясь посторонних ушей, – моя мечта – заняться Великим Деланием...

Посторонние уши явились незамедлительно: женщина в синей вязаной кофте:

– Ой, извините... Я тут ручку забыла, – и направилась в дальний угол. Молодой человек следил за нею искоса. Женщина двигала стулья.

– Процесс Великого Делания, – Матвей Платонович оживился, – одно из базовых понятий. Аллегория рождения. Исходное вещество, запечатанное в тигле, считалось мертвым. По представлениям алхимиков именно оно порождало чистое золото...

Молодой человек приложил к губам палец.

Тетерятников моргнул удивленно, но закончил шепотом:

– В терминах алхимии это золото называлось Живым Сыном...

Обнаружив закатившуюся ручку, женщина составила сдвинутые стулья, села и открыла сумку.

Все еще недоумевая, Матвей Платонович бросил взгляд на книгу, которую не успел закрыть. На странич-

ке были представлены египетские боги – в соответствии с канонами их изображали в профиль.

Женщина защелкнула сумку и направилась к выходу. Дверь закрылась.

– Прошу прощения, но разговоры такого рода... – собеседник Тетерятникова сделал страшные глаза. – Как говорится, береженого бог бережет...

Матвей Платонович откашлялся.

– Нет, азы я конечно знаю. Главная проблема – источники, – молодой человек повернул голову, оглядывая стены, словно они беседовали не в красном уголке закрытого института, а в библиотеке, от потолка до пола уставленной фолиантами. – В спецхране кое-что имеется, но, честно говоря, для серьезной работы... Сколько всего уничтожено... Сколько книг! Просто сердце кровью обливается! – он говорил тихо и горестно, будто каждая уничтоженная книга была его личной потерей. – Вот если бы... вы, ваши обширные знания...

Матвей Платонович смотрел на острый профиль: подбородок немного вздернутый, узко посаженные глаза... «Ах, вот оно что... Бог-шакал – покровитель мертвых. Не то чтобы похож, но определенно что-то общее...» В прошлый раз именно это сходство и сбило с толку.

– Я – не специалист... – Матвей Платонович чувствовал неловкость, словно заподозрил приятного человека в чем-то нехорошем. – Но в той мере, в которой... – пытаясь скрыть смущение, он говорил особенно любезно.

– Большое, большое спасибо... К следующему занятию я подготовлю еще несколько вопросов...

Сложив книги, Матвей Платонович перетянул портфель ремнем.

– Позвольте вам помочь, – молодой человек протянул руку. – Для меня это честь...

Неожиданно для себя Матвей Платонович кивнул. На улицу они вышли вместе.

Снова побаливало сердце, давило за грудиной. Помощь, предложенная аспирантом, пришлась как нельзя кстати. Они дошли до трамвайной остановки.

– Ну вот... Тут уж я... – Матвей Платонович потянулся за портфелем.

– Ни в коем случае, – аспирант запротестовал горячо.

Эта горячность, свойственная молодости, показалась особенно симпатичной.

В трамвае молодой человек усадил его на свободное место и встал рядом. Поглядывая в окно, Матвей Платонович размышлял о превратностях жизни: на старости лет судьба, пасшая его железным посохом, дарила ученика.

Они вышли из трамвая.

– Как вы полагаете?.. С одной стороны, мертвое вещество, рождающее живого сына... – молодой человек переложил портфель в левую руку. – С другой – жертвоприношения детей... Живой младенец превращается в мертвое вещество. В сущности, один и тот же процесс, только вывернутый наизнанку?.. Нет-нет, – молодой человек заторопился. – Исключительно в аллегорическом смысле, вынося за скобки моральные аспекты. Но, согласитесь, возникает впечатление, будто решается одна общая задача. Правда, те, кто ее решают, движутся с противоположных сторон.

– Вы... имеете в виду... – Матвей Платонович смешался и замолчал. То, что сказал аспирант, звучало нелепо, но в то же время этому молодому человеку он не мог отказать в зоркости.

– Представьте себе: гора. Двум бригадам поручено прорубить тоннель. Первая движется, положим, с востока. Вторая – с запада, – молодой человек раскинул ру-

ки. – Если инженеры рассчитали верно, рано или поздно обе бригады встретятся, – его руки двинулись навстречу друг другу. – Речь о высвобождении энергий: в одном случае – рождения, в другом – смерти. Считается, что эти энергии имеют разную природу, но если в качестве рабочей гипотезы предположить, что отличие кажущееся... – пальцы встретились и переплелись. – Кстати, вы слышали о Туринской плащанице?

Они поравнялись с парадной.

Матвей Платонович кивнул. В свое время, заинтересовавшись этим вопросом, он собрал кое-какие материалы. Четырехметровое полотно. Согласно преданию, Иосиф из Аримафеи завернул в нее мертвое тело. Чудо заключалось в том, что энергия, которая высвободилась в процессе воскресения, если так можно выразиться, прожгла холост: на погребальных пеленах осталось изображение. Впрочем, ни одна церковь так и не признала его подлинности...

– Уж позвольте, как говорится, до квартиры... – предупредительно отступив в сторону, молодой человек распахнул дверь.

Матвей Платонович сделал шаг, но почему-то обернулся. Удерживая тяжелую дверь, молодой человек стоял, повернувшись к нему боком: острый подбородок вздернулся еще больше. «Библиотека... Ему нужна моя библиотека...» – догадка мелькнула и отдалась сердечной слабостью.

– Благодарю. Но я... – Матвей Платонович поборол слабость и закончил решительно. – Теперь я сам.

Почтительно поклонившись, молодой человек вложил ему в руку портфель.

Матвей Платонович вошел в парадную. Сердечная слабость не проходила. Поднимаясь по лестнице, он останавливался на каждой площадке, пережидая отдышку.

На пятом этаже работала дворничиха – шаркала ве-
ником:

– Здрасьте, – она распрямилась, держась за спину.

Занятый своими мыслями, Матвей Платонович не
ответил.

– Кресты-то когда отмоете? Уж пора бы...

– Вы – мне?.. – Тетерятников обернулся.

– Из ЖЭКа приходили. У всех жильцов окна чистые. Одни вы остались...

Не устаивая ответом, он двинулся дальше.

– Война-то когда кончилась! Нормальные люди
тридцать лет как отмыли, – дворничиха не унималась.

Матвей Платонович дошел до своей площадки и вы-
нул ключ.

– А хотите, – она выглядывала, перегнувшись через
перила, – приду, вымою. Я недорого беру...

Тетерятников потоптался в прихожей, изумляясь
бессмысленности людей. Вот и теперь: «Кресты... –
повторил машинально и вошел в кухню. – Кому какое
дело?..»

С уличной стороны на стеклах лежали узоры инея.
С внутренней – косые блокадные крестики: полоски
когда-то белой бумаги. Тетерятников вспомнил: давно,
кажется, году в сорок шестом, тоже явилась дворничиха.
Стыдила: весь дом позорите. Потом еще приходи-
ла, звонила, стучалась в дверь...

В голове неприятно шумело, словно там работал мо-
тор. Матвей Платонович достал из портфеля египет-
скую книгу, раскрыл и задумался о молодом человеке,
похожем на Анубиса. Бог мертвых заинтересовался его
знаниями. «Хватит... – укорил себя. – С чего я взял, буд-
то он зарится на библиотеку?..»

Матвей Платонович вытер руки о тряпку, которую
использовал в качестве кухонного полотенца, отогнал

нелепые мысли и обернулся к немцу, раскрытому на оглавлении. Вчера они остановились на Месопотамии.

Бегло просмотрев последние записи, Матвей Платонович остался доволен. Снова он обращал свой взор к любимейшей, чья мифологическая жизнь протекала на его глазах. Инанна – богиня плотской любви, звезда восхода, владычица небес.

Давно, когда он был молод, эта девица являлась ему в греховных снах. Всякий раз она подвергала его унижениям, но в конце концов, сменяя гнев на милость, позволяла то, чего не позволила ни одна живая женщина. Теперь, когда он состарился, а она сияла нетленной юностью, в его сердце вкралась нежность, как будто та, что была тайной радостью его жизни, предстала не возлюбленной, а дочерью. Если смерть явится, он желал умереть на ее руках.

Впрочем, на эту милость смешно рассчитывать: она – могущественная из могущественных, ее знаки стоят рядом со знаками Мардука, верховного бога, чей дух живет в его огромной статуе, пока однажды ее не покинет. Это событие миф увязывал с гибелью страны.

*Пал, пал Вавилон, великая блудница,
сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу,
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице...*

«Как же там?.. – вместо строк, ускользавших из памяти, в голову назойливо лезла дворничиха. – Надо же, приходили из ЖЭКа...» – он представил себе чужих людей, стоящих на тротуаре. Задирая головы, они оглядывали его окна.

Матвей Платонович встал и перешел в комнату. «Если явятся сюда, – он бормотал, словно готовился к на-

шествию варваров, – скажу: кто вы такие? Какое у вас право?.. Это – мои окна...»

Ходил между полок, осматривая книжные корешки. Готовясь дать отпор этим, глядящим в чужие окна, он думал о своих подлинных *современниках* – жрецах, живших в разные времена и написавших его любимые книги. Время, стоящее за окнами, не имеет над ними власти. Из века в век они возводят Великий город, куда не входят нечистые и преданные мерзости. Его память наполнена знаками их подлинного величия. В этом городе он, недостойный из недостойнейших, служит хранителем общих знаний, объединяющих все великие цивилизации.

«В этом моя сила. Я не должен никого бояться...» – так он уговаривал себя, изнемогая от слабости, но что-то подступало, шевелилось в глубине, ворочалось под толщей знаний, будто дворничиха, шаркавшая веником, сорвала задвижку, на которую он запер какую-то тайную дверь.

Тетерятников взялся за сердце и подошел к окну. С уличной стороны стекла покрылись слоем копоти. «Позорю... Кого я позорю?» – ковырнул бумажную полоску. Казалось, полоска въелась намертво, но она вдруг отпала, словно держалась на честном слове. Воодушевленный успехом, он взялся за вторую. На этот раз потребовалось усилие.

Морщась от нестерпимой боли, будто сорвал не бумажную полоску, а бинт, присохший к ране, Матвей Платонович смотрел в окно. В кривом крестообразном просвете виднелась темная улица, фасады домов на противоположной стороне.

Внизу, на тротуаре, собрались люди. Сквозь копоть, покрывавшую стекла, он едва различал лица. Эти люди стояли молча, но в памяти Тетерятникова их молчание

кукарекало и било крыльями, потому что это были *они*: те, кто собрались в зале, когда его вывели на сцену.

Матвей Платонович повернул голову: во главе президиума сидел человек. Этот человек беседовал с ним накануне. Теперь сидел ровно, смотрел прямо в зал. В то же время его неподвижный глаз следил за ним, не выпуская из виду, будто обладал нечеловеческим умением – *видеть всех и вся*. «Смелее. Мы вас слушаем», – шакалий глаз вспыхнул, словно наводя фокус.

Матвей Платонович провел пальцами по груди, пустой и готовой к бальзамированию, и, не слыша своего голоса, произнес громко, как договаривались:

– Собаке – собачья смерть. Мой отец предал Родину. Я отрекаюсь от своего отца.

Шакалья голова кивнула благодушно и, мгновенно приняв человеческие черты, обернулась к двери. В зал, под завязку набитый современниками, входила группа молодых людей. Каждый нес небольшой сосуд. В этих сосудах были спрятаны внутренности покойных, извлеченные умелыми руками...

Матвей Платонович держался за оконную рамку, не чувствуя сердца, словно орган, гоняющий кровь, уже извлекли.

* * *

Из-за крайнего флигеля выкатился приземистый мужичонка в рыжей ушанке.

– За картошкой? – косясь на ее мешок, спросил одобрительно. Инна кивнула. На плоском лице новосела отразилось удовольствие. – И я, – он вертел пустой сеткой. – До обеда в универсаме не было – обещали завезти. Третий раз хожу. Утром-то картошка была, но мел-

кая – я не взял, – мужичонка заглянул Инне в лицо и снова завертел сеткой, будто собирался закинуть ее, как невод.

Инна повела глазами по бледным, оклеенным сероватой плиткой домам. Местами плитка отвалилась: словно стены пошли красноватой кирпичной паршой.

– Так и ходите целый день?

– А как же, а как же! – теперь сетка волоклась по снегу. Рыжая патлатая шапка съехала на один бок.

– А если и сейчас не будет? – Инна предположила мстительно.

– Плохо, – он расстроился и облизнулся. – Без картошки скучно...

Перед универсамом стояла очередь. Мужичонка пристроился Инне в затылок, переминался с ноги на ногу и хлопал по бокам ватного пальто.

В овощном отделе картошки не было: ни мелкой, ни крупной.

– На рынок придется, – встрял озабоченный голос, и, обернувшись, она увидела знакомую плоскую физиономию. – Придется, говорю, на рынок. На троллейбусе-то – чего? Прямо к самому, – он вертелся, ловко перебрасывая пустую сетку с руки на руку. – В троллейбусе-то хорошо, тепло-о!..

«Явлюсь без картошки – будет скандал. Проще съездить».

Он догнал ее на троллейбусной остановке. Кружа у фонарного столба, читал объявления:

– Трехкомнатную на две – с доплатой, две комнаты на двухкомнатную, – коротко докладывал и тер лоб.

«Курятник твой – на две конуры».

В троллейбусе Инна пробилась в задний угол. Снова мутило, подступало к горлу.

– Нам – на следующей, – мужичонка стоял рядом. Лохматая шапка почти касалась ее лица. Инна отодвинулась, сколько позволяло место.

От рыночных дверей начинался фруктовый ряд – тянулся горками оранжевой хурмы, жесткой, как из папье-маше. Борясь с тошнотой, она слотнула липкую слюну.

В дальнем углу над картофельной кучкой стоял единственный хозяин. Перед ним, едва видный из-за прилавка, переминался мужичонка. Успел опередить ее и теперь складывал клубни в авоську – килограмма два.

Хозяин развел руками:

– Кончилась. Вот, последнюю взяли. Завтра приходите, подвезут.

Мужичонка облизывался, на этот раз, должно быть, от смущения, и вдруг предложил показать дорогу до ближайшего овощного.

Они вышли и пошли по Большому проспекту. Теперь он юлил впереди.

В овощном подвальчике было пусто, если не считать гниловатой моркови и соленых огурцов.

– Закрываемся, закрываемся! – грубый голос раздался из угла.

– Может, морковочки? – мужичонка заглядывал сбоку. – Морковочки – а? Не имеет права гнать, раз вошли.

Мимо, раскидывая опилки, прошла уборщица. Инна развернулась и пошла к дверям.

– Я еще один знаю, там, за мостиком, – он успел забежать вперед.

– А тот до которого? – она взглянула на запястье: стрелка подходила к восьми.

– Тот-то? До девяти работает, – он ответил торжественно, будто сам установил магазинное расписание и теперь пожинал плоды своей распорядительности.

Они перешли мост и, миновав бульжную площадь, свернули в узкую улочку. По правой стороне тянулся тихий, темный дом. Из окна первого этажа валили клубы пара.

– Ага, – он сказал, – казарма. Солдатики проживают.

Инна остановилась у широкой металлической трубы. Коснувшись земли, белые клубы возносились в морозном воздухе и растекались над крышей. Под раструбом стоял пахучий густой столб. Пахло щами и пареной кашей.

«Раз, два, три – горшочек, вари!» – Инна вспомнила сказку, которую любила с детства, и, повторив сказочные слова, зажмурилась, внюхиваясь в горячий пар. За стеной казармы стояла дебелая повариха – мешала гущу, орудуя половником.

«Раз, два, три!..» – Инна вдохнула изо всех сил и вступила в пахучий столб. Белые клубы заволакивали с ног до головы. Мужичонка вился рядом, втягивая в себя обрывки пара...

В пахучем облаке голова становилась легкой. Она потянулась к раструбу и встала на цыпочки. Жилки под коленями дрогнули – тело, пропитанное белым паром, оторвалось от земли: «Нет и не было, – она чувствовала немислимую легкость. – Ни старухи, ни Чибиса, ни... этого... его отца...»

Отдыхая, мужичонка присел на корточки, притулившись к водосточной трубе. Между коленями он зажал сетку с картошкой. Плоская физиономия вытянулась и заострилась.

«Что я здесь делаю?.. – Инна оглядела его изумленно, будто видела в первый раз. – Картошка... Зачем мне их картошка?..»

Она двинулась вперед, выбросив его из головы. Обойдя казарму, свернула налево. Прошла под аркой, перекинутой через улицу. Легкость, играющая в теле,

рождала иллюзию полета. Ей казалось, она летит, оторвавшись от земли.

Вылетев на простор площади, Инна остановилась, смирив дыхание. Высокий заиндевелый Собор, горящий всеми ярусами, выступил из эфирной глубины. Ангельское воинство, одетое в солдатские шлемы, караулило подступы к куполу. Запрокинув голову, она вглядывалась в каменные фигурки – они казались мелкими, как саранча.

«Конечно, вспомню, еще как вспомню...» – Инна шла через дорогу, печатая шаги.

Тело, пропитанное горячим паром, наливалось необычайной силой, словно Башня, готовясь выполнить третье желанье, вдохнула в него толику своей собственной мощи.

За низкой оградой начинались ступени. В глубине, за колоннами, виднелись высокие двери. Инна стояла, раздумывая: «Заперто... Все заперто... Как же я?..»

Где-то далеко, за сотни километров от Ленинграда, взошла Кремлевская Звезда. Два лепестка, пронзавшие тучи, испустили пунктирное сияние. Тело, налившееся силой, поднялось на цыпочки и, взмахнув руками, как крыльями, рванулось вверх...

Под ногами лежала зеленоватая кровля. Впереди, на самом краю, высилась фигура, закутанная в каменный плащ. Положив руки на подлокотники, он вглядывался в даль. Темная птица, сидевшая с ним бок о бок, цеплялась за складки плаща. Ветер, ударявший в спину, бился в высеченных складках. Каменная фигура дрогнула и подалась назад.

Инна бежала, не чувствуя ужаса. Крыша, покрытая изморозью, грохотала по следам. Добежав до высокой беседки, она нырнула под арку и замерла, укрывшись за колонной.

Прямо перед ней, возложив ладони на стебель огромной чаши, сидели два каменных ангела. Луч, падающий с неразличимой высоты, ударял в венчик. Он был прямым и сильным, словно чаша, за которую отвечали ангелы, сама испускала свет.

Набравшись смелости, Инна выбралась из укрытия. Стояла, смотрела на рассеченный город: три улицы летели стрелами от Адмиралтейства, ложились плашмя. Вровень с куполом, держа подступы к последней сфере, стояли вооруженные воины – гордая ангельская рать.

Их головы были повернуты направо, туда, где над низкой крышей поднимался горячий пар. Качнув тяжелыми крыльями, орел снялся с подлокотника и, в несколько взмахов достигнув казармы, завис над белым столбом. Спрятав голову в грудных перьях, птица канула вниз. Обрато он летел тяжело. Инна следила, запрокинув голову. Пролетая над каменной чашей, орел разжал когти.

Ангелы, дежурившие у чаши, качнули тяжелый ствол. Венчик раскрылся. Невесомая жертва, скользнув по каменным лепесткам, полетела к земле.

Дрожа какой-то неведомой дрожью, Инна подобралась к самому краю. Внизу, на ступенях запорошенных снегом, лежало маленькое тельце. Ангельские лики, грубые и неподвижные, смотрели вдаль. На их головах зеленели обручи, похожие на венцы....

Она оглядывалась, приходя в себя. Картофельный мужичонка исчез. Под водосточной трубой, на том месте, где он сидел скрючившись, стояла картофельная сетка. Раструб иссяк. Огромный Собор всплывал как из обморока. Мысли клубились обрывками пара:

«Завел... Надо выбиратья...»

Легкость исчезла, но дрожь тоже унялась. Теперь она чувствовала бессилие.

Подхватив картофельную сетку, побрела вперед. Фонарь, раздваиваясь, качался обоими венчиками. Направо, налево, в проем арки. Лишь бы убедиться, что ничего *этого* не было. «Сейчас, сейчас, – она бормотала, – теперь близко, рядом...»

Собор, освещенный во всех ярусах, уходил в небо необозримой громадой. Инна стояла под фонарем, запутавшись в тени, как в ветках. Через дорогу, в двух шагах от соборной стены, лежала другая тень. Может, это была просто тень, тень кого-то, кто прятался под колонной. Инна шла, и надежда убывала. Под стеной, вытянувшись к передним лапам, лежала мертвая собака. Черный стукот, белые глаза, кривой желтоватый оскал – мертвая песья улыбка. Темное брюхо вывернуто наружу.

Инна взялась за пики. «Через ограду?.. Нет, не достать...» Обрывки, расплзшиеся белым паром, собирались вместе: «Вспомнила. Всё вспомнила. Дворняжка. Жучка...»

Непреклонные ангелы не достаивали и взглядом. «Если что, отопрутся... Пусть попробуют!»

– Эй! – крик получился слабым: упал, не долетев до стены. Ангелы светильника молчали. – Ах, так! Ни в чем не повинного! – ухватившись обеими руками, Инна трясла ограду. – Это вы можете! И глядеть, как ни в чем не бывало! – Подлые птицы не слышали ее бормотания.

Руки упали, перебитые мыслью: «Как же это, когда *так* убивают?.. *Жертва*».

Так они предупредили ее.

– Думаете – что?.. Думаете, испугалась?.. Думаете, страшно?.. – взяв за лапы, потянула на себя. Собачьи лапы выскальзывали.

Инна уперлась лбом в ограду. Картофельная сетка осталась с той стороны. Дотянувшись сквозь прутья,

она дернула. Клубни посыпались и раскатились. Ска-
тав пустую сетку как чулок, натянула на собачье тулови-
ще и потащила к саду. Задние лапы, торчавшие сквозь
ячейки, волоклись по земле.

Кажется, она попала в розарий: повсюду колючие
кусты. Прямо под ногами зияла неглубокая рытвина.
Ветки и сухие листья: осенний хруст. Варежки стали
липкими. Инна стянула и бросила на дно ямы. Хватала
рогатые сучья, путаясь в ветках. Еловые иглы жгли, как
скорпионы. Кровь шуршала в ушах, словно там стреко-
тала саранча.

Встала, отряхивая колени. Розоватый тающий снег
капал с ладоней. «Теперь не доберутся», – протянув ру-
ку, погладила скуластую мордочку.

Комья земли падали картофельными клубнями.
Грязь растекалась по рукам.

Под грязью сочилось красное. Она обтерла мешком.
Холстина была липкой и мокрой. «Попадет в кровь –
конец», – вдруг вспомнила Рахметова – нового челове-
ка, который резал лягушек. Оглянувшись, принялась
вылизывать ладони, пока не остановила кровь.

* * *

От низкой пристани у подножья сада тянулись цепи
вмерзших в лед шагов. Две, натянутые ровно и сильно,
накрепко сковывали берега. Третья делала петлю к мос-
ту. За спинами домов оплывали свечи минаретов.

Слегка припадая на левую ногу, Орест Георгиевич
двинулся вдоль ограды: давило щиколотку, словно ее
замкнули в железо. Деревья, лишённые листьев, тяну-
ли к небу голые ветки. Сквозь стволы виднелись ящи-
ки статуй, похожие на дворницкие будки.

Орест Георгиевич дошел до замка цвета брошенной перчатки. «Русский Гамлет... – он оглядел потеки на фасаде, стены, подернутые красноватой известковой изморосью. – Мстил за смерть отца. Любил ритуалы. Мой отец – тоже. Говорил: доведись родиться в Средневековье, стал бы рыцарем или масоном... – Орест Георгиевич прислушался к пустому сердцу. Боль тускнела, но что-то неприятно подрагивало, как будто торкалось изнутри. – Все-таки Павлуша неисправим: хлебом не корми, дай напустить туману. Но в чем-то он прав: нервы ни к черту... Попаду к врачам, миндальничать не станут... Павел советовал собраться. Сказал: московский гость. Приехал специально. Надо же, оказывается, я – важная птица».

Подходя к парадной, Орест Георгиевич вдруг вообразил, что попросят снять рубашку. Как будто и вправду шел к докторам.

Он постучал и, дождавшись, когда откроют, подал знак. Прямоволосый не поздоровался: то ли не узнал, то ли следовал их дурацкому ритуалу.

Занавес в гостиной задернули. Из дальнего угла доносились голоса, приглушенные складками. Орест Георгиевич приподнял лазоревую ткань, прислушиваясь.

– Что до меня, – из смежной комнаты доносился старческий голос, – я положительно думаю, что вопрос о бессмертии следует отделять от вопроса о смерти. Считается, что смерть – необходимое и достаточное условие бессмертия, которое получают... – голос усмехнулся, – как пайку.

– Вы хотите сказать, что сама по себе смерть не влечет за собой бессмертия? – Орест узнал голос Павла.

– Смерть вообще ничего не влечет. Она – последнее в ряду земных обстоятельств и с этой точки зрения всегда имеет причину, – старческий голос рассуждал

неторопливо. – Причину, но не следствие. Следствие – штука особая. Полагаю, его надо заслужить.

– Но что же делать с извечным человеческим желанием? При определенных обстоятельствах именно ради бессмертия человек соглашается умереть, – Павел возражал горячо.

– У вас ангельский подход, – тон собеседника был абсолютно серьезным. – У меня же – подход старика. Но поскольку старик и есть падший ангел, значит, по известному логическому закону, у нас с вами могут обнаружиться точки пересечения.

Орест Георгиевич стоял, все еще прислушиваясь. Он вспомнил старуху, сидящую в соседней комнате. На фотографии, забранной в тяжелую раму, она блистала ангельской красотой. «Станешь тут падшей... Прожив такую жизнь...»

Между тем Павел засмеялся ласково:

– А культура? Разве она не бессмертна?

– Великая культура покоится на великих мифах.

– И чем же не подходят наши? Среди них есть подлинно великие: революция, война... В конце концов, блокада.

Орест не застал начала разговора и теперь слушал, пытаясь понять.

– Подходят, если они останутся актуальными. Тогда их можно будет перерабатывать бесконечно. Будь я моложе, я позволил бы себе высказаться определеннее: переливать из пустого в порожнее, но я – старик. Мне не к лицу этикие вольности.

Орест Георгиевич застыдился своей нарочитой медлительности.

Дальняя комната, в которую он входил, больше напоминала приемную. В отличие от гостиной, она была обставлена со старомодной тщательностью. Три кожа-

ных дивана стояли, образуя букву П. На одном, кинув руку на черный глянцевоый валик, сидел Павел. Орест оглянулся, ища глазами его собеседника.

В углублении капитальной стены на месте дровяного камина был устроен электрический, внешне напоминавший старинный. Его окружали изящные витые колонны. По виткам ходили холодноватые отсветы. Экран отодвинули в сторону – к самому, на одну ступень, возвышению, в глубине которого стояло глубокое вольтеровское кресло, затянутое холщовым чехлом. В кресле утонул старик. Лицо, скрытое в полумраке, поражало бледностью. В остальном Орест не нашел ничего необычного: высокий лоб, залысины, близко посаженные глаза.

Старческая рука потянулась к настольной лампе, контурами повторившей керосиновую: высокий рожок, плафон, изукрашенный узором. Старик повернул рычаг, словно подкрутил фитиль.

Павел встал и подхватил Ореста под локоть:

– Прошу любить и жаловать: мой друг Орест Георгиевич. А это, – поклон в сторону кресла, – доктор Строматовский.

– Вы – врач? – все-таки Орест Георгиевич не скрыл удивления.

– Увы! Официально я считаюсь доктором химии, но, говоря между нами, числю себя по ведомству генетики. Слыхали о слугах этой *продажной девки*? – Строматовский улыбнулся тонко.

– Дай бог, – Павел подхватил почтительно, – чтобы у всех продажных девок были такие преданные слуги. Я бы сказал – рыцари, – он воздел указательный палец.

– Рыцари со страхом и упреком, – Строматовский ответил коротко, и Павел отступил. Оресту показалось: как-то стушевался.

– Вы ведь тоже естественник? – к нему доктор обращался с церемонным дружелюбием.

– Химик, – Орест Георгиевич решил быть лаконичным.

– И что же, достигли успехов?

Орест пожал плечами неопределенно.

Доктор поднял руку: три пальца сухой кисти были вытянуты вперед, два – сведены. Он шевельнул вытянутыми, словно сбрасывал с вопроса шелуху:

– Есть ли в ваших трудах то, в чем вы превзошли предшественников?

Орест смотрел на сухие твердые пальцы:

– Нет, – он замялся. – Пожалуй, нет.

– Завистники? Чья-нибудь злая воля? Может быть... вас преследуют?

Он замечательно понял старика:

– Завистники – вряд ли. Преследовать не за что, – он взглянул на Павла украдкой.

Тот опустил веки, словно одобрил ответ.

– Вы всерьез полагаете, что преследующим нужен предмет? – Орест Георгиевич обернулся. В комнату входил хозяин. – В этом случае довольно двух действующих лиц. Необходимое и достаточное условие, последняя истина греков: дух Ананке. Судьба преследует героя.

– Тем более, – Орест кивнул, здороваясь. – Увы! Я не герой.

– Преследует? Вы имеете в виду, эринии и всё прочее? – Павел снова вмешался. – Это если верить Эсхилу. Но мне, говоря по совести, уж если выбирать между интерпретаторами, ближе Еврипид. Всё как в жизни. Никакого героического ореола. Главное действующее лицо – душевнобольной.

Орест напрягся. Слова Павла отдались сильнейшим раздражением: эти спекуляции на его имени надоели

до смерти, но в то же время внушали тревогу, будто подталкивали к пропасти, словно от них исходила какая-то длинная волна, ведущая в глубины памяти, где его мифологический тезка, мстя за убитого отца, убивал собственную мать.

Строматовский перехватил его взгляд:

– Ну, ну... Бог с ней, с мифологией! Кто старое помнит... – доктор переждал неловкое молчание. – Ваш друг, – он счел возможным продолжить, – сообщил, что в вашем личном архиве сохранилась редкая рукопись – так сказать, досталась в наследство. Надеюсь, вы не будете против, если мы в своем сугубо узком кругу ознакомимся с ее содержанием, – интонация приподнялась вопросительно.

Орест Георгиевич оглянулся на Павла и ответил твердо:

– Не думаю, что это доставит мне удовольствие.

Глаза старика сверкнули:

– Если так, примите мои нижайшие извинения. Поверьте, если б знал... – Строматовский развел сухими руками.

«Господи, да какая разница... Все равно уже прочитали», – Орест Георгиевич подумал и махнул рукой.

– Благодарю вас, – старик засмеялся беззвучно. – Вы – покладистый собеседник. Теперь это редкость, как отменное вино.

Орест Георгиевич опустил взгляд, но сейчас же поднял, услышав прямой вопрос:

– Как вы полагаете, что самое интересное в истории?

– Люди, – Оресту показалось, что удар отбит чисто. – Их чувства, желания, побуждения.

– Чувств пять, желания определены, побуждения однообразны. Будь по-вашему, все окончилось бы на Авеле, а между тем история длится.

Орест оперся о диванный валик, готовясь возразить, но Павел опередил:

– Вы, доктор, хотите сказать, что люди, как элементы истории, вас не интересуют?

Сухая рука поднялась:

– Мне интересен любой человек, но *только* как носитель заблуждения. Именно в общественных заблуждениях скрываются зерна истины, и я – как петух – стремлюсь их склевать, – пускаясь в рассуждения, старик молодец. Орест слушал внимательно. Беседа становилась особенным, самодостаточным удовольствием. – Впрочем, можно сказать и иначе: люди выдыхают заблуждения. Я же их вдыхаю, перерабатываю и выдыхаю истину. *Exsufflatio – insufflatio**.

«Добрались до латыни», – Орест Георгиевич уже успокоился и теперь любовался светом камина.

– Можно ли быть уверенным, что именно в заблуждениях присутствует истинное зерно истории? – он спросил, размышляя.

– Что есть заблуждение? – Строматовский склонил голову набок. Орест подумал: и вправду похож на петуха. – Во многих случаях – это просто истина, проходящая первую фазу своего земного существования. Точнее, так ее называют люди, наблюдающие процесс со стороны. Взять хоть историю Иисуса. Первых его адептов недалновидные римляне карали как носителей злого заблуждения. Их считали *абсолютно* заблудшими именно на том основании, что они брались проповедовать *абсолютные* истины. Которых, кстати сказать, не было у римлян: ну разве что почтение к власти.

– Вы верите в Иисуса Христа? – Орест Георгиевич спросил удивленно.

* Выдох – вдох (*лат.*).

– Я, – ангельский доктор сидел спиной к лампе. Орест Георгиевич не мог видеть его лица. – Я, скорее, римлянин: верую в разных богов. Но скромно и без фанатизма.

– Не понимаю, – Орест поднялся, – чем на практике может помочь изучение общественных заблуждений? Как правило, они весьма примитивны.

– Не скажите... – Строматовский покачал головой. – Хорошее заблуждение соотносится с контекстом эпохи. В случае удачи можно нащупать эпохальную истину – если, конечно, предположить, что у каждой эпохи она есть.

– Вы полагаете, у нашей – тоже? – Орест Георгиевич подхватил заинтересованно.

Хозяин вышел из комнаты.

Беседа выходила на новый виток. Павел приблизился к камину и что-то подправил. Красные электрические зигзаги высветили коллаж, висящий над колоннами: башня, увенчанная красной звездой.

– К сожалению, в этом смысле наша эпоха – не из лучших, – старик продолжил неторопливо. – Ее истина соткана из противоречивых заблуждений. Те, кто живет в настоящее время, – непримиримые враги. Впрочем, это у нас в традиции. Одни проклинают власть, другие – ей верно служат. Но именно в этом противоречии можно нащупать нечто общее – я имею в виду, *предмет*. Власть – вот ключевое слово. И те и другие считают ее незыблемой и вечной.

– В таком случае, – Орест Георгиевич почувствовал себя свободнее, – рискну продолжить: заблуждения – насыщенный раствор. Поставьте на огонь, и стенки покроют крупички истины.

Старик засмеялся, растягивая рот по-лягушачьи:

– Вот мы и условились: мой петух – аналог вашей реторты. Впрочем, вы – точнее. В поисках истины главное – огонь, – теперь он не смеялся. – Боюсь, в этом-то

и проблема. Поди-ка, разведи его под сердцем! – лягушачья кожа сморщилась. – Очень трудно загореться мыслью. В наше время это не под силу даже молодым.

Хозяин вернулся. В руках он держал металлический шар на ножках. Снизу они имели форму звериных лап, но завершались миниатюрными головами. Орест Георгиевич всмотрелся: лев, медведь, кажется, барс и еще один, с рогами, – звериные головы по всем четырем сторонам. Сбоку торчал кран с поворотным ключом. Под днищем располагалась спиртовка. Хозяин чиркнул спичкой. В подбрюшьи сферы забился синеватый болотный огонек.

– Беда в том, – Строматовский смотрел на пламя, – что обе стороны действуют несогласованно и этим самым впадают в методологическую ошибку. Одни стоят за то, что систему нужно разрушить, другие – силятся найти способ удержать ее в прежних рамках. И тоже – любой ценой.

Хозяин приподнял крышку. Тяжелый гвоздичный запах хлынул через край. Чистые грани стаканов вспыхнули багровым.

– Моего отца расстреляли, когда мне было, кажется, лет десять, – мускулы под глазами дрогнули.

– Кажется? Да, да, понимаю... Ни времени, ни места... В советской трагедии всё приносят вестники, – Строматовский говорил печально. – В этом смысле мы пытаемся следовать античной традиции. Беда в том, что классический механизм разрушен: из всех единств осталось одно – единство действия.

– А я? – Орест Георгиевич выпрямил спину. – *Как* я должен относиться? К какому лагерю примкнуть?

– На вашем месте я не примкнул бы ни к какому. К чему множить заблуждения? – сухой рукой доктор провел по лицу. – Ваш отец оставил рукопись...

– Да, – Орест свел дрогнувшие пальцы, – и в ней – его заблуждения. Они характерны для его поколения, но я, – пальцы, сведенные в замок, разжались, – *никакой* истины разглядеть в них не могу.

Строматовский взглянул коротко. Павел поднялся, подошел к каминной полке и подал рукопись. Стариковские пальцы разладили края: непокорные листы вздыбились, норовя свернуться в трубку.

Четыре пары звериных глаз смотрели по сторонам.

– Я думаю, – Орест Георгиевич смотрел прямо, – мой отец отдавал себе отчет в том, что заблуждается. Во всяком случае, решил сжечь.

– Ну-у, – протянул Строматовский. – Тут работали и другие причины, например, страх.

– Но все-таки не сжег, а сшил, – Павел произнес настойчиво.

– Ваш отец, – доктор не сводил глаз с живого пламени, – сумел нащупать главное: узкое место всей системы. Судьба, преследующая страну, требует создания *нового* человека. Человек *ветхий* создан по образу и подобию. С новыми задачами ему не справиться – эта система не по нему.

– Если вы, – Орест Георгиевич терзал свои пальцы, – считаете систему нечеловеческой, не проще ли поставить на ней крест?

Доктор засмеялся, прикрывая рот ладонью. Орест заметил сероватые, будто съеденные, десны.

– Поверьте мне: сама по себе эта система – вечна. В каком-то смысле, проще создать нового человека, чем ее демонтировать. То есть, говоря формально, демонтировать можно. Но *как таковая* система все равно останется. И будет существовать до тех пор, пока будут жить наши общие мифы.

Орест вспомнил обрывок разговора, который он услышал, стоя за занавесом:

– Вы имеете в виду культуру?

– В частности, – Строматовский кивнул. – Великие цивилизации никогда не строились на правде. Правда неприглядна. Ею может вдохновиться только жестоко-сердный.

– Что бы ни случилось, мы должны остаться великой державой. На том и стоим. Нельзя отнимать у народа его игрушку, – Павел поднял стакан и отпил.

Доктор любовался багровыми гранями:

– Система уже дает сбой. Если не отладить, это – вопрос времени. Я имею в виду распад страны.

– Ну и шут с ней! И пусть себе! Невелика потеря! – Орест понимал, что зарвался, но не мог остановиться. – Кстати, интересно, куда она денется? Что – ядерная война во всемирном масштабе?

– Это – вряд ли, – хозяин ответил за доктора. – Армагеддон – не наш миф.

– Нет, СССР не исчезнет физически, – доктор продолжил спокойным тоном, не обращая внимания на горячность собеседника. – На карте мира он до поры останется, но с каждым годом будет отступать в прошлое, как все гибнущие цивилизации. Я же, подобно вашему отцу, хочу, чтобы наш Рим обрел заслуженное бессмертие. Увы, оно не обретается ценою смерти.

– Вы хотите, чтобы всё это длилось бесконечно? Вам... – Орест Георгиевич передернул плечами, – мало принесенных жертв?

– Ну кто, кто говорит о жертвах? – Павел вмешался решительно. – Строго научная задача: обеспечение будущего страны.

– В двадцатом веке, – хозяин выступил снова, – особая история. Не простенький выбор между Добром

и Злом. Взять хоть Вторую мировую: свободный мир предпочел помогать коммунистам. Все-таки – меньшее из двух Зол.

– Кстати, о ядерной бомбе... – проворчал Павел. – Где бы мы были с твоим чистоплюйством, не сумей мы ее создать!

Орест Георгиевич чувствовал страшную усталость. Отвлеченный разговор съедал последние силы. «Пора переходить к делу».

– И как вы себе это представляете? – каждое слово давалось с трудом. – Положим, вещество будет создано: вы *всех* планируете подвергнуть обработке? Что-то вроде газовых камер?

– Дались тебе эти газовые камеры! – Павел вспыхнул.

– Я понимаю вас, – старик поглядел на Павла осуждающе. – Нет, *обработка*, как вы изволили выразиться, коснется далеко не всех. Больше того, я уверен: исключительно осознанный выбор. Что-то вроде люстрации. Но, – он поднял палец, – с обратным знаком. Процедура для тех, кто желает занять руководящие посты. *Особое условие* для успешной карьеры.

– Вот, вот, – Павел подхватил, – вроде вступления в Партию. Никто никого не заставляет.

Орест Георгиевич опустил глаза.

– Позвольте, – старик вернулся к рукописи, – я предвосхищу ваш следующий вопрос: вы хотите узнать, почему, воспользовавшись заметками вашего батюшки, мы не можем продолжить расчеты сами? Увы, – он усмехнулся, – нас мало, да и тех нет. Я хочу сказать: наш круг слишком узок. В нем нет настоящего химика, владеющего современным научным аппаратом.

– А вы? – Орест Георгиевич спросил впрямую.

– В сравнении с вами я – алхимик. Умею сформулировать задачу, но не могу ее решить. Ваш отец сумел

сделать решающие наброски. Но его уничтожили. Мне, в сущности, повезло в одном: меня *взяли* позднее. Но, как бы то ни было, на все их глупости у меня ушло двадцать лет. Срок нешуточный – за это время наука ушла вперед. Мне не догнать.

– Не понимаю, – Орест Георгиевич хмурился. – Вы, пострадавший от системы, желаете ее спасти? Вы – жертва, они – ваши палачи...

– Ну-ну-ну... – Строматовский поднес к губам стакан, словно намереваясь выпить. – Жертвы... палачи... К чему такие крайности? Будьте милосердны. Все мы, в каком-то смысле, заблудшие. Кстати, из этого скорбного списка я никак не исключаю себя. Что касается моих сокровенных целей... Да, с рациональной точки зрения мои мечты безумны. Но в том-то и дело, что истина чуждается разума.

– Что до меня, боюсь, я не смогу им соответствовать – вашим безумным и иррациональным мечтам, – Орест ответил твердо.

– Поверьте, это не так, – голос Строматовского уверещал. – Если позволите, я с легкостью докажу вам обратное. У вас ведь есть дети?

– Да, – Орест вздрогнул. – Сын.

– Я задам вам один вопрос, а вы постараетесь ответить правдиво.

– А если солгу? – Орест Георгиевич съежился: сейчас этот иезуитский старик спросит про *девочку*. Павел, конечно, рассказал. С самого начала они имели *это* в виду, приберегали напоследок.

– Стратегия вытекает из задачи. Хотите закоснеть в своем заблуждении, можете лгать.

– И вы это стерпите?

– Я? – доктор глядел отрешенно. – Поверьте, я и не то стерплю... Другое дело, что *вам* это не поможет...

Итак, я хочу знать, – доктор говорил медленно, словно подбирал правильные слова. – Сообщили ли вы своему сыну, *как* погиб его дед?

– Но он... Мой сын школьник... – Орест Георгиевич хрустнул пальцами.

– Благодарю. Ответ – исчерпывающий, – обернувшись к лампе, Строматовский прибавил света. Хлынув сквозь вязь узора, свет залил капители и лег на темный коллаж. Красная звезда, венчавшая башню, раскрылась пятипалой горстью.

– При чем здесь?.. Какое отношение?.. – Орест Георгиевич смотрел на звезду и не мог отвести глаз.

– Прямое, – доктор улыбнулся горестно. – Если бы вы желали этой стране гибели, вы открыли бы ему правду.

– И что? – Орест усмехнулся растерянно. – Узнай мой сын правду, это погубит страну?

– Как бы вам сказать... Не знаю. При известном стечении обстоятельств это кажется возможным... Хотя в то же время... – старик замолчал.

– Вы, – Орест Георгиевич вдруг решился, – работаете... – он хотел сказать: на *контору*, но сказал: – На *них*?

– Можно выразиться и так, – доктор отвел взгляд в сторону. – Но можно и по-другому: мы – самочинное ответвление.

Орест Георгиевич потер взмокшие руки и шагнул к камину: ему хотелось ответить по существу.

Ладонь, раскрывшаяся ораторским жестом, взлетела и оперлась о коллаж. Пальцы прикрыли железный венчик:

– Я не согласен с вами! Дети на то и дети, чтобы знать *не всё*. Когда мой сын вырастет, я сам расскажу ему всю правду, но это...

Под рукой зашипело, словно плеснули горячим маслом. Короткий электрический удар пробил сустав – до

плеча. Рука оторвалась с усилием – будто ее прижгли к лепесткам.

Три звездных зубца прилипли к ладони. Орест взмахнул кистью, стряхивая. На обожженной руке вспухали пятна.

– Влажная... Оголенный провод... – Павел бормотал испуганно.

Поднялась суматоха. Хозяин вышел и вернулся с пузырьком:

– Смажьте, пожалуйста, смажьте, – он смочил клочок ваты.

Орест Георгиевич мотнул головой и отвел его руку.

Павел подобрал упавшие пластинки:

– Два против трех, – казалось, взвешивал их на ладони. – Твоя теория получила три черных шара.

Боль становилась чувствительной. Орест Георгиевич поднялся. Его никто не удерживал.

Он вышел на бульвар и приложил горсть снега. Боль утихла, но вернулась, едва снег растаял.

«Хорош... ангельский доктор... Интересно, с электричеством – случайность?» – не сворачивая к автобусу, решил идти утренней дорогой: по Пестеля до самых садовых ворот. – Можно срезать, пройти через сад...»

По сторонам аллеи высились дощатые ящики. Замок цвета женской перчатки остался за спиной.

Орест Георгиевич дошел до Невы и остановился: на кольцах ворот, выходящих на набережную, висел амбарный замок.

«Черт! Не хватало, чтобы и там заперли!» – досадуя на себя, он оглянулся назад.

Высокая желтая фигура, свободная от ящика, стояла напротив. Цепко захватив младенца, старик подно-

сил его к разметанной бороде. Беззубые старческие десны закусили складку детского тельца.

«Кронос, – проходя мимо, Орест Георгиевич прочел табличку. – Миф, подходящий любой эпохе... Рано или поздно перемерем все. Кто ж это сказал? Павел? Нет, – боль тронулась тонкой коричневатой струйкой. – Или доживем до старости и станем падшими ангелами, как эта старуха... Красота, преображенная в ненависть... – боль упала на сердце тяжелой полновесной каплей. – Ненависть этой девочки – самое страшное, что теперь предстоит... – он смотрел на младенца, закутанного в мраморные пеленки. – Время? При чем здесь – время? Я сам – чудовище, глотающее младенцев...»

Не взглянув в лицо каннибала, Орест Георгиевич побрел назад.

* * *

Там, где когда-то болело сердце, ширилась полость – огромный сосуд. Матвей Платонович приподнялся на локте, оглядывая стеллажи. Он-то был уверен, что выгнал его из памяти: тот зал, под завязку заполненный современниками. Там, испугавшись до смерти, он дал ответ на *их главный вопрос*. В этом вопросе соединилось всё: жизнь и смерть, добро и зло, любовь и ненависть.

СОБАКЕ – СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ. Я ОТРЕКАЮСЬ ОТ СВОЕГО ОТЦА.

Ответ, лежащий в основе их проклятой цивилизации.

Сколько лет он копил знания, надеясь их спасти. Вывести из тупика, вернуть на главную дорогу истории, но те, кто называли себя его современниками,

упорствовали в своих ответах. «Поздно... Теперь – поздно...» – он спустил ноги и замер, сгорбясь, прислушиваясь к сердечной пустоте.

Всю жизнь он имел дело с фактами. Поднимаясь с рассветом, начинал свое терпеливое восхождение. Его знания – Вавилонская башня, его собственная великая цивилизация, которую он, единственный строитель, сложил по кирпичику, полыхала сотней медных ворот. За них не проникали варвары, прожорливые, как саранча.

Голова работала ясно. Прошое, укрытое под толщей знаний, всплывало как забытая стихотворная строка. Оно сложилось и замкнулось рифмой: шакальеголовый, сидевший в том президиуме, – любезный молодой человек.

«Его сын. Поэтому и похож...»

Он понял задачу, которую они вознамерились решить с его помощью. До поры до времени их власть обеспечивалась человеческими жертвами. Теперь они задумали обратное: заставить мертвых работать на себя.

Когда-то давно он попытался возразить шакальеголовому. Сказал: «Я... не могу... предать отца... Это – невозможно». Они сидели в маленькой подвальной комнате, куда его вызвали прямо с лекции. Человек, похожий на шакала, усмехнулся: «Поверьте, для вас, в вашем положении... Именно это и возможно...» Анубис, шныряющий по кладбищам, оказался прав: в цивилизации, которую *они* построили, именно невозможное стало единственно возможным.

Матвей Платонович поднялся с трудом. В голове зашумело, будто снова включился мотор.

Если вынести за скобки *тот загробный суд*, он прожил счастливую жизнь. *Эти* извлекли его внутренности, но не замуровали, не спрятали под землю. Дали время накопить знания.

Пустота, занявшая место сердца, подпирала ребра. Без него, хранителя чуждой им цивилизации, библиотека – всего лишь тело: мумия, лишенная главного. Чтобы воспользоваться накопленными знаниями, нужен Дух.

Знания, лишённые Духа, не могут служить. Чтобы знания ожили и заговорили, необходимо мастерское слово. Слово и тайный знак. В желудке шевельнулась горечь, похожая на боль. Он облизал пересохшие губы и, прислушавшись к шуму мотора, вспомнил серую «Волгу», так напугавшую его на набережной. Эта акула ходила неподалеку.

На цыпочках он подобрался к двери. Снаружи было тихо. Матвей Платонович вытер заслезившиеся глаза: «Бежать, вниз, вырваться из парадной...» – Тетерятников усмехнулся. Что-что, а *это* он знал наверняка: там, внизу, дежурят представители ЖЭКа. Чувствуя ватные колени, он подошел к окну и дернул. Створки сцепились намертво: этот путь тоже отрезан. Остался один – вверх.

Слезаящиеся глаза поймали лестницу, по которой он взбирался к верхним полкам. Взявшись обеими руками, подтащил и прислонил к стеллажу. Отзываясь на чрезмерное усилие, голова пошла кругом. Он занес ногу и поставил на поперечину. Буквы, глядевшие с корешков, дрожали мертвой зыбью.

Цепляясь обеими руками, взбирался всё выше и выше – из последних сил.

Деревянные перекладки вихляли, выворачиваясь, словно лестница, по которой карабкался, стала веревочной. Неожиданно она установилась крепко-накрепко, и Тетерятников понял: кто-то карабкается за ним. Это могли быть только *они*: дети Анубиса, преступные и алчные подмастерья, желающие выпытать из него тайну...

Еще надеясь уйти от преследователей, он глянул вниз. Там шумела вода. С высоты, на которую он за-

брался, библиотека, его собственная великая цивилизация, выглядела скорлупкой, пляшущей в волнах.

Серая акула, сужая круги, поднималась из глубины. Он увидел плавник, разрезающий воды, и, охнув, разжал руки. Молотки, наугольники и масштабы поднялись и ударили прямо в голову.

Великая цивилизация, живущая в его памяти, погасла в то же мгновение – так, как, по словам его собеседника из *одновременной эпохи*, когда-нибудь погаснет Земля.

* * *

Последнее время отца как подменили. Который вечер, зарывшись в рукописи, он просиживал за письменным столом допоздна. На листах, расплывшихся по столу, чернели ряды формул. «Новая идея?» – Чибис заглянул. Отцовские глаза сияли энтузиазмом.

Светлана в доме не появлялась. С тайным облегчением Чибис угадывал серьезную размолвку – следствие непонятной подвальной истории. Вставая из-за стола, отец бродил по дому мрачнее тучи, словно счастье, зажигавшее глаза, исчезало, стоило отвлечься от работы. О фотографии он не спрашивал: может, не заметил. Ксения твердо обещала: Инна отдаст.

Неделю назад она затащила его в раздевалку, за сморщенные мешки, и передала разговор с Инной. Выходило, будто отец сам отдал мамину фотографию, потому что они – брат и сестра – не то двойняшки, не то близнецы, но Инну отдали чужим. В иных обстоятельствах от этих выдумок можно было бы отмахнуться, но теперь, когда в подвале *что-то* случилось, любая версия могла оказаться правдой.

Разговор в раздевалке был коротким, Ксения торопилась домой. Обдумывая ее рассказ, Чибис задавался разными вопросами. Сегодня он наконец решился: пошел после уроков, предложил проводить.

А еще ему хотелось поговорить о знаках. Поделиться своими догадками.

Они вышли из школы и двинулись вдоль канала. На подходе к площади дрожала незамерзающая полынья. Испарения поднимались к решетке, оседая белесыми хлопьями.

Чибис замедлил шаги и глянул вниз. Вода, стоявшая в полынье, казалась черной. От нее сочился гнилостный запах.

– Что ты хотел? – Ксения остановилась и поднесла варежку к губам. В глазах, глядящих на Чибиса, стояло уныние.

– Не знаю... – Чибис смотрел на варежку, отгоняя неприятную мысль: кажется, он сделал неверный выбор. Чтобы выступить против бабушки и одержать победу, новая мать должна быть *другой*.

Неприятная мысль мелькнула и погасла. Он отвел взгляд и обвинил себя в несправедливости: то, что предсказывали знаки, случится не завтра. Придет время, и эта девочка тоже станет сильной и смелой.

Он хотел свернуть к мосту, но Ксения пошла направо – к пешеходному переходу.

– Ты что, торопишься? – В голове клубились вопросы, он не знал, с чего начать.

– Вообще-то... Понимаешь, я обещала...

– Кому?

Они перешли площадь и встали на остановке.

– Соседке, – Ксения поежилась от ветра. – Раньше я ее видела, но так, – махнула рукой, – даже не здоровались, а вчера, в лифте... Попросила с ней съездить...

– Куда? – Чибис постучал ногой об ногу, сбивая снег.

– На кладбище. Говорит, одной несподручно, – Ксения подошла к кромке тротуара, высматривая автобус. – Понимаешь, она какая-то... не знаю. Жалкая... – она сморщилась. – И дети у нее умерли, мальчики.

– Я думал, мы с тобой... – Чибис пытался вспомнить, где и когда он слышал эту историю.

– А давай завтра.

Войдя в автобус, она обернулась и махнула рукой.

Дома Чибис отломил горбушку и пошел к себе. Он вспомнил сразу, едва Ксения уехала: про женщину, у которой умерли дети, говорила Инна – в тот раз, когда явилась к отцу и рассказала про потоп. Сказала, что это несправедливо: та женщина получила трехкомнатную квартиру, как будто ее дети не умерли. «Странно... Неужели та самая?..»

В отцовской комнате били часы. Чибис жевал и считал удары, пока не сбился.

«Все умрут, а ваша красота останется... На радость будущим поколениям», – эту фразу произнес Павел, а потом явилась Светлана, и разговор перешел на старика с картофельной бородавкой. В тот раз Ксении с ними не было.

Тетя Лиля – он вспомнил, как зовут женщину, которую Ксения назвала жалкой.

А еще они говорили о параллельных прямых, и Павел сказал, что существуют плоскости, которые никогда не пересекаются...

Чибис оглядел комнату. Стены клонились, словно становясь сводами. Он сморгнул, стараясь спрямить кривизну. Комната не слушалась. «Как же она сказала?.. – он пытался вспомнить Иннину фразу. Вспомнил: – Предпочитаю другую систему аксиом». А еще

она сказала: эти плоскости обязательно пересекутся, но только потом, когда все умрут и никакой справедливости не будет...

В прихожей раздался звонок.

«Отец. Ключ что ли забыл?..»

Он встал и пошел к входной двери.

– Кто там?

– Я. Открывай.

Иннино лицо было бледным, как во сне. Сдерживая дыхание, он посторонился.

– Ты... один? – она прислушивалась.

Чибис кивнул.

– Пошли к тебе.

Кисти набухли, наливаясь пульсирующим жаром. Он спрятал руки за спину.

– Со мной случилось странное. Там, – Инна махнула рукой, – есть собор и ангелы. Стоят на ужасной высоте. Но мне удалось добраться. Они сидят у светильника, а я – на краю...

– На краю чего? – Чибис шевельнул кончиками пальцев.

– Крыши, – она уточнила раздраженно. – Эти ангелы... Подлые. Что-то там караулят, какую-то тайну... Здесь, – она повела рукой по стенам, – спрашивать некого: или не знают, или – врут. Так вот, они догадались, что я доберусь до верха и всё узнаю, и тогда – что-то *совсем* изменится...

Чибис молчал зачарованно. То, что она говорила, было безумием, но за ним, словно новое солнце, загоралась еще непонятная правда.

– Я стояла близко и видела: они испугались. А потом мне стало страшно, *так* страшно, что я хотела прыгнуть. Но они сами трусили и подменили меня собакой. Успели подменить. Но главное... Главное, это – никакая

не собака. Человек. Я узнала по глазам: сначала мы шли за картошкой, а потом они принесли его в жертву...

Сон, который она рассказывала, становился всё яснее. Но, главное, в нем пересекались все параллельные прямые, словно своим рассказом она меняла систему аксиом.

– Они думали, я стану вилять по-собачьи, благодарить, что меня подменили, и больше не сунусь в их поганые тайны. Но я – не стану, потому что... Я-то знаю, что все равно уже прыгнула, а значит, считай: У-М-Е-Р-Л-А. Они думают, смерть – самое страшное. Думают, их все боятся: и живые, и мертвые. Но это – неправда. МЕРТВЫЕ СТРАХА НЕ ИМУТ, – она опустила глаза.

Чибис знал эту поговорку или пословицу, которую она так страшно перепутала. Но Инна не дала себя поправить:

– Вот, смотри, – она сунула руку за пояс юбки и достала желтоватую фотографию. – Это – случайность или везение. Там их много – целая стенка. Таракан... этот старик. Он что-то знает. Про всех. Говорит: дежурил у *входа*. Я не поняла: Пьяный, стал показывать. Я сразу вспомнила: нос, глаза, губы...

– Это... кто?.. – Чибис протянул руку. Рука залилась краской. На запястье выступили рыжеватые волоски.

Крылья, расходящиеся от переносицы, вздувшаяся нижняя губа...

Дед, которого сфотографировали два раза: прямо и боком. В правом нижнем углу буква. Рядом, через черточку, число. В-238.

– Это... мой номер.... В смысле, моей школы... Только я не понимаю... – Чибис смотрел на фотографию, но видел Иннины обкусанные ногти. Лак, которым она их накрасила, слез до самых лунок. Остались красные серпики.

– При чем здесь твоя школа? – она сунула карточку под пояс. – Ты что, не понимаешь? Это – твой дед.

– Да, – Чибис кивнул растерянно, пытаясь свести две плоскости: ангелов, хранящих какую-то тайну, и чужого пьяного старика, который дежурил у входа. – И что... теперь делать?

– Как – что?! Это же зацепка. Мы вернемся и вытрясем из него всю правду. И тогда у нас будет доказательство, – Инна одернула юбку.

Пальцы Чибиса таяли и оплывали как свечи:

– Это правда, что ты... моя сестра?

Чибис спросил и увидел полог колыбели, в которой они лежали вдвоем – рука об руку: ее, с красными серпиками, его – с рыжеватыми волосками. Толстая веревка хрустела, словно кто-то, может быть, их отец, раскачивал колыбель тяжелой рукой.

– Ксанка наболтала? – Инна фыркнула. – Слушай больше эту дуру!

– Мы попробуем... Должны попробовать. Ты была одна, – Чибис смотрел во все глаза.

Колыбель качалась, поднимаясь все выше, не давая опомниться. Он протянул руку и коснулся ее руки.

– Ты что, дурак? – она отшатнулась.

– Ты не думай, я не поверил... – *новая* еретическая правда не требовала доказательств. – Я... Пойду с тобой и буду свидетелем. При мне эти ангелы не посмеют... А потом я расскажу тебе про знаки...

– Встречаемся завтра, на вашей остановке. Полчетвертого. Успеешь? – Инна шла к двери.

Он закрыл и заперся на оба замка. Стоял, озираясь растерянно. Оглянувшись на ватных старцев, плюхнулся на сундук.

«Наврала... – сидел и думал про Ксанку. – Как пить дать – наврала. Конверт, – вспомнил. – Конверт...» –

вскочил и ринулся в отцовскую комнату. Кусочки клеенки... Веребочки, продетые сквозь надрезы... У нее должны быть точно такие. Если она найдет свои, всё выяснится окончательно и бесповоротно.

Распахнув бюро, он рылся в документах. Конверт, склеенный из бандерольной бумаги, исчез. Никакого доказательства не было.

Чибис пихнул бумаги на место, закрыл и подошел к окну. В доме напротив загорались окна. Еще месяц назад он спросил бы отца, но теперь что-то мешало. «Если спрошу, отец тоже спросит».

Он закрыл глаза и увидел колыбель. Кто-то, уже не похожий на отца, раскачивал ее тяжелой рукой. Под этим пологом они лежали вдвоем ровно и недвижно, как два продолговатых камня, закутанных в белые пеленки.

* * *

Инна перешла 1-ю линию и свернула на Средний проспект. На тротуаре напротив кондитерской стояла белая машина. Прохожие обходили по проезжей части.

– Соседи, соседи вызвали... – какая-то женщина говорила громко.

Из ближней парадной выступила процессия: два санитара тащили тяжелые носилки. На них лежал серый брезентовый мешок. Водитель вылез из кабины и распахнул задние створки. Молодая докторша, поддерживая узкую юбку, забиралась на переднее сиденье:

– Совсем с ума посходили... Чего в неотложку-то? Есть же *специализированные*, – она хлопнула дверцей.

«Кто-то умер. – Снова тошнило, и кружилась голова. – Надо что-то съесть», – проводив глазами машину, она свернула в кондитерскую.

Две старухи вошли следом: из распахов пальто торчали фланелевые халаты. Взяв кофе, они расположились за соседним столиком.

– Ой, не дай Бог! Такая смерть... Как представишь, один, на полу, почитай, целую неделю... – старуха в синем цветастом халате сокрушалась сочувственно.

– Зато уче-ный, – другая, в зеленом, прихлебывала из чашки, неопытно отирая рот.

– Вот то-то и оно. А за гробом – некому, – первая поджала губы. – Так-то сосед был ничего. Здравоваться, правда, забывал. Бывало, скажешь: здрастье. Зыркнет, как петух – голову набок.

– Профессор, что ли? – другая переспросила понятиливо.

– Да, вроде того, – старуха в синем ответила не очень уверенно. – Правда, неказистый. И портфельчик рваненький. Вот на втором этаже – чистый профессор: ни дать ни взять. Марья-дворничиха говорила: первым здоровался. Тоже помер. А этот, говорит, ходит, ходит... Марья последней его видела. Весной-то юбилей. Победу будем праздновать. Комиссия по городу ездит, проверяет. Наш дом проверили, смотрят – кресты. Ну они Марью и вызвали: поди, мол, поговори с жильцом. Надо отчистить, а то непорядок...

– Да-а... – старуха в зеленом качала головой. – Тридцать лет, а будто вчера. Я-то сразу отмывла. Думала, отмою и забуду. А оно помнится, помнится...

– Вот Марья его встретила и говорит: кресты свои отмойте, город-герой позорите. А хотите, говорит, я сама приду, отмою.

– Марья хорошо моет, – старуха в зеленом кивнула. – Чисто. И берет недорого.

– А ты откуда знаешь? – другая прищурилась.

– Соседка моя пользуется. Как ее очередь – вызывает. Я, говорит, хирург: руки нельзя портить.

– Ишь ты! – старуха в синем растопырила пальцы. – Барыня, значит. А нам, значит, можно...

– Ну дак с крестами-то – чего?

– А ничего. Отказался. Эти-то приехали, дай, думаю, загляну: поглядеть хоть, чего у него там. Врачиха не пустила.

– А ты? – старуха в зеленом млела от любопытства.

– А что – я? Я, не будь дура, милиции дождалась. С ними вошла, встала эдак скромненько, будто понятая. Уж я закон знаю. Теперь, конечно, не то. Раньше по полночи сидели. А этот, нынешний, и глядеть не стал, чиркнул в бумажке. А грязязи... – она всплеснула руками. – Клеенка рваная, банки из-под консервов... Но уж кни-иг! И чего они в этих книгах читают? Все умными хотят помереть... Полка на полке: так, так и этак, – старуха чертила руками. – Я вот чего думаю: врачиха не пустила. А? Книги-то. А чего? Раз-два, и – в сумочку. Долго ли одну-другую прибрать!

– Да пусть бы и брали, – товарка моргнула белесыми ресницами. – Сама же говоришь: родных никого.

– А вот это не-ет, – старуха ответила важно. – Пока жив – пользуйся; помер – все книги государству.

– Ну да, ну да, – та поддержала испуганно.

– Господи! – спохватилась. – Да должна ты его помнить: бородавка такая огромная. Чисто картошина – прям, на полгубы.

«Этот, старик, – Инна вздрогнула. – Который про фараонов...»

– А нашли-то как? Ужаси! Из-под двери понесло, – старуха в синем отхлебнула из чашки. – Вонь несусветная. День хожу, другой хожу, думаю, крыса, что ли? У нас,

бывало, в деревне: крыса в подполе сдохнет и ну смердеть...

Черствый коржик встал поперек горла. Чужа тошнотворный запах гнили, Инна выскочила, зажимая рот.

* * *

Тетя Лиля ждала внизу. Стояла, опершись о черенок лопаты. Из корзинки торчала толстая кисть, и несло чем-то сладковатым. Рюкзак на длинных лямках оттягивал спину.

– Надо лямки подтянуть, до упора, – Ксения взяла корзинку. – Нам пионервожатая говорила, когда в поход ходили.

Тетка махнула рукой и, двинув плечами, пошла вперед.

– На тройке поедем, – тетя Лиля легко боролась с ветром.

– Я долго не могу... – Ксения переложила корзинку в другую руку.

– Не бойся! Там дела короткие – часов до семи обернемся.

Ксения шла рядом, оглядываясь украдкой: байковые сапоги на молниях, платок – узлом. «Вроде и не старая, а какая-то...»

Троллейбус подошел быстро.

– Через Неву переедем, там пересадка, – тетя Лиля стояла в проходе, не снимая рюкзак. Пассажиры протискивались, ворча недовольно.

На Дворцовой их вынесло людским потоком. Тетя Лиля подпернула лямки и двинулась по тротуарной жиже:

– Воды-то! Чисто наводнение... Скоро один останется.

– Кто? – Ксения заторопилась, пытаясь подстроиться под широкий шаг.

– Этот, – приставив ладонь козырьком, тетя Лиля смотрела на ангела, венчавшего колонну. – Так и будет торчать.

– А! – Ксения поняла. – Я знаю: это легенда такая... про пустой город.

– Будут вам легенды, когда обернут яко жернов о камень, – тетка откликнулась недовольно.

Этого Ксения не поняла.

До автобусной остановки шли молча.

– Теперь покрутит, – свою поклажу тетя Лиля установила на задней площадке. – Хочешь, – махнула рукой, – посиди.

– А долго нам?

– На Забалканском, за садом... Там и сойдем.

Никакого сада Ксения не заметила.

– Что это? – она оглядывала широкий фасад.

– Это-то? Дак пушнина.

Ксения снова не поняла.

Над домами, похожими на бараки, поднимались голые кроны. За воротами, распахнутыми настежь, начались кресты и низкие строения с голыми арками.

– Это что... гробницы? – Ксения поежилась.

– Склепы называются. Не бойся, теперь пустые, – тетя Лиля вынула сложенный листок.

По дорожке, протоптанной в снегу, подошли к огороженной могиле.

Тетка сняла рюкзак и, разбросав снег, отомкнула калитку. Внутри, привалившись набок, лежал огромный камень. Тетя Лиля достала пеструю ветошку и принялась тереть прутья, залезая пальцем в завитки.

– Это чья могила? – Ксения обошла пустой камень.

– А, не знаю, – тетя Лиля вынула черную кисточку. – За вечную покраску заплочено, – сухая кисточка ходила ловко.

– Кому? Вам?!

– Зачем – мне? – тетка разогнулась и поджала губы. – Родные заплатили. Монастырю.

– А разве это?.. – Ксения оглянулась.

– Раньше был. Теперь-то разграбили. Я родилась тут. Во-он больница родильная, – она махнула кистью на двухэтажный барак.

– Вы... это... пыль обметаете? – Ксения спросила осторожно.

– Тряпкой обмела. Кистью крашу, – тетя Лиля взглянула коротко. – С краской нельзя. Увидят – снесут могилку. Закон здесь такой. Нельзя, чтобы посещали. Раньше-то и сторож стоял, красиво было, – тетя Лиля оглядела склепы.

– А там церковь? – Ксения разглядела купола.

– Собор. Воскресения, – теткин голос стал мечтательным. – Монашенки жили. Мать моя и я с ней. Лампадки теплили в склепах: ковры, утварь... богато! Зимой арестовали всех. Потом разорили, – она оперлась о камень. – Теперь-то – всё. Не воскреснет.

– Как это – арестовали? – Ксения сморщилась, как будто собралась заплакать. – И вас?

– Меня не-ет. В приют послали – в Калязин. Я уж потом вернулась, когда второй мой помер.

– Вернулись... – Ксения боялась выговорить. – Вернулись хоронить?

– Не. В больнице остался. Так и родился мертвый. Кто ж его отдаст? – тетя Лиля говорила спокойно. – Тогда и листочек этот нашла, материн, бабка сохранила. Тут все могилки материны – ее послушание. – Ксения заглянула: квадратики и крестики с номерами. –

Елена Чижова

Всего-то из ейных и осталось – три оградки. Да мне и легче, – тетя Лиля сложила бумажку. – Камни расползаются, что ни год – глядь, новые напоззли...

Сапожные молнии, запорошенные снегом, потускнели.

– Мои-то вон где, – тетка обошла щербатый камень, стоявший у тропинки.

Жирные потеки висели на буквах черными гирьками:

АДОЛЬФ
1941–1941

ИОАНН
1949–1949

ТИХОН
1959–1959

Окуная кисть в настоящую краску, она подновляла буквы и цифры.

– А тут разве можно?

Тетка обтирала кисть ветошкой:

– Могилка-то пустая. Своротят – на другой напишу. Мало ли камней!

«1941... Адольф...»

– Это... вы их так называли?

Тетка сощурилась, будто не поняла вопроса.

– Я... Я имею в виду имя, – Ксения застеснялась. – Имена.

– Да какие имена?! – тетка глядела изумленно. – Они ж не крещеные. Так, вроде клички. И собак как-то зовут...

– Я тоже некрещеная, – Ксения призналась тихо.

– И у тебя, значит, кличка, – тетя Лиля спрятала кисть.

– У меня папа еврей.

– Ну и что – еврей? Тоже, небось, люди: как-нибудь крестят...

Из-за ближнего склепа высунулась голова: плешивая, с рыжеватыми волосами – круглым венчиком:

– Эх, гляди, тетка! Допишешься у меня!

Ксения шагнула к тете Лиле.

– Да не бойся! Нешто это сторож? Эдакого дурачину даже власть не поставит. А ну, – она поманила пальцем, – поди-ка сюда!

Рыжеватый вылез на тропинку.

– Черняшки хочешь? – тетка шарила в рюкзаке.

– Бе-еленькой-то лучше, – принимая хлеб, он причмокивал.

– А ты – ничего... Помолодел, гляжу.

– А то! Девки старых не жалуют, – он подмигнул Ксении и, ухватив за ключья, стянул плешь с головы. Свои, седоватые, были подстрижены коротким ежиком. – Мерзнет голова-то, – он щелкнул по сморщенной плешу.

– Ну, как вы тут? – тетка затягивала веревку рюкзака.

– Ничего пока. Живые подступают – покойнички обороняются. Врешь ведь, – он грозил пальцем. – Небось, не пустая пришла.

– Ладно. Зови, – тетка подхватила рюкзак.

У высокого склепа Плешивый оставил гостей и свернул в аллею.

По нижнему венцу подымались маки – серые головки на сером камне. Над аркой, заделанной дверью, было выбито: PAX HUIC DOMUI*.

Плешивый вернулся и распахнул дверь. Тетка кивнула Ксении:

– Заходи, заходи. Там хорошо. Тепло, сухо.

* Мир дому сему (лат.).

Над головой вспыхнула лампочка.

Лавки, застеленные рогожей. У дальней стенки – столик. Над ним фигурки ангелов, дующих в трубы. «Похоже на комнатку», – она села на лавку и разгладила рогожу.

– Чего загрустила? – Плешивый приставил пальцы ко лбу и набычился. – У-у-у!

Ксения улыбнулась невольно.

– Видали! Заманил девицу и терзаешь, как лисицу! – чужой голос вырос в дверях. Новый гость был крижист. Продолговатое лицо и набрякший подбородок придавали ему что-то лошадиное. Под туплом, вывернутым мехом наружу, виднелся черный костюм. Лошадиный запустил руку в темноту и выдернул табуретку:

– Давненько... в наших отверженных, – распахнул тупл пошире, сел и покосился на теткин рюкзак. Плешивый вился рядом. – Зарезка сказал – откупного принесла? Тетка взялась за лямки.

– Злато-серебро – не откупа. Подавай прельстительницу нашу, – Плешивый замер за табуретом.

Из рюкзака вылезла бутылка с золотой крышечкой. Плешивый подскочил и принял почтительно. Сорвал с одного прикуса и, оттянув рогожу, вынул мензурки.

Лошадиный примеривался, занося бутылку:

– Помощница твоя выпьет?

– И не вздумай, Максимилиан, – поправив платок, тетя Лиля ответила сурово.

– А ты? – Лошадиный, которого она назвала Максимилианом, разливал по мензуркам.

Тетка задумалась:

– Дел еще!.. А – ладно! – махнула рукой.

– К Нему пойдешь? – Лошадиный крикнул и отставил пустую. Плешивый тоже выпил до дна. Тетя Лиля слегка пригубила.

– Поищи-ка там, на полочке, – Плешивый мигнул Ксении, тыча пальцем в темноту. – Да не бойся! Ангел там сидит. – Ксения подошла к арке, завешенной рогожей. – Свет нащупай там, справа.

Она кивнула и вошла.

В углублении стены, на камнях, рассевшихся до трещин, сложив на коленях руки и за спиной крылья, сидел мальчик. Узкая спеленатая спина сутулилась. Щуплые запястья терпеливо лежали на коленях. Лоб перехватывала мраморная лента, похожая на бинт.

– Ну чо, познакомились? – плешивый голос донесся из общей комнатки.

– Тут... кто-то похоронен? – Ксения спросила, оглядываясь через плечо.

– Нету никого. Пустая могила. Так и сидит над пустой.

В нише у самых ангельских колен стоял круглый поднос: куски хлеба, яблоки, яйца. Ксения взяла обеими руками.

– Богато живете! – тетка потянулась к яблоку.

– Разбойничаем помаленьку: где на рынке, где – сами подадут... А то по могилкам промышляем. Теперь носят покойничкам!

– Своих обираете? – тетя Лиля надкусила яблоко.

– Мы ти-ихо живем, – Плешивый завел примирительно.

– Пошла бы ты погуляла! – тетка доставала вторую бутылку. – Нам свое поговорить надо.

Ксения поднялась послушно.

Она обошла склеп, прислушиваясь.

«...В лесах сучки, в городах – милицейские крючки, хочут нас, добрых молодцев, ловить, в железо садить...» – выкрикивал голос Плешивого.

Тетка смеялась: «Гробокопатель боится! Вишь, дрожит – милицейские крючки! Да кто тебя тронет? Тут места громленные: власть, небось, не воротится!»

Ксения вернулась к двери и села на приступочку.

«Петух с воробьем спорили, каменный дом построили, фундамен-то соломенный, под окном камень осиновый!» – заливался Плешивый. «Цыц! – загудело пьяно. – Я вас всех на чистую воду выведу, измену повыжигу!» – «Как же ты, Максимилианушка, ее повыведешь, если она рядом с тобой жила, с одной тарелки ела?» – «Сынка моего вспомнил? – чем-то тяжелым застучали об пол. – А ну, гробокопатель, веди сюда моего сына!»

Дверь открылась, пахнув на Ксению водочным духом. Плешивый вылез и, усевшись рядом, принялся шарить по карманам. Собрал в горсть монеты, сосчитал, цепляя одну к одной:

– Деньги есть?

Ксения достала двадцать копеек.

Плешивый принял и заговорил важно:

– Я тебе за твою денежку Его покажу. Тут недалёко. За мной следуй.

Череда крестов и камней обрамляла дорожку. Собачий лай летел издалека.

– Не бойсь. Привязанные. Пустят, когда стемнеет. – Два ангела, сложив крылья, сидели у тропинки. – Ишь, расселись – дурная стая! – Плешивый сплюнул и обтер рот кулаком.

Между ближними крестами что-то блеснуло. Тревожные выкрики собирались птицами.

– Иисус Христос – Сын Божий, – провожатый объявил шепотом.

На ступенях каменного помоста стояли стеклянные банки. К подолу бронзового платья привалены камни. За спиной – высокий, тяжелый крест.

– Я спас его, – гордый шепот у самого уха.

– От римлян? – она повернулась к Плешивому.

– От разбойников. Чего, не веришь? – он говорил трезво. – А вот – слушай. Двое. Повалили и волоком – к воротам. Днем дело было. Псы-то привязаны. А я ка-ак закричу!.. Эти-то испугались и бросили. А я Его – в склеп. Там могила-то пустая, этот один сидит.

– Кто, ангел? – Ксения вспомнила щуплые запястья и ленту, похожую на бинт.

– Ну, – Плешивый кивнул с достоинством. – Чем так сидеть, думаю, пусть караулит. А гря-язь, развезло: осенью было. Пока дотащил – измазал всего. Ну, воды принес, стал протирать – хуже только, разводы одни. Водкой хотел, – он поежился, – а потом спирту Ему купил – нашатырного: десять пузырей. Едки-ий! Глаза жрал. Плачу и сморкаюсь! – он засмеялся. – Так и пролежал зиму. Весной обратно поставили. Щиколотки у Него лопнули – пришлось подпирать.

– А эти... – Ксения забыла слово, – грабители?

– Разбойники-то? Куда-а! – он склонился к ее уху. – Потом-то узнал: бросили Его – побежали. Прямо через Московский. А там рельсы. Трамвайная линия. Одно-го и переехало. Во! – он ударил себя по ногам. – Ровненько по щиколоткам, как они – Его. Видать, отомстил. А как же! – глаза, обожженные нашатырем, пылали.

– Уби-ил?!

– Почему убил? – Плешивый отвечал важно. – Наказал. Спасли, говорят – на костылях теперь ходит...

– Этого... не может быть... – Ксения приложила ладони к щекам.

– Чего не может? – он озлился. – Тут все свидетели. Хоть тетку свою спроси.

Ксения молчала. Из-за поворота дорожки слышались голоса. За Лошадиным, держа корзину, шла тетя Лиля.

Плешивый засуетился:

– Вот, историю Его рассказываю...

Тетка пристроила корзину на ступени:

– Поди, Ксана, баночки помой, – она выдергивала гнилые стебли. – Новые листики поставлю. А этот... облыжный, – тетка оглядела Плешивого, – пусть поможет. Нечего языком вихлять!

Плешивый затрусил по дорожке.

Железный кран торчал из стены

– Давай сюда, вода холоднющая, – он засучил рукава.

Ксения смотрела на теткин камень:

– Тетя Лиля говорит – там пусто, никого.

Плешивый обернулся:

– Почему никого? Прошлым летом кота зарыл, – он кряхтел и скреб стекло. – Тоже живая душа... Алабрыской звали.

– Адольф – как будто Алабрыска? – Ксения сказала быстро, словно нашла выход.

Плешивый глянул косо:

– Адольф – это Адольф, – он сносил банки на тропинку.

– Значит... она – за фашистов?

– Дура ты еще судить: кто да за кого... Прожила бы с ее... – он больше не паясничал.

– Скажите... а почему они хотели в Иерусалим? И теперь тоже хотят...

Плешивый глядел внимательно.

– Мой папа, – Ксения говорила через силу, – радио слушает. *Та-та-та Шолом Алейхем...* – она пропела тихо-нечко, – каждый день. Родители молчат, но я все равно знаю... Чувствую.

– Не все, а только самые верные, – он держал чистые банки. – Сын против отца, отец против сына. Он так сказал, чтобы возненавидели и пошли за ним, иначе не останется камня на камне...

– А они? – Ксения спросила, замирая.

– Возненавидели и пошли, но все равно не осталось.

– Значит – обманул? – она вспомнила высокий щемящий голос.

Лицо Плешивого скривилось:

– Значит – так. Один теперь стоит – среди мертвцов, – он завернул кран.

Ксения глядела ему в спину. Растопырив руки, Плешивый семенил по дорожке. Кончики пальцев раздулись стеклянными банками.

На ступенях стояла фляга. Тряпкой, смоченной керосином, тетка протирала голову статуи. Там, где она проходила, оставался блестящий след.

– Спит, – она кивнула на Лошадиного. Тот дремал, привалившись к помосту. Тяжелая челюсть то и дело отваливалась. Лошадиный вздрагивал и подбирал. – Ишь, дергается, Ирод!

За теткой спиной Плешивый подкрался и, подняв флягу, глотнул полный рот. Чиркнув спичкой, выдохнул одним духом. Распыленные брызги вспыхнули. Бледные искры побежали по вывернутому тулупу. Лошадиный дернул челюстью и открыл глаза:

– Бабу пьяную видел. Говорит: в гости к тебе пришла.

– К пьяному и смерть – косая! – тетя Лиля терла бронзовые складки.

– Тьфу, черт! – Лошадиный отплеывался. – Ты, что ли, Зарезка? – пьяный глаз поймал Плешивого. – Сынка моего привел?

Елена Чижова

– Как же! Приведешь теперь! Ты ж его убил! – Плеши-
вый вскинулся, ударил себя по бокам и затынул визгливо:

Померла наша надея!
Во гробе лежит она!

Лошадиный поднялся, шатаясь:

– Предателем он был, – слова падали на землю как
камни.

Зарезка подскочил и сунулся ему под руку – костью.

Тетя Лиля комкала тряпки:

– Пошли. Вроде все дела переделали, – она собрала
корзинку и надела рюкзак на плечи. – Нечего их безум-
ства смотреть.

До ограды дошли молча.

– Эти, ваши знакомые... – Ксения оглянулась. – Они
всегда здесь?

– Где ж им еще? – тетя Лиля удивилась. – Тут и обре-
таются – живут.

– А почему – Зарезка?

– Лютый был смолоду, вот и прозвали. Теперь-то
утих...

– А тот? Он правда сына убил? – Ксения торопилась
следом.

– Кто ж его знает – может и убил когда, – тетка отве-
чала равнодушно.

* * *

– Пусти, – Ксения начала, – мне надо сказать...

Они вошли в Иннину комнату.

– Я была на кладбище, с твоей тетей... – она дума-
ла, Инна удивится, но та молчала. – Мы красили ог-

рады, а потом пошли к камню: там как будто ее дети. Сыновья. Она пишет краской. А потом вышел один в плешивом парике и позвал нас в склеп, – Ксения заторопилась, чувствуя, что опять говорит глупо, и Инна отвернется, не дослушав. – Ты была когда-нибудь?

– Нет, – Инна смотрела мимо.

– У них домик в склепе. Лавки и свет... Они пили водку, а потом Плешивый сказал, что надо всех возненавидеть, в смысле родителей...

– Ну? – Инна переспросила, будто угрожая.

– А в другой комнате – ангел, – Ксения обняла себя руками, словно сложила крылья.

Иннин подбородок дернулся и приподнялся:

– Ну? – она повторила угрозу.

– Понимаешь, там лежак, теперь, а была пустая могила, а раньше в ней лежал Иисус... Из оперы, – Ксения прошептала и опустила глаза. – Этот Плешивый... Они зовут – Зарезка. Он говорит: Иисуса хотели утащить. Разбойники. Отбили ноги. А потом одному тоже перерезало, когда бежал через рельсы. Плешивый сказал: это Иисус подстроил – из мести. Только я не верю, – Ксения собралась с духом. – Ни одному слову. Врет он всё! И кошку мертвую подрыл под тети-Лилин камень, где ее дети как будто... Там вообще всё перепутано... – Ксения смотрела робко.

Иннино лицо стало острым:

– Ну? – она спросила в третий раз.

– Я подумала: надо что-то делать, а без тебя не знаю. Этот Плешивый – умный и хитрый. Это он теперь придуривается, а сам утащит и разобьет. Потому что всех ненавидит. Там еще Лошадиный есть. Максимилиан. Тоже страшный. Вдвоем впрягутся. Ты, – Ксения сглотнула, – сможешь?..

– Поехали.

– Сейча-ас?.. – Ксения осеклась. – Там же склепы... и кресты...

– Боишься? – полоснула насмешкой.

– Там собаки еще... К вечеру выпускают.

– Колбасы возьмем.

Ксения вспомнила сладковатый запах:

– Лучше керосину. Подошвы смажем. У меня есть, там, в кладовке.

– Мо-ло-дец, – Инна произнесла четко и отдельно. – Давай. Я подожду.

Арка, распахнутая наружу, сочилась светом.

– Ну, и где твой Плешивый?

На полу – разграбленное блюдо: огрызки и куски. Ксения нырнула под арку и нащупала выключатель.

Из-за ее плеч поднимались белые острые крылья.

Этот ангел был безоружен – ни меча, ни копья. Узкий бинт, заправленный за уши, опоясывал голову. Терпеливая усталость сгибала ангельскую шею. Глаза, глубоко врезанные, смотрели вниз. Инна подошла и положила руку на его пальцы...

Снаружи ударило в стену – глухо, как камнем. Собачий отрывистый лай полетел издалека. «Свет», – Инна прошептала одними губами. Ксения кинулась к выключателю. Свет мигнул и погас. «Прячемся». В углу, на топчане, бесформенная тряпичная куча. Инна раскидала и пихнула Ксению к стенке. «Дверь надо было... – под ветошью Ксения дышала с трудом. – А то – собаки...» Иннин острый локоть ударил в бок.

Пудовое шарканье раздалось под дверью. Распянувший мужицкий зык лез в склеп.

«Он, Зарезка». – «Да тихо ты», – Инна цыкнула.

За стеной шевелилось, дрожало мелким дребезжанием. Потом стихло.

«Задрых, что ли?...» – Инна поднялась на локте. «А...!» – отхаркнулось грязным словом. Ксения съезжилась.

– Фу-у-у! – чья-то рука подняла рогожу. – Керосином тянет. И тебя что ли тетка скоблила?

Инна следила сквозь тряпичную щелку.

Пьяная рука шарила по стене. Не поймав выключатель, он отвалился от косяка и шагнул вперед.

– Воняешь, брат, – фыркнул довольно. Из ангельской ниши шла сладковатая волна. – Птица вонючая! – он крутил носом брезгливо. – Тошнотворная тварь! – голос сбросил дурацкую зычность. – Кто тебя намазал? Кто тебя намазал? – он повторял тупо и монотонно. – Поверил, что вас будут судить святые? Это Он тебе сказал? Ну, и кто Он теперь, отвечай, падла! Да что ты можешь? Вонять, как Он? Сдохнуть и вонять! Это и я могу, – он поднес пальцы к носу. – Ну, ответь, – слова ворочались на зубах, – вывел или не вывел Он народ свой на погибель? Молчишь... – Плешивый взялся за голову. – Думаешь, все будет по-Его? Сколько их было – верных! Все-ех пустили в расход... Ты-то чем лучше? Думаешь, на руках понесут тебя и твоя голова не преткнется о камень? Может, и Его ноги не преткнулись? Или ты, – он поднялся на тяжелых ногах, – снова отвалишь камни и он пойдет, не хромая? На культяпых ногах с оципаным поводырем?..

Сжимаясь изо всех сил, лишь бы не заплакать, Ксения дрожала под тряпками.

Ухватившись за ангельскую голову, Плешивый кряхтел и корчился, силясь раскатать:

– Сейча-ас... я тебя выверну... узнаешь, как расширяются ангельские... безмозглые...

Из-за мужичьих плеч поднимались острые ангельские крылья. Инна отбросила тряпки и кинулась на Плешивого. Он взвизгнул и припал к лежаку.

– Девка! – он смотрел ошалело. – Две девки! – ощерилась бессмысленная улыбка. – Сказались, что ли? – Зарезка зажмурился и принялся тереть щеки. Пьяная поволока заливала глаза. – Вернулась? – он смотрел на Ксению.

– Мы от собак... Спрятались. Вы же сами говорили: к вечеру выпускают.

– Выпускают, – он подтвердил важно. Глаза пустели, словно их затягивало бельмами.

Ксеньин голос стал тверже:

– Это Инна, моя подруга. Мы пришли, чтобы посмотреть статую.

– Этого? – он кивнул на ангела.

– Нет, – Ксения ткнула пальцем в стену.

– Исуca, значит... – Зарезкин подбородок отвердел. – А деньги у нее есть?

– Какие деньги? – Инна подала голос.

– За экскурсию, – грубая издевка кривила рот.

– И сколько это стоит?

– По гостю и цена, – он сел на лежак, прямо в развороченную кучу. – С нее вон, – кивнул на Ксению, – двугривенный взял, а с тебя, – оглядел, – с птицы такой, – Плешивый пошевелил пальцами, словно ощупывал монеты, – будет рупь, – хохотнул, причмокивая.

– Я дам десять.

Зарезка заглох, как захлебнулся.

– Три за экскурсию, а остальное... Вы его больше не тронете.

– Заступница объявилась? Сестрица, блядь... Повезло ощипанному! Ладно, – он оглядел щуплые крылья.

Инна поймала Ксеньин взгляд:

– И за того тоже, – она ткнула пальцем в стену.

– За обоих значит? За двух? По три пийсят? А? Добавить бы надо – чтоб на две уж бутылки. Может, еще кого присмотришь? Тут этого добра!..

Инна порылась в кармане:

– Вот, – достала и протянула Плешивому. – Три рубля. Остальное – завтра.

– Ты, жучка, гляди! Ежели что, обоих их разотру, – Плешивый спрятал деньги. – Ладно, пошли. На три рубля до завтра доживут, а дальше – еще посмотрим...

Пьяные ноги переваливались по-утиному.

– Беда! Как сумерки, совсем видеть перестал – не иначе, глаза надуло, – он остановился и растер кулаками. – Значит, – Зарезкин голос зудел мирно, – обоих пожалела? Знаем мы вашу жалость! К вам придешь на ногах – отправите на дровнях!

Впереди между крестами темнела бронзовая фигура.

Плешивый забежал вперед:

– Иисус Христос, Сын Божий, – он начал представление. – Между прочим, с ним случилась страшная, кровавая история, но я его спас...

– Знаю. Ноги перерезало, – Инна прервала.

– Ага, разбойникам, – Зарезка заюлил. – Очень поучительная история, особенно для молодого поколения... А не хошь, другую могу. Из своей жизни. У меня этих историй!..

– Не надо, – Инна обрезала.

– Он облако зажигать умеет, огненное, из керосина, – Ксения заступилась.

– А ну-ка, – Инна говорила совершенно серьезно.

– Для вас, да за ваши денежки... – он развел руками. – Только керосинчику нету.

– У нас есть, – Ксения пошарила в кармане и достала пузырек.

Плешивый схватил с готовностью.

– Беленькой разжился? – раздался грубый голос.

– Да какая беленькая! – Плешивый снова заюлил и скукожился. – Гостей вот встречаю, керосинчик это. Девки просят огоньком дыхнуть

– Тьфу! – Лошадиный принюхался и покрутил головой. – А я сына моего покрестил, – он занес плеть и ударил по земле крест-накрест.

– Кнотом покрестил – керосинчиком помажь! – Плешивый затоптался, припадая на обе ноги. – Крестим покойничка, крестим – керосинчиком мажем, мажем!

– Врешь, крамольник! Я сына не убивал, – перехватив рукоятку хлыста, Лошадиный двинулся вперед.

Плешивый кинулся по ступеням и скрылся за статуей:

– Не убивал, не убивал, он сам себя убил, сам себя хлыстом покрестил!

Лошадиная спина напряглась. Хлыст поднялся в воздух и опустился со свистом. Плеть охаживала статую. Плешивый прыгал, уворачиваясь от ударов:

– Так его, так его! – голос вился змеей. – Будет знать, как отца предавать!

Обессилев, Лошадиный опустил плеть:

– Ладно, вылезай, – позвал Плешивого, – не трону, – ударив о колено, переломил кнут.

Плешивый спускался осторожно:

– Вот и сломал... вот и хорошо... отец смертью не наказывает...

– Пошли отсюда, – Инна потянула Ксению.

– Куда это вы, куда? – испугался Плешивый. – Огонечка-то? А? Огонечком-то... покрестим.

Ксения вздрогнула и вырвала руку.

Тревожные звуки раскачивали пустое небо. На мертвой небесной зыби поднимался ясный и чистый голос, пел и просил о помощи – вставал высокой волной.

– Если вы... покрестите меня, я смогу... Его обтирать? – она спросила тихо.

Мертвый город, лежащий у подножия статуи, благоухал керосиновым снадобьем. Не было ни женщины, несущей сосуд за обе ручки, ни римских тревожных голосов. Она была одна и на этот раз успевала вовремя.

Красный электрический огонь загорелся в Зарезкиных глазах:

– И обтирать, и одевать, и кашей кормить! – ухватив себя за рыжие патлы, он натягивал на уши плешь. – Керосин давай, – отвернул крышку и припал к горлышку. Промычав неразборчиво, ударил ладонью о ладонь. Лошадиный вынул коробок и чиркнул. Слабый огонь стоял между Ксенией и Плешивым. Он надул щеки идохнул. Кривой язык лопнул, уходя в небо. Плешивый ухмылялся, ощеривая пустой рот.

Ксения протянула руку и вынула бутылочку из кри-вых пальцев.

Приваленные камни лежали у Его ног. Густая сладкая струя полилась в трещину и потекла по сломанным в щиколотках ногам. Нежный женский голос проник в уши, и, попадая губами в слова, Ксения запела тихо – для Него:

Sleep and I shall smooth you, calm you and anoint you,
Myrth your hot forehead, oh, then you'll feel...
Close your eyes, close your eyes, think of nothing tonight...*

Плешивый пятился озираясь:

– Слышал ты? Слышал?! – он подскочил к Лошадному. – Сказано: покрестятся и заговорят новыми языками... Будь я проклят, если не исполнилось! – хриплый крик разрывал кладбищенскую тишину. – Я покре-

* Спи, и я успокою тебя, буду утешать и умащать миром,
Ты ощутишь его на своем горячем челе...
Закрой глаза, закрой глаза и забудь обо всем... (англ.)

стил, и она заговорила! Значит, мало! – руки ходили мельничными жерновами. – Мало было Двенадцати! Я спас Его, и Тринадцатым Он поставил меня!.. – Плешивый бесновался, вскидываясь.

Лошадиный глядел исподлобья.

Взлетев к приваленным камням, Инна схватила Ксеению за руку:

– Только не упади, только не упади, – бормотала и волокла за собой.

* * *

– Здесь, – Инна остановилась на верхней площадке и кивнула на дверь. – Прячься.

Чибис вжался в простенок.

– Ну, готов?

Звонок раскатился долгим эхом. Под дверью скрипнуло и зашуршало:

– Кто?

– Почта, – Инна склонилась к замочной скважине.

Раздался скрежет. Дверь подалась и раскрылась – на ширину цепи.

– Жу-учка! – Таракан пучился пьяно. – Ну, чего пришла?

– Фотографию отдать, – Инна заулыбалась. – Там, у вас, моя.... Я случайно. Случайно перепутала.

– Нету. Ничего нету, – он буркнул и захлопнул дверь.

Чибис приложил ухо к филенке: помягчевшая цепочка билась изнутри.

– А я вам колба-аски принесла. Вы мне конфетку, а я вам – колба-аски... – Инна тянула елейным голосом.

Тараканьи пальцы вылезли из щели и потянулись к колбасе.

– Цепочку сбросьте – тогда дам, – Инна развернула бумагу. – А еще хлебушка, целую буханку...

За дверью кряхтело и крякало.

– Давай! – Инна пихнула Чибиса. Он вцепился в створку и рванул на себя. Дверь распахнулась. – Всё, – она завернула колбасу. – Пошли.

В глубине квартиры семенили тараканьи шаги. Под чучельной полкой что-то шевелилось.

– Эй вы! Выходите! – Инна окликнула и потянулась к выключателю. Два рожка протекли грязноватым светом. Она стояла, не сводя глаз с Таракана. – Ну, что я говорила! Вот: теперь смотри.

Чибис стоял, оглядывая пустую стену.

Инна обернулась. Там, где висели фотографии, остались белесые пятна.

Таракан вылез и встал у притолоки.

– Я пришел... – Чибис заговорил тихо и вежливо, стараясь поймать пустые тараканьи зрочки. – Узнать про моего деда. Мой дед погиб. Отец говорил: на войне. Но я... – Чибис замолчал.

– Неизвестно, ничего неизвестно, – Таракан бубнил монотонно. Инна развернула бумагу, открывая колбасный срез. Таракан слотнул: – Передачи запрещены. Не положено! – гаркнул пьяным голосом, как сорвался с цепи.

Инна подошла к полке и сняла собачью голову. Стояла, взвешивая в руке. Колбаса, завернутая в бумагу, лежала на столе.

Таракан метнулся и ухватил обеими руками:

– Цёлюю... цёлюю не положено... – под тараканьими лапами плясало мелкое крошево. Он кидал в рот и перетирал голыми деснами. Губы лоснились от жира. Кадлык дергался. Чибис слышал едкую вонь.

– Ну, еще чего принесли? Деду-то передать... А, внучки? – Таракан подмигнул довольным глазом.

– Пожрет – протрезвеет, – Инна шепнула Чибису и полезла в сумку.

Таракан ухватил буханку обеими руками. Крякнул, пытаясь разломить пополам:

– Круглый пло-охо... Корка жесткая, – он выдохнул. – С кирпичиками сподручнее...

– Давайте, я разрежу, – Инна взяла нож. Отрезала и протянула горбушку.

– Ну? – тараканьи пальцы ковырялись в мякише. – Чего ему там не хватает? На том-то свете: сала, мяса? А мы ему налепим!

– Не знаю, – Чибис ответил тихо. – Наверное, книг.

– Вообще-то запрещено, но покойникам – можно, – Таракан размял шарик и закинул в рот. Сглотнул, прислушиваясь. – Эх, бя, желчью пошла!

Пьяная поволока сходила с засаленных глаз. Он икнул и отложил пустую корку.

Инна отрезала новую горбушку.

Вырывая куски мякиша, Таракан закладывал в рот. После него оставались пустые корки.

– Расстреляли твоего деда, – покончив с хлебом, он откинулся на стуле.

– Но я... – Чибисовы глаза вспухли и стали красноватыми. – За что?.. Он же ученый, химик...

– И-и-и! – Таракан навалился на столешницу, приминая ее кулаками. – Ученый... Неученый. Власти, небось, виднее... Деду вашему еще повезло-о: внуки, вишь, остались... правнуки народаются...

Пустые хлебные корки покачивались у края стола. В них лежали человечки, невидные с Чибисова берега. Покачавшись на невской зыби, маленькие лодки тронулись к заливу. Обойный узор, похожий на водоросли, выстилал речное дно.

Чибис сжимал и разжимал пальцы:

– Есть... такое общество... Тайное... Или – было, я точно не знаю. Каменщики, хотели найти правду. Не только для себя – для всех...

– Тайное?.. – Таракан сморщился деловито. – Было. Расстреляли, – он махнул рукой.

– Всех? – Инна смотрела на пустую стену.

– Ну ясно, – Таракан подтвердил.

– А эти... которые на стене... И дед мой. Это они – каменщики?

– Кто ж его знает... – Таракан задумался. – Может, кого и в каменщики, а может, и так – лопатой махать. Строили много-ого, – он тянул. – Все-ем хватало.

– А среди них... – Чибис потер взмокшие ладони, – среди них были мастера?

– Бригадиры, что ли? – Таракан переспросил понятиливо. – Были, как же – не было... Нельзя без бригадиров...

Инна оттопырила большой палец и ткнула в стену:

– Куда вы их дели?

– В расход, – он осклабился довольно. – Спалил. Пустил красным петухом.

– Если это правда, – Инна заговорила тихо, – значит, вы можете показать мне пепел. Ну?!

Пахло хлебом и лежалой пылью.

– Врете вы всё, – она топнула ногой. – Спрятали и врете.

Уткнувшись в столешницу, Таракан молчал.

– Ах так! – Инна встала. – Тогда я сама. И ничего вы со мной не сделаете. Ты, – она обернулась к Чибису, – хотел быть свидетелем? Вот и будь.

Линялые штаны и рубахи валялись на полу. Покончив со шкафом, она взялась за буфет.

Буфет, стоявший по правой стенке, был огромный, как собор. Витые колонны, изрезанные виноградными листьями, опирались на мраморную полку. Инна распахивала дверцы: бутылки, заткнутые марлевыми пробками, бумажные пакеты, склянки из-под лекарств.

– Фу-у! – она открыла пакет и скривилась. – Жучки какие-то. Гадость... Ведро тащи, – приказала Чибису.

Он кинулся исполнять. Безобразный обыск, который она затеяла, превращался в обыкновенную уборку.

Крупа хрустела под ногами. Таракан прислушивался тревожно.

– Всё – на помойку, – она взялась за склянки. Забирая в горсть, швыряла в ведро. Пузырьки звякали. – Ну вот... – откинула выбившиеся пряди. – Можешь тащить.

Чибис взялся за дужку и поднял.

Таракан подобрался сбоку и навалился всей тяжестью. Ведро ударило об пол и звякнуло всеми склянками.

– Порежетесь, вы порежетесь... – Чибис шептал, цепляясь за тараканьи запястья. – Там же осколки...

Инна подошла и заглянула.

Тараканьи глаза сочились мольбой.

– В общем – так: мы оставим, потом выберете целые, – она обещала прямо в сочащиеся глаза. – Если вы ответите: куда делись фотографии? Сейчас, сию же минуту...

Таракан стоял на коленях:

– Старухе. Отдал старухе. Она не боится, – он кряхтел, силясь подняться.

Чибис отвернулся. Буфет, который они разорили, больше не походил на собор.

Таракан натянул шинель. Под серым сукном его плечи казались широкими.

– Пошли, – Инна отомкнула замок и вышла первой. Раз, два, три! Дверь распахнулась с третьим ударом. – К Ивановне, – Таракан сообщил веско. Помедлив, страж дверей скрылся.

Таракан снял шинель и приблизился к мутному зеркалу. Пригладил волосы, провел руками по груди и неожиданно быстрым движением оправил заплатанную гимнастерку – перегнал складки на спину.

Синий занавес кольхнулся, едва они приблизились. С той стороны стояла старуха: оглядывая гостей, ломала складки в горсти.

– Здравствуйте... Мы... – Инна начала, но старуха пресекла взглядом.

Таракан вошел и уселся на стул. Бессильная голубоватость, будившая Чибисову жалость, исчезла. Тараканьи глаза стали серыми:

– Вот. Явились. Желают карточки глядеть.

Кажется, старуха не удивилась. Подойдя к шкафу, пошарила и вынула газетный сверток:

– Еще не разбирала, – она обращалась к одному Таракану.

Газетный сверток лег на стол. Она стояла, держась за столешницу обеими руками. Чибис зашел за кресло и придвинул.

– Ты что ел-то? – старуха опустила в свое кресло, принохиваясь недовольно.

– А чего такого... – Таракан заворочался на жестком стуле. – Ну, колбасу...

– Фу! – старуха фыркнула и, развернув газету костяными пальцами, достала первую фотографию. Повела носом, будто фотография тоже пахла: – Твой. Вне всякого сомнения, твой... – отложила и взяла следующую. – А этот – мой... В твоём возрасте колбаса – грех. Нечистая пища.

– Чистая... нечистая... Что дали, то и жру! Это ты у нас – барыня-сударыня, – Таракан ворчал недовольно. – Вокруг тебя вон их сколько... Пляшут! Что пожела- лала, то и поднесут... Вон, она принесла, угостила, зна- чит... – повел подбородком в Иннину сторону.

Инна следила за старушечьими пальцами. Одну за другой старуха брала фотографии и раскладывала в две стопки.

– И этот мой, и этот...

– Мой этот, – Таракан водил руками по столешнице.

– Как же! – ее голос возвысился. – Не-ет. Этот – мой...

– Ладно, – Таракан согласился неохотно. – Но этот – мой.

Инна взглянула на Чибиса: «Чего это они?» – спро- сила глазами.

Чибис стоял за спинкой кресла, смотрел на ма- леньких человечков: выходя из-под старушечьих паль- цев, они разбирались на две колонны – строились в за- тылок друг другу. Правил этой игры он не мог разга- дать.

– Мой, этот мой, – старуха произнесла непреклонно.

На газете – белой стороной вверх – лежала послед- ная фотография.

– Этот... – Аликс Ивановна повернула и поднесла к глазам. – Эт-то что такое?!

– Она вон, – Таракан мотнул подбородком. – Яви- лась давеча – одного украла.

Инна шагнула вперед:

– Это неправда. Я не украла. Просто подменила, слу- чайно...

– Собо-ой? – старуха протянула недоверчиво.

– Я хотела знать правду. Вот, смотрите, – она доста- ла и разгладила уголки.

– Кто это? – старуха протянула руку и, едва взглянув, отправила в свою стопку.

Чибис вспыхнул:

– Мой дед... Мне сказали, – брови изломились в тараканью сторону, – расстрелян...

– Ну что, убедился? – Алико Ивановна обращалась к Таракану. – А я предупреждала: рано или поздно они явятся, – она говорила, едва шевеля губами, словно ее губы стали деревянными. – И какую же правду, – обернулась к Инне, – ты хотела узнать – *такой* ценой? – старуха подбила пачки фотографий и поставила вертикально: не то зеркала, глядящие друг в друга, не то створы раскрытых ворот.

– Всю... – Инна замолчала, не зная, как объяснить.

– Здесь же – номер... Значит, остались документы... Не знаю, где-нибудь в архиве, – Чибис заложил руки за спину. Теперь, когда дед стоял в колонне, он не решился бы дотронуться. – Мне кажется, – закончил едва слышно, – по номерам можно найти...

– Документы? – деревянные губы усмехнулись. – Кто тебе сказал, что *их* документам можно верить?

– Но тогда... – Чибис боялся заплакать, – мы никогда... никогда не узнаем...

Старуха подняла обе пачки, словно взвешивая:

– Наше дело – решить. Что делать с этими?

– Сжечь. Куда еще?.. – Таракан жевал пустыми губами.

– У меня есть тетя, – Инна заговорила тихо. – Не родная, жена папиного брата. У нее сыновья, трое... Все умерли. Она не знает, где похоронены. Пишет на пустом камне, краской, их имена... Там, на кладбище...

– У тебя что, и краска есть? – старуха перебила деловито.

Инна кивнула.

Таракан пошарил в кармане и вынул коробок.

– Пойди в кухню и принеси два таза, – старуха приказала Инне.

– Вы... – в ее отсутствие Чибис все-таки решился, – почему вы их разделили?

– Это не я. Природа, – старуха пожала острыми плечами и положила Иннину фотографию в свою пачку. – Кто я – чтобы делить?

«Природа?.. При чем здесь?.. Что – по национальностям?..»

Таракан усмехнулся, словно расслышал Чибисовы мысли:

– У ентих одна нация: *зека-зека*. Значит, считай, все – русские, – приложив к уху, он тряс коробком.

Старуха вздернула подбородок:

– Тебя послушать, будто русские – одна нация.

– А чего же? – Таракан набычился. – Ясное дело, одна.

– Может, когда и была... До *вас*...

– И до нас, и во время нас, и всегда, – тараканьи глаза брызнули голубыми искрами.

– А *их* ты спросил? – острым пальцем она ткнула в свою пачку. – Может, они не желают – с твоими?

– Это мои с твоими не желают! – ребром ладони он жажнул по столу. – Желают! Не желают! Да кто их, мертвяков, спрашивает?!

– И спрашивать нечего: всё и так видно – на глаз, – старуха приосанилась.

– Глазастые, значит? Справедливости дожидаетесь? – Таракан разогнул спину. – Ну гляди, гляди... Что высмотришь – всё твое.

– Думаешь, не высмотрю? – старуха закрыла глаза. Мягкая ткань, сбиваясь морщинами, обволакивала ее лицо.

– Высмотришь, – Таракан поскреб щетину. – Когда рак свиснет... ага... на лысой горе.

– Там только один, – Инна вышла из-за занавеса. – Может, кастрюлю или миску?

– Не надо, – старуха откликнулась глухо и повернулась к Чибису. – Возьми бумагу и пиши. Вон, на полке... – она повела глазами. – А ты, – приказала Инне, – будешь жечь.

– Как писать? – Чибис занес ручку. – В строчку или в столбик?

– Так какая разница... – Таракан буркнул. – Не протокол небось. Как слышишь, так и пиши...

– Как слышишь, так и пиши, – старуха повторила за Тараканом и посмотрела на Чибиса.

Чибис кивнул и склонился к листу.

– В-238, – наискось, через стол, старуха протянула первую.

Инна взяла коробок и чиркнула спичкой. В руке занялось пламя. Фотография деда затлела с уголка. Дождавшись, пока пламя окрепнет, Инна опустила ее в таз. Углы сворачивались, задымываясь кверху.

– Г-075, – тараканий голос скрипнул над второй пачкой.

Новая лодка поднимала огненные борта.

Номера следовали один за другим. Прислушиваясь к голосам, Чибис водил пером по бумаге. Перо не скрипело, словно бумага была шершавой, как ватманский лист. Он слышал шум ветра, поднимавшегося над Васильевским островом: ветер пел о несправедливости, принявшей облик смерти. Два отряда, выступившие из пустыни, собирались на самой Стрелке. Гортанные крики копейщиков долетали до крепостных стен.

Голоса стихли. Чибис отложил ручку.

– А ну-ка... – старуха потянулась к спискам. Отведя подальше от глаз, смотрела на буквы и цифры, запи-

санные в два столбика. – Говоришь, не высмотрю? – хихикнула и подмигнула Таракану. – Говоришь, рак на горе?..

В тазу у Инниных ног шевелились клочья пепла.

– Не беспокойтесь, я всё сделаю, – Инна тряхнула тазом, словно сбивая огонь.

– Я знаю. Я верю тебе, – старуха произнесла торжественно. – Ты – моя.

На столе лежала последняя фотография.

Таракан усмехнулся нехорошо.

– Что? – старуха вскинулась.

– Говоришь, кончился народ? Был, да весь вышел? Много ты понимаешь про нас – русских!

– Ты чего – белены объелся? – деревянный кулачок стукнул об стол.

– За собой гляди-присматривай, – он оправлял сморщенную гимнастерку. – Природа, говоришь? На взгляд, говоришь, видать? Говоришь, твоя это девка?! Жучка она! – Таракан дернул заплатой. – Вот и вся ейная природа. Обыск у меня устроила. Всё как есть перерыла. Куда моим орлам!..

– Это неправда! Я не обыскивала – искала, – Иннин палец уперся в пепельные клочья, – их.

– И шкаф, и буфет... Рылась... крупу просыпала, – Таракан бубнил свое.

Ткань, обволакивавшая старушечье лицо, твердела глиняными складками. Костяной палец вытянулся, как острие веретена. Фотография, насаженная на острие, дрогнула и поползла в сторону Таракана.

– *Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его*, – старуха терла палец о палец, словно перетирала высохшую глину. – Я буду говорить с ней. С одной.

Таракан поднялся. Чибис сложил списки и вышел следом.

– Поди-ка сюда. Ближе, ближе, – с трудом разогнув пальцы, старуха положила ладонь на Иннин живот. – *Enfant?* – спросила деловито. – Мальчик. Да, я совершенно уверена. Чей? Его?

– Нет, – Инна отвергла Чибиса.

Ни за что на свете она не открыла бы всей правды.

– Жаль... – старуха покачала головой. – Кто-нибудь знает?

– Нет. Конечно, нет.

– А его отец? Он... хороший человек? Ты... хорошо его знаешь?

– Нет. Не знаю... – избегая пристальных глаз, Инна повернула голову и увидела девушку небесной красоты. Эта девушка смотрела в сторону, словно там, за краем земли, ей мерещилась другая жизнь.

– Вы... очень красивая.

Первый раз в жизни Инна говорила о чужой красоте. Эта красота была иной, не похожей на ее собственную, будто девушка, забранная в тяжелую раму, родилась далеко-далеко, совсем в другой стране.

– И что ты решила? – старушечий голос вернул ее обратно.

– Не знаю...

– Я тоже не знала, – старуха заговорила тихо и глухо. – Поэтому и родила. Знала бы – спасла, – острый подбородок дернулся.

– Кого?

– Как кого! Моего сына. Не отдала бы им – на мýку... Придумали: грех! Какой грех! Кто ж его спасет, кроме матери?.. А так, – старушечьи глаза брызнули звездным сиянием, – приходят, глядь, а младенца-то и нет! И убивать некого, – она повернула голову, будто снова стала девушкой, глядящей в другую жизнь. – Ты не бойся, потом он все равно родится.

– Где?

– Да какая разница! – старуха хихикнула и погрозила пальцем. – Лишь бы не здесь...

Эта старуха говорила безумные слова, но за ними, как черное солнце, вставала какая-то другая правда, о которой она догадывалась и раньше, когда смотрела на маленькую собаку, принесенную в жертву.

– Я... знаю...

– А знаешь, так делай. Иначе будет поздно, – старуха закричала и поднялась.

Инна смотрела, как она идет к полке, достает аптечный пузырек с беловатой жидкостью, не доходящей до горлышка.

– Это всё, чем я могу помочь, – старуха села в кресло. – А теперь ты должна говорить правду. Я буду спрашивать, а ты отвечай...

Алико Ивановна перевернула фотографию и взяла ручку.

Иннины ответы вырастали столбиком цифр.

– Вот, – старуха обвела последнюю цифру, – в этот день, ни раньше, ни позже, ты выпьешь мое лекарство. И учти: *никто* не должен дознаться. Иначе нам обеим не поздоровится. *Они*, – старуха подняла глаза к потолку, – за этим о-очень следят.

Инна кивнула и взяла фотографию.

– Что ты, что ты!.. – старуха встрепенулась испуганно. – Сжечь. Надо сжечь.

– Но это... Это же – я.

Старушечьи глаза глядели непреклонно.

Под ее взглядом Инна чиркнула спичкой. Фотография вспыхнула, сворачиваясь лягушачьей шкуркой. На тыльной стороне, обведенное дрожащей рукой, корчилось тайное число. Она бросила в таз и дунула на пальцы.

Мелкая рябь цвета ночного неба подернула занавес. Старуха вложила снадобье в Иннину руку и, отвернув от себя, толкнула в спину.

Чибис дожидался на площадке.

Она вышла, стараясь не думать о старухе: теперь, когда старуха исчезла, всё, что случилось в комнате, становилось чистым безумием, о котором надо просто забыть. Инна тряхнула головой и вспомнила Плешивого:

– Водки надо. С собой, на кладбище.

Из тараканьей щели вылезла поллитровка, заткнутая марлей. Таракан сунул бутылку Чибису и убрался в щель.

– Краску не забудь, – Чибис отдал распоряжение, словно бутылка делала его главным.

– Не забуду, – Инна вспомнила: обещала Ксанке. Придется съездить.

«Подождет... Ксанка подождет. Это – важнее...»

– Когда едем? – Чибис открыл портфель и спрятал исписанные листы. – Может, завтра?

– Завтра?.. – Инна задумалась. – Завтра не могу. У нас комсомольское собрание.

– Ладно, – Чибис кивнул. – Тогда в воскресенье.

Инна шевельнула губами, словно что-то подсчитывала, и нащупала пузырек.

– Да. В воскресенье, – она думала: «Сейчас он спросит: что сказала старуха?»

Чибис не спросил.

Конечно, я *должен* был спросить. Тогда всё могло бы кончиться иначе....

Да в том-то и дело, что *не могло*. Разве стала бы она разговаривать об этом с сыном отца своего сына? Нет и еще раз нет. С собой она позвала меня *только* как свидетеля. Если бы я отказался, пошла бы сама. Как в тот самый первый раз, когда ангелы подменили ее собакой, а она не пожелала: ни смириться, ни благодарить. Этим они и воспользовались, загнали ее в угол: и ангелы, и проклятый Таракан, и старуха, сидевшая за своим небесным занавесом. И та кладбищенская парочка. Каждый из них предлагал ей свою правду и свою справедливость, но их показания противоречили друг другу. Поэтому ей и понадобился я: мальчишка, сбитый с толку самонадеянным стариком с его дурацкой картофельной бородавкой, которая притягивала меня, я бы даже сказал, гипнотизировала, словно делала его особенным. Добавляла вескости его рассуждениям и словам.

Я пытаюсь вернуться в прошлое, на лестничную площадку, где стоял с бутылкой тараканьего самогона.

Мы дошли до остановки и сели в автобус. Стараясь собраться с мыслями, я смотрел в окно и вспоминал старушечьи слова. «Что значит *терние*? И что она имела в виду, когда сказала: выросло и что-то там заглушило?» А потом вспомнил про тетю Лилю: почему, когда понадобилось съездить на кладбище, она обратилась не к племяннице, а к чужой соседской девочке? Но об этом я думал недолго. Мои мысли вернулись к старику. Снова мне захотелось поговорить с ним, расспросить поподробнее: и про каменщиков, и про волхвов, выступивших на поиски истины. А еще я хотел поделиться с ним нашим общим планом, показать листки с номерами. Поэтому я и пошел в кондитерскую – сразу, не заходя домой.

Денег хватило только на кофе. Я стоял за высоким столиком, надеясь, что он вот-вот появится. В дверь входили разные люди, но старика не было. Пару раз у меня мелькнула дерзкая мысль: подняться к нему в квартиру. Но я не решился, боялся показаться навязчивым. В конце концов я и вправду был воспитанным мальчиком. А потом я подумал: рано или поздно он обязательно появится. До воскресенья уйма времени. Просто надо приходиться и ждать...

Закрываю глаза и вижу: вот он ходит между полок, осматривая картонные корешки своей собственной великой цивилизации, вобравшей в себя всё величие духа ушедших поколений. Всю жизнь ему казалось, будто, собирая книги, он охраняет остатки какого-то общего замысла. Будто он, их верный хранитель, может этот замысел спасти...

Я встаю и выхожу на кухню.

Это теперь я знаю: надо было не ждать, а действовать, не надеясь на старика. Поговорить с отцом, рас-

сказать про наши планы. А вдруг бы он понял, что задумала старуха... Тогда он пошел бы к Инне. Это со мной она не стала бы разговаривать. Но ведь с ним-то могла...

За окном европейская улица: магазинчики, прачечная, ремонтная мастерская – всё, что требуется для тихой и размеренной жизни. В ней существует только настоящее, и все мифы знают свое место: никогда им не вырваться из прошлого. Эта жизнь стала моей.

Мой взгляд скользит по пустым поверхностям. Везде, где мне доводилось жить, я поддерживал чистоту. Тщательнее, чем любая женщина. Кто-то скажет: к этому меня приучил отец. Но я-то знаю: всё дело в той отвратительно грязной кухне, где старик предложил мне чаю, а я отказался – не смог выпить и глотка.

Лучше бы согласился. Пил чай и не слушал старика, который хотел своей стране Воскресения – неизбежного, как второе пришествие. Если, конечно, оно неизбежно. Я не тверд в этих делах. Это теперь я знаю: в жизни страны бывает только одно Пришествие. Второе случается после ее смерти: напоследок, прежде чем отлететь в другие земли, является Дух. Чтобы свершить свой суд – последний и настоящий, а не тот, что я видел своими глазами, про себя называя игрой.

Я помню, как старуха раскладывала их на две неравные стопки, а Таракан с ней соглашался. У мертвых, висевших на одной стенке, были разные лица, но они сгорели в одном тазу. Тогда я не мог этого понять. Я был уверен: эти люди достойны разной участи, поэтому и записал их в два столбика – как слышал. Если я что-то и понял, то потом, когда прочел рукопись своего деда. И Таракан, и старуха не судили прошлое. Они смотрели в будущее и действовали, сообразуясь с законами цивилизации, выпавшей на их долю: в мире, построенном блудниками, рано или поздно стираются

все различия. Все: и живые, и мертвецы сгорают в одном тазу.

Теперь это будущее настало. Его победной поступи уже никто не в силах помешать – во всяком случае, ни старик, ни старуха, ни все другие мертвые, за которыми эта девочка явилась на кладбище, чтобы выпустить их на волю, но те, к кому она обратилась, не испугались, потому что и сами были частью нашего мира, персонажами его подменной и запутанной истории, в которой все соединяется намертво: жизнь и смерть, справедливость и несправедливость, добро и зло.

Я возвращаюсь в комнату и сажусь за компьютер: пришла пора последней главы. Впрочем, глава – неподходящее слово. Моя рукопись состоит из разрозненных отрывков. Это теперь я распределил их по главам и обозначил цифрами, хотя, наверное, мог бы и буквами.

А все-таки интересно, как он будет выглядеть – этот последний и настоящий суд? Полагаю, там тоже будет зал, и сцена, и длинный стол президиума, за которым рассядутся судьи – верховные боги каждой великой цивилизации, представавшие перед смертными в самых разных обличиях. Одни с человеческими, другие с птичьими головами, третьи с головами животных. А во главе сядет Дух. Мне не представить его обличия. Но это не имеет значения – на то он и Дух. На столе будут лежать листы бумаги, шершавые, как ватман или папирус. У подсудимых, чьи души подлежат взвешиванию, не останется имен. И, конечно, никаких фотографий. На фотографиях мы все на кого-нибудь похожи – разве можно за это судить? Чтобы взвесить душу, достаточно знать ее личный номер: буква через черточку с цифрами.

Писцы, держащие палетки, уже начинают выкликать.

Мы стоим и ждем своей очереди. Когда дойдет до меня, я выйду и повернусь боком, чтобы смотреть в зал. Лишь бы не встретиться глазами с теми, от кого зависит вердикт. Уж я-то знаю, каким он будет в моем случае...

Меня бьет озноб. Ничего удивительного. Здесь, в Европе, не топят, а *подтапливают*. Квартирная хозяйка, живущая за стенкой, объяснила заранее: у нас с нею общая система отопления, в моей квартире нет отдельного вентиля. Другой на моем месте пошел бы и попросил. Сказал: у меня сводит руки, я не могу жить в этом ужасном холоде. Но я знаю, ради меня она не станет менять свои привычки, к тому же – лишние расходы. В сущности, она права. Какое ей дело до этих странных русских, которые уж скоро век как не могут согреться?.. Какое ей дело до меня?..

Быть может, я тоже родился львенком. Кто знает, что бы из меня вышло, явись я на свет в какой-нибудь другой стране? Например, в этой, где, надеюсь, и буду похоронен. Но я родился *там*. Родился, но так никогда и не проснулся, потому что не услышал рыка львотца. Дух, являющийся судить империи, должен взирать на меня с презрением. Чтобы стать волхвом, надо быть *просто* храбрым – как Инна. Идти вперед, не задумываясь, чем это может кончиться.

Если суд будет справедливым, наши номера окажутся в разных столбиках: ее в одном, мой – в другом.

Я хожу из угла в угол, поглядывая на камин. Он – мое единственное спасение. У меня есть запас дров. Я купил и сложил в кладовку: сухие ровные чурбачки. Вспыхнут, едва поднесешь спичку. Судя по всему, этим всё и кончится. Но сперва надо допечатать.

Я пытаюсь, но у меня сводит пальцы.

Дело не в холоде, а в том, что этот старик прав: мы все идем и общей, и своей дорогой. Мы все подчиняемся общим мифам, но у любого из нас есть и свой, собственный миф. Или роль, которую каждый из нас играет в общей истории. Я-то знаю, чья роль досталась мне. Поэтому в минуты малодушия и мечтал стать *новым человеком*, тем самым, о котором они грезили в своих химических лабораториях – существом, не ведающим вины, которому и в голову не придет подобрать подходящую осину, чтобы раз и навсегда покончить со всем этим...

Склоняясь к клавишам, я бормочу: «Покончить... Со всем этим...» – но не знаю – *с чем?*

— **Д** а нет у меня никаких денег!
 — Но ты же обещала... обещала придумать. Он сказал: разобьет!

— Ладно тебе... — Инна накручивала прядку на палец. — И с места не сдвинет. Вымогатель он. Самый обыкновенный.

— Но того-то утащил. Впрягся и доволоч, — Ксения еще надеялась. — Сказал, доживет до завтра. До завтра, а сегодня — суббота...

— Значит, не дожил, — Инна отбросила прядь.

— Если надо — тебе... ты всегда, всегда придумывала, — Ксения лепетала жалко.

— Дура! Ты просто дура! Думаешь, не знаю?.. К Ису своему торопишься — керосинчик лить. Одной-то страшно...

В дверь постучали.

— Что случилось, девочки? Вы так громко...

Иннин взгляд стал ясным и почтительным:

— Это мы репетируем, Надежда Федоровна. Готовимся к восьмому марта.

Голова матери скрылась.

– Ну, пожалуйста... пожалуйста, – Ксения боялась заплакать. – Пока не пришли, он надеется. А вдруг еще ждет?

– Лично я, – Инна зашептала зло, – вообще не собираюсь. Это тебе там медом намазано. Хочешь, вот и добывай. Копи. Ты же собиралась – на оперу.

– Я сосчитала, – Ксения не слышала издевки. – Рубль двадцать в неделю, если не заболею – месяц, – она загибала пальцы.

– Ага, – Инна встала с места. – Каникулы не забудь отнять.

Ксения разжала пальцы:

– Это... поздно.

– По-че-му? Что, с постамента слезет? Не бойся! У них камнями придавлено. Выкупишь своего ощипанного, вместе и отвалите? Ножки смажешь и – раз, два, три! – Инна хлопнула в ладоши. – И пойдет он... – она отбросила пряжку и пошла к двери. – Ладно. Пока.

Входная дверь щелкнула. Ксения стояла, сжимая и разжимая пальцы.

Сквозь облака, облепившие залив, пробивались закатные лучи. Солнце, сползая за горизонт, втягивало их в себя как щупальца. На темном небесном экране брызнуло пунктирное сияние.

«Что это?.. На фортах? Стреляют?..» – она подбежала к окну.

Прерывистые следы не гасли, становясь все длиннее.

«Ой!.. А это?..» – задохнулась и вцепилась в створку.

Симметричным отражением, словно тучи стали зеркалом, над заливом поднимался купол. Висел без всяких земных опор, будто именно сейчас, в эту самую минуту, спускался с неба.

«Круглый... собор... как будто Исаакий... Это такое!.. Я знаю... Мираж... Надо – маме... всем...»

Ксения кинулась к двери, но остановилась, замерев на полдороги. Стояла, оглядывая пустую комнату: «А если... *просто* попросить?..»

Пробормотала, понимая, что никогда не найдет слов, чтобы объяснить родителям. Представила этот безумный рассказ: тетя Лиля, Плешивый, ангел, сидящий над могилой... «Запрут, не пустят, никуда не пустят».

Мальчишеское лицо, повернутое к Ксении, было испуганным. Из-под бинта, стянувшего лоб, выбивался мраморный завиток.

«Выверну с корнем... расшибаются ангельские головы...» – голос Плешивого кряхтел, наседая.

«Это не я, она... она обещала...» – Ксения шептала, уклоняясь от ангельских глаз.

Мраморные плечи качнулись. Ксения вздрогнула и кинулась вперед.

Не вой, не визг – бумажное шуршание. Учебники, сложенные стопкой, падали на пол из-под рук. На пустом столе, усеянном ручками и карандашами, оставалась последняя жалчайшая книжонка, покрытая опаленным листом.

«Десять рублей... Старинная. Может быть, Плешивый возьмет... Вместо денег... Не воровство, это – не воровство, – собирая учебники, она уговаривала себя тревожно. – Это она. Не я. Я – чтобы спасти...»

Повернув обожженную страницу, начала от самого верха, с того, что сохранилось: *Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов...* «Ирод. Тетя Лиля сказала: Ирод. Бил кнутом... – думала изо всех сил. – Сейчас, сейчас... я всё угадаю...»

Убитые младенцы, похожие на ангелов, клонили мраморные головы.

«Получается... всё получается... В нашей семье умирают мальчики... Мама просто не знает. Их убили. Всех – от двух лет и ниже, значит, до новорожденных. Тете Лиле не отдали в больницу... – Всё смыкалось, собиралось, лепилось вместе: ни расцепить, ни разжать. – Выведал у волхвов... Осмеянный волхвами...»

Ксения терла щеки взмокшими ладонями: «Узнать: кто такие – волхвы?»

В первый раз с ней происходило *это*: отражение, ответ... Собор, поднявшийся над заливом...

«Если выведал, значит – знает. Приду и спрошу. Не посмеет отпереться...»

Тот, кто сидел над пустой могилой, оглянулся на нее с надеждой.

* * *

Дома, стоявшие по сторонам дороги, были неказистыми. За пустырем, огороженным железной сеткой, свернули в проулок. Инна вела уверенно. За торцом двухэтажного здания открылся поваленный пролет.

– Ух ты! – различив первые склепы, Чибис мотнул головой.

Белый ангел, неловко сложив крылья, сидел в изголовье искромсанной плиты. Проследив его взгляд, Чибис увидел другого – сидевшего у дорожки. Долгим взглядом неловкий ангел передавал их терпеливому.

– А камень где, тот, твоей тети?

– Зачем? – Инна шла впереди. – Все равно не поместится. Слушай, – она оглядывала склеп, – а давай – внутри.

– Внутри? – Чибис опешил. – Но там же... мертвые...

– А у нас кто – живые? – она пригнула голову и вошла в склеп.

Чибис топтался, не решаясь заглянуть.

– Да нет тут ничего, пусто, – Иннин голос стал гулким, – доски одни гнилые и щебенка, куча целая... – из склепа слышался хруст. – Ну где ты там! – она звала не терпеливо.

Чибис ощупал сложенные листы и шагнул внутрь. Стоял, обводя взглядом пустые стены.

– Что я говорила: и писать удобно, и не увидит никто, – носком сапога Инна разворошила щебенку. – Только забраться повыше... Чего стоишь? Полежай.

– Нормально... Удержусь, – одной рукой он цеплялся за стену, в другой держал баночку с краской. Щебенка хрустела, выбиваясь из-под ног. – Отсюда? – оглянулся, стараясь не потерять равновесия.

– Ага, я диктую, – Инна развернула первый лист.

Кисть садилась на основание, словно окуналась в камень.

– Ну как, ровно?

Инна отступила к другой стенке:

– Ровно. Так и давай...

Чибис писал, больше не оборачиваясь. Хлебные лодочки, похожие на выеденные корки, выплывали из дальних аллей. Приманенные Инниным голосом, они причаливали к склепу. Чибис слышал: маленькие человечки карабкались по щебенке и, поднимаясь по светлым полосам, уходили вверх сквозь невидимые стропила. На границе света они оставляли по себе черные номера.

Ангелы, сидевшие над водами, дожидались последней лодки...

– Тряпку надо... Кисточку вытереть... – Инна держала в руке мокрую кисть.

Чиби́с оглядел номера, записанные в два столбика, и вышел из склепа.

Воды отступили. Всё было как прежде: снег, развороченные камни, каменные фигуры ангелов.

– Пойду поищу, – она обошла серый камень, стоявший у дорожки. Под каменный бок приткнулся обрывок ветошки.

АДОЛЬФ
1941–1941

ИОАНН
1949–1949

ТИХОН
1959–1959

Инна провела пальцем:

– Свежая. Краска свежая, – она вглядывалась в цифры, словно решала математическую задачу. Тети-Лилины цифры были *данньми*.

Чиби́с подошел и встал рядом:

– Это что – ее?..

– Мы – дураки, – Инна перебила. – Смотри: имя и год. Видишь? – она ткнула кистью. – Как будто документ. А у нас: *просто* пропали, как будто их и не было...

Инна замолчала. Вспомнила: приходят, а младенца то и нет...

– Она же сказала: документов нет и не будет, – Чиби́с верил старухе.

– Мало ли что... – Инна отбросила ветошку.

– А это... Если напишем... Будет считаться?

– Ты правда дурак? – она притопнула. – Старуха сказала: *их* документы. А это – наши. Понимаешь, не *их*.

– Но мы же не знаем... – Чибис возражал неуверенно. – Когда родились? Когда умерли? А если?.. Слушай, а давай как будто немцы убили... В бою. Это же лучше...

– Что – лучше? – Инна возилась с банкой, пытаясь отжать прилипшую крышку. – Что немцы?

– Нет, – Чибис заторопился, – лучше, что – в бою.

– Не знаю, – крышка наконец поддалась. – По мне, так – один черт. Ну хочешь, пиши...

Чибис окунул кисть и, встав на цыпочки, вывел на верхнем венце.

Ангельские глаза, привычные ко всем людским алфавитам, перечитывали цифры:

1941–1945.

– Ну как? – он смотрел вдохновенно.

– Сам, что ли, не видишь? Они же взрослые. А у нас получилось – дети. Четырехлетние...

Снова она вспомнила старуху: если четырехлетние – значит, легко убить. Принести в жертву...

– Покойничков задирать явились! – из-за склепа вылезла плешивая голова. – Или чего? Должок пришла отдать? – мужик пучился на Инну.

– Кто это?.. – Чибис смотрел испуганно.

– Подожди-ка, – Инна подняла руку.

– Во-во, парень. У нас свои счета, – мужик подхватил баночку с краской. – Сейчас погляди-им... чего вы тут... насвоевольничали... Ну? Сколько задолжала? – он загибал пальцы.

– Еще проверить надо. Те, – она мотнула головой, – целы?

– Обижа-аешь, – Плешивый лыбился. – Мы своих охраняем. От чужих, – вздернув подбородок, он оглядел Чибиса и полез в склеп. – Ага... – хриплый голос от-

давался под сводами. – Старуха, мякинное ее брюхо, пишет. Теперь и ты взялась? Так-так-так, – хрустело по щебенке. – На стенках записи повыписали, номера выставили, местечко себе расчистили. А мы назад ворóтим – как было!

Чибис встал на пороге. Согнувшись в три погибели, Зарезка тянул гнилую доску.

– Доску еле тащит! – Инна заглянула. – А грозился каменного сдвинуть! Только с местечка строньте, а мы вам за это самогоночки дадим.

– А не врешь? Ну смотри... – Плешивый погрозил пальцем и вышел, отстранив Чибиса.

За поворотом дорожки показался маковый склеп. Печное колено уходило в дыру от выбитого камня.

– Входите, что ли... – Зарезка приглашал.

Они вошли и остановились на пороге.

Ангел сидел в нише, потупив глаза.

– Ну начинайте, – Инна произнесла насмешливо.

Зарезка подошел и взялся. На белом бинте проступили свежие следы.

– Руки вон измазал, краской вашей... Керосинчику нету? Оттереть бы надо... – он озирался озабоченно. – Э-эх! – крикнул и дернул рывком.

Ангел, сидящий над пустой могилой, не шелохнулся.

Плешивый дергал раз за разом.

– Да-а, – Инна подошла поближе. – Вам бы в цирке работать, тяжеловесом.

Хватаясь за бок, он оседал на лежак:

– А чего? Я сильный, сильный был...

– Когда волоком тащили? – Инна прищурила глаза.

– Ну это ты врешь! – Плешивый суетился, слезая с лежака. – Уж *того-то* я сам тащил. И спиртом тёр... на-шатырным.

– Спиртом краску не смыть, – Чибис возразил тихо.

– Не краску, не краску – грязь, – Плешивый зашептал горестно. – Вот те крест, по земле тащил, – пальцы заходили по ватной груди. Голос стал глухим – пещерным. – Я и сейчас могу... Могу... Гляди: если поворотится, значит, правда всё. Значит, я Его спас...

– Договорились, – Инна села на лежак.

Зарезка подскочил и взялся за ангельскую голову:

– А-а-а! – шея вздулась и налилась кровью.

Камень качнулся, сдвигаясь с места...

– Не надо! Не надо... Пожалуйста... Я отдам, вот... – Ксения рвала обертку. – Дорогая, это дорогая... Вы продадите, купите себе...

Плешивый разглядывал свои пальцы. Колупал ногтями схватившуюся краску.

Инна поднялась с лежака:

– А ну-ка, – она протянула руку. – Чужим торгуешь, тихоня? Может, мне продашь?

– Эй, – позвал Плешивый, – бутылку-то... бутылку...

Инна обернулась к Чибису:

– Дай ему.

Чибис вынул из сумки:

– Вот, пожалуйста.

Плешивый принял и подмигнул Инне:

– Ладно. Считай, сочлись. Сколько нести-то? – двумя пальцами он обозначил в воздухе пустую рюмку.

– Ты откуда? – Чибис подобрался к Ксении.

– Не знаю... – она ответила шепотом. – Пришла.

Плешивый чмокнул губами:

– Значит – две. Птице налью – со спасеньцем, – он хохотнул. – Ух ты, спасенье и сила и слава! – нырнул под арку и вылез с мензурками: – Своя картошечка-то, – в другой руке он держал железную миску. – Земелька у нас хорошая – чистый перегной.

– Могилки возделываете? – Инна отодвинулась брезгливо.

Он присвистнул:

– Ехидная ты, девка! Ехидных люблю. Я сам ехидный... – Выдернул затычку и разлил по первой. Задвинул в нишу ангельскую долю и, выдохнув коротко, опрокинул свою. – Хороший мужик гонит, – зашипел, передыхая. – Ешьте, – двинул миску. – Не на покойниках. Пустырь у нас жирный – на задах. – Изъяв из ниши ангельскую долю, выщедил и занюхал клубнем. Расселся, отмякая. – Теперь-то стихло: ни облав, ни препон. Раньше-то камни ворочали, ограды разоряли, – загибал пальцы, считая вражьи дела. – В спокойе годков пять переждал и решил строиться. Стены-то прежние остались, – обвел рукой. – Камни хоро-ошие – тесаные. Так и строил – один. Хозяину-то хорошо было, нагнал нас тыщи, – он харкнул и налил по второй.

Ангельская доля ушла в нишу.

– Деревом хотел обшить, цветы вырезать – пустить по стенам. Отец резать учил. Ловкий был – даром, что поп, – Зарезкины глаза затягивало. – Этот сошел, заместо цветов – хе-ру-вим, – он моргнул, сгоняя белесую поволоку.

Чибис тронул оконную рогожу:

– Страшно тут по ночам, темно...

– Света бояться надо – не темноты. Во мгле Господь благоволит! – Зарезка подмигнул. – Вон, до войны на Высотах работал. Там у них телескоп: солнце, бляха-муха, разглядывают... Луну, созвездья... Считай, город целый. На кухне грузил. Там у них светло... – он устал и откинулся. Щеки повело тенями.

– У вас тоже хорошо, – Чибис похвалил вежливо.

– Печка, как на даче, – Ксения подала голос.

– Там чай-то, – Зарезка встряхнулся. – Наладь чаек-то, – к Инне он обращался уважительно. – Сахару из

кулька добавь, кускового, хлебца нарежь – не жалея, – распорядился ей вслед.

Чаевичать расселись за лежаком.

– Я кузнецом ить служил там, у Хозяина, – Зарезка дул в полное блюдце. – Ножи еще делал – краси-ивые! – причмокнул, глотая сладкое. – Ручка из кости говяжьей, точеная, шлифовали под клинок – на ощупь ни зазора, ни-ни, всё ровно, гладко... Вольные, и те покупали. А чего?.. Свои порядки... Хлебца ешьте, – он угощал.

Печной жар разливался тихим светом. Обитые с краев, как будто надкусанные, чашки шатко стояли на разных блюдах. Сероватая рогожа лежала скатертью, закопченный чайник шевелился на плите.

– А дети у вас были? – Ксения пригрелась.

– Да как зачем мне? Маята... – он потянулся к бутылке. – Гляди, вровень пьет, мало, что ошипанный, – пошутил, оглянувшись.

– Вы в городе бываете? – Инна поставила чашку.

– У нас свой город, – он выпил и занюхал заваркой, – зачем нам ваш – Ва-ви-лон...

– Там собор, огромный, – от чайного духа тронулась голова. – Тоже из камней, – Инна провела пальцем по стене, нащупывая шов. – На крыше по углам такие беседки, как ваш...

– Склепы, значит, – он кивнул, понимая.

– Только не живет никто.

– А ты-то как – туда? – Зарезка спрашивал, дуя в блюдце.

Инна взглянула на Чибиса.

– Там лестница. Экскурсии водят, – он объяснил быстро и правдоподобно.

– Экскурсии, вишь! – Зарезка сложил губы дудочкой и присвистнул.

– Там тоже ангелы стоят – охраняют.

– Охрана, значит, – он кивнул, понимая ее слова.

– Этот – другой, – Инна смотрела в нишу. – Те вооруженные.

– Ну ясно, – Зарезка подтвердил с удовольствием и отставил пустое блюдце.

– Они собаку сбросили – насмерть.

– Значит, отслужила свое – куды с ней? – он вставал на сторону вооруженных.

– Они и человека могут, любого – раз! – и в пропасть, – Инна говорила зло. – Я ненавижу их, но не боюсь!

– Ненави-ижу! – Зарезка передразнил. – С охраной хитрить надо, дуркой прикидываться, – он вскочил и завихлял задом:

На изральской улице петушок да курица
даром дрались, спорили,
после дом построили, –

голосил дурным голосом. – Чего толку-то – напролом? Перестреляют.

– Кто? Ангелы? – Ксения изумилась.

– Ну, – он сел и важно пригладил голову. – Всякому доля своя, – произнес смиренные слова несмирненно. – Падшие, значит. Тоже испытали на себе волю Его... – прервал себя, поднимаясь. – Жрать охота. Аж в животе подвело.

За оконной рогожей скрывался деревянный ящик.

– С удобствами, значит. Когда – зимой, – вытащил магазинную курицу, запаянную в целлофан. Отомкнул зубами кольцо. Вытянул черную, в копоты, кастрюлю. – Жиру-то, а? Налипло. Ничего... Сейчас заблестит...

Щербатым совком зачерпнул остывшего пепла и, подхватив какую-то тряпку, вышел вон.

– Какой собор? – Ксения спросила тихо. Инна молчала.

Чибис вздохнул и отвел глаза.

Плешивый притащил кастрюлю и плюхнул на плиту. Налипший снег зашипел, тая. Примерившись, он сунул курицу и подкинул дров.

– Соль – после. Теперь ждать будем, – подмигнул Ксении.

– А где ваш... друг?

– Максимилиан-то? – Плешивый усаживался поудобнее. – Носит где-то нелегкая. Тебе зачем?

– Я... хочу спросить у него, – Ксения говорила едва слышно. – Кто такие – волхвы?

Чибис вздрогнул и шевельнул губами.

– Волхвы?! – Зарезкины брови хмурились, глаза веселились. – Колдуны значит. Явились, значит, с Востока, – он налил из бутылки.

– Тетя Лиля сказала, он – Ирод.

Рука кинула пойло в рот, как в печку. Плешивый глотнул и выпучил заслезившиеся глаза:

– Ну-у? – он передыхал, втягивая и выпуская воздух.

– Пожалуйста, дай мне, – Ксения обернулась к Чиби́су. – Вот, – она открыла обожженный лист. – *Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами... – читала, не переводя дыхания – ...всех младенцев... ниже времени, которое выведал у волхвов...* Тетя Лиля сказала, и вы тоже: он сына убил... И другие мальчики умирают – всюду, – Ксеньин взгляд упирался в серую стену.

Инна смотрела в сторону: перед глазами плыли теткинны цифры...

– Ты, девка, сдурела совсем! Нешто Максимилиан – Ирод?! Когда было-то? Не теперь же... – он тыкал в книгу пепельным пальцем. – Много их, которые сынов убивали, и кого – сыны... И! – махнул рукой.

– И что? Никто не виноват? – Иннины слова вспыхнули, как сухие поленья.

Зарезка нашарил бутылку и, опрокинув, приставил ко рту. Два беловатых ручейка сочились из углов:

– Дура ты, – он зашевелил непослушным языком. – Где ж это видано, чтобы *всех* убийцев виноватить?

– Значит, если я кого-нибудь убью... – Чибис вставал с места, – я тоже... буду не-ви-но-вен?

– Ты-то? – Плешивый оглядел шушлую фигуру. – Ты-то будешь виноватый.

– Но почему? – Ксения поднялась и встала рядом с Чибисом.

– Потому что – не Ирод! – Зарезка хохотал, цепляясь за ангельский подол.

– Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение! – снаружи донесся трубный голос. Плешивый цопнул бутылку и сунул под лежак. – Привет компании! По какому такому случаю? Самогонкой аж за стены несет, – Лошадиный оглядывался.

Плешивый завозился на лежаке:

– Вот – гости к нам, – он вертел головой. – Наслышаны, дескать, будто в городе Вихлееме новый царь юдейский народился, хочет тебя с престола извергнуть, – он кривлялся и подпихивал бутылку ногой. – Ага, значит... Звезда, говорят, привела.

– Цыц! – гаркнул Лошадиный. – Стул мне!

Плешивый слез с лежака и вытянул табурет.

– Привела, говоришь? – он переспросил грозно.

– Звезда, звезда, – Плешивый поддакивал, юля.

– Какая звезда? – Ксения подобралась к Инне. Иннины губы стали серыми.

– Вот и я говорю, Максимилианушка: не всех убийцев виноватят, – Плешивый завел, кланяясь. – Одна звезда с неба упала, весь белый свет осияла, померк белый свет-то...

Лошадиный сунул руку за пазуху.

– Добытчик ты, Максимилианушка! Беленькую нашел, госуда-арственную, – Плешивый затянул, поднося пустую мензурку.

– Не лезь! – Лошадиный оборвал золоченую пробку и налил себе – одному. – Значит, волхвы? – он обвел глазами всех троих. – А меня, значит, Иродом? Ну и дальше чего? – выпил и оглядел Плешивого.

Тот вдруг озлился:

– А дальше прикажи в город послать и убить младенцев мужеска полу.

– Какой-такой город? Ихний что ли? Пустой он – некому у них там народиться.

– А не твоего ума! Твое дело – Иродово, – Зарезка вертел осмелевшим пальцем.

– Тебя, что ли, в убийцы? – Лошадиный сморщился. – Щенка слепого не удавишь, – он дернул подбородком в сторону ангела.

– Куда нам до тебя... – Плешивый засопел.

– Цыц! – обрубил Лошадиный. – Младенцы ихние вырастут – друг друга передушат. А? – он смотрел на Чибиса. – Угощу! За город свой выпьешь. Врагу отданный!

– Это неправда! Наш город никогда и никому не сдавали! – полная рюмка ходила в Чибисовой руке.

– Плещешь, плещешь, – Плешивый зашептал горестно.

– Даже в блокаду! Люди на улицах умирали, но не сдавались... Мне – мама, и в музее... – Ксения заговорила, торопясь.

– Вдруг они – в музее, – Лошадиный запахнул тулуп.

– Нет, это правда. Немцы обещали банкет в «Астории», приглашительные билеты напечатали, я сама видела, – Ксения рассказывала.

– И ополчение было, – Чибис держал мензурку, не зная, куда отставить.

– Ополчение? – захрипел Лошадиный. – Ну и где они теперь, ополченцы эти? – голос стал гулким – подземным.

– Пали смертью храбрых, но выполнили свой долг перед родиной, – Чибис сморщился и поставил на лежак.

– Чушка она – твоя родина! – заревел Лошадиный. – Поросят своих жрет! Да, лучше свиньей в хлеву, чем у нее сыном!

– Ага, ага, – Зарезкина рука подобралась к оставленной мензурке. – В хлеву-то и лучше: и поить – поют, и кормить – кормют, и проживешь дольше...

– Вы так говорите, – Чибис приподнялся на цыпочках, – потому что сами убили своего сына!

Зарезка замер.

– А ну пошли, щенок поганый! – Ирод заговорил тихо. – Сейчас я тебе покажу-у, как дело было, – он вытирал пальцы о вывороченный мех.

– Максимилианушка! – охнул Плешивый.

Чибис смотрел растерянно.

– Тьфу! – Лошадиный харкнул в угол.

– Мы все пойдем, – Инна выступила вперед.

Лошадиный поднялся, двинул табурет и вышел вон.

Спина, затянута тулупом, качалась перед глазами. Чибис шел, сглатывая слюну.

Лошадиный встал у ограда:

– Теперь глядите. Как в музее, – он усмехнулся и махнул рукой выше деревьев. – Там – Высоты. Он закрепился.

– Кто? – Чибис переспросил петушиным голосом.

– Немец, – Максимилиан плюнул в снег. – Гнали по Забалканскому, по-вашему – Московский. Под совхозом разбили на пятерки. Первым – по винтовке, остальные – пустые.

– Безоружные? – Инна спросила громко.

Лошадиный не слушал:

– Первый упадет – второму винтовка, второй упадет... В первой же атаке... перебили... как мальцов... Я пятым бежал, – он передернул лицом и усмехнулся. – Считай, повезло.

– А войну вы где закончили? – Чибис поднял голову.

– Войну-то? – Лошадиный ответил раздраженно. – Где-где? В Берлине. Вернулся в сорок пятом.

– А сын? – Ксения не удержалась.

– Канючил: расскажи, расскажи... Вот и рассказал. Правду, – Лошадиный скрипнул зубами. – В школе проболтался, гаденыш. Юный пионер! Пацаны – родителям, те – куда следует. Меня – понятно, – он сказал равнодушно. – Жена померла скоро – болела после блокады. А его – в детдом. Там и сгинул, – он взялся за локоть, качая руку.

– В сорок пятом? – Инна смотрела на Чибиса.

– Но вы же не виноваты, – Ксения зажала щеки ладонями. – Это он – вас.

– Много ты понимаешь, пигалица! – голос стал грубым. – Брешут у вас в музеях: не сын за отца, а отец – за сына. Это я рассказал ему правду. Вот и вышло: я – живой, а он – мертвый. Значит, я убил его, – Лошадиный качнул рукой, как пустым рукавом.

– Петушок, петушок-то сварился. Все пожа-алуйте, всех приглашаю! – Зарезка бежал суетливо.

Размахнувшись, Лошадиный кинул в печь обглоданное крыло. Куриный жир хрустел, прогорая.

– Косточки в земельку закопаем, новый петушок и вырастет, – Плешивый лыбился щербато.

– Вы чего пришли-то? – Лошадиный отворачивал рукав.

– Мой отец говорил, – Чибис держал куриную кость, – что дед погиб на войне – пропал без вести, но потом... потом оказалось, его расстреляли...

Лошадиный кивнул.

– А Таракан, то есть один старик, – Чибис поправился, – держал его фотографию, с номером, – он заговорил свободнее. – Там таких много. А потом они всех сожгли, старик и старуха, его соседка, а нам сказали переписать номера. Старуха сказала, все равно никто не узнает правды, где они похоронены, и дед мой тоже... А она, – Чибис обернулся к Инне, – придумала: выбрать склеп и написать номера, краской. Как будто похоронить...

– Значит, похоронили? – Лошадиный зыркнул. – А ну поглядим на ваши похороны, – он поднялся тяжело.

Осмелев, Плешивый сунулся под лежак и вытянул початую бутылку.

Лошадиный глядел, набычившись:

– Эт-то что?

Чибис выступил вперед:

– На могилах пишут: когда родились, когда умерли... Мы же про них не знаем. Решили: как будто на войне.

– А их вы спросили? – Лошадиный тыкал пальцем в зияющий склеп.

– Они же умерли, – Инна смотрела прямо.

– По-вашему, – голос стал холодным, – МЕРТВЫЕ СЛÓВА НЕ ИМУТ? Может, они не желают – на войне? – Упираясь руками, он стоял под аркой и мотал головой. – Ла-адно! Будут вам и похороны, и цветы красные, пионерские. Керосин тащи, – бросил коротко.

Зарезка подпрыгнул и кинулся исполнять.

Сладкий запах сочился, опоясывая склеп. Лошадиный сбросил тулуп и закатал рукава.

Обходя склеп по периметру, он плескал по углам:

– Огонь!

– Ла-адно тебе, ла-адно, – ныл Плешивый.

– Как же вы? Ваш сын... Он ведь... его же – тоже, – Чибис стоял у самой арки, не решаясь сунуться.

Лошадиная спина лезла из склепа:

– Сам спалю щенка! Отцовской рукой, – напрягая жилы, он рванул к плечу канистру и отжал, как гирую. – Сгинет, – Лошадиный хрипел, – сгинет!

Сырые доски не разгорались. Выбив воздушные пробки, удушливый дым ударил из всех щелей, как из бойниц.

Зарезка подскочил с тараканьей бутылкой:

– Запей, запей, душу его залей голубиную.

Лошадиный откинулся, выпячивая горло. Вытер рот и отбросил пустую.

Воронья стая, забирая от выщербленных куполов, неслась над кронами. От быстрых черных тел рябило в глазах. Лошадиный раскинул руки.

– Ш-ш-шу, – растопыренные пальцы крючились, хватая воздух. – Гнали, гнали... Всех сгубили... – он споткнулся и пополз, тыкаясь в снег. – Сына моего отверг?! Значит, и Твой... мне... не нужен... – поднялся, опираясь обеими руками, и подхватил канистру.

– Куда ты? Куда?.. – Плешивый засуетился.

– Мне... тоже... Я – за ними, – Ксения побежала следом.

Чибис оглянулся на Инну, словно спросил разрешения. Она кивнула и пошла вперед.

За ангелами, сидевшими у тропинки, открылся помост и бронзовая фигура, подпертая камнями – Он стоял, опираясь спиной о крест.

– Это... кто? – Чибис смотрел на банки, расставленный по ступеням.

– Иисус Христос – Сын Божий, – Зарезка объявил громким шепотом.

Подхватив канистру, Лошадиный лез наверх. Добравшись до последней ступени, плеснул и высек огонь. Синие языки кинулись вверх. Металл, начищенный до блеска, полыхнул пламенными отсветами.

Ксеньины глаза сияли счастливым ужасом.

Пламя вырвалось и опало. Керосиновые лепестки спекались темными языками. Над потухшим костром зыбился теплый воздух. За плотной завесой пара дрожали фигура и крест...

– Шевелится! Иисус шевелится! – Плешивый заголосил и запрыгал, подбрасывая колени.

Ксения пошатнулась и опустилась на ступени. С высокого постамента – вперед, мимо Ксеньиных глаз, – смотрели пустые бронзовые глаза. Пар, мешаясь с дымом, собирался в маленькое облако.

– Он там, там, – Ксения бормотала и тянулась к облаку. – Улетает... Совсем улетает... Надо... надо... догнать...

– Дура... молчи, молчи, – Иннин голос шипел, как тающий снег.

Прозрачное облачко, пройдя сквозь голые кроны, уходило в небо.

– Девка умом тронулась! – Плешивый забежал и спрятался за спину Лошадиного.

– Бегите, – Инна обернулась к Чибису.

– А ты? – он спросил и взял Ксению за руку.

– Не домой, не домой... – Ксения забормотала.

– Бегите, – что-то странное показалось в ее глазах, потому что, оттолкнув ногой пустую канистру, Лошадиный отступал шаг за шагом.

– Мне плевать, – она заговорила тихо и отдельно, – что вы сделали с вашим сыном или он – с вами, мне плевать на ваших фашистов и вашу войну, мне пле-

Елена Чиждова

вать, – Инна задохнулась и перевела дух, – на ваши канистры и ваших трусливых ангелов!..

Тяжелая челюсть отваливалась медленно.

– ...Но если хоть камешек, хоть одна щербинка отколется от *Этого*, я вернусь и тогда...

Лошадиная челюсть встала на место. Он мотнул головой и полез за пазуху.

– Ре-ежут! – Плешивый зашелся в восторженном крике.

Чибис рванул с места и поволок Ксению за собой. Последнее, что он видел: мелькнувшее золото.

Лошадиный сорвал золотую пробку и пустил водку широким веером – от плеча. Едкие капли прожгли снег и остались птичьими следами.

– Вот вам – от меня! Отцам вашим и детям вашим. Благо-сло-ве-ние, – отбросил пустую бутылку и обтер лицо свободной рукой.

– На Москве бояре,
на Азове немцы,
а в земле-то черви,
а в воде-то черти! –

облегченно заорал Плешивый.

Лошадиный повернулся и пошел прочь. Зарезка бежал за ним.

Она нагнала их у самых ворот. Ксения с Чибисом стояли на тропинке. Прижимая к губам варезку, Ксения смотрела в небо.

– Пошли, – приказала Инна.

Чибис кивнул и скосил глаза. Шел и смотрел на снег, усеянный мелкими птичьими следами:

– Я... Я хотел... Но ты же сама...

– Да, – она подтвердила, не оборачиваясь. – Я сама.

– Смотрите, вон там: собор. Воскресения. А там, – Ксения махнула рукой, – родильная больница.

– Где? – Чибис оглядел приземистое здание, похожее на барак.

– Раньше красиво было, пока не разорили. Монашески жили... – она вздохнула мечтательно.

– Собак выпустили, – Инна прислушивалась к далекому лаю.

– А там – пушнина. Только я не знаю...

– А... – Чибис вспомнил. – Это аукцион. Шкурки продают. Мне отец рассказывал.

– Собачьи? – Инна усмехнулась.

– Почему собачьи? Разные... – он шел, сбиваясь с шага. – Лисы, норки, песцы...

– Автобус. Бежим!

Инна добежала первой.

– Быстрее, быстрее... – ждала, занеся ногу на ступеньку.

«На задней площадке! Не скапливаемся. Оплачиваем проезд, – водитель закрыл двери. – Следующая остановка Московские ворота. Проходим, проходим. Занимаем свободные места».

– Туда, вперед садитесь, – Инна подтолкнула Чибиса.

– А ты?

– Садитесь, – она повторила и взялась за поручень.

По Московскому проспекту автобус шел, не сворачивая.

Пассажиры, уставшие за день, сидели смирно: шапки, сшитые из кроликов, желтые норочки, черно-бурые лисы, серые песцы.

«Думают, разные... Собачьи... все равно собачьи...»

Снова подступало гадкое, лезло в автобус, отжимало дверь. «Устала... как же я устала...» Где-то там, за Невой,

ежилась проклятая каморка: голодные львы, идущие по голым стенам. Она сунула руку в карман и нащупала пузырек. Шевеля губами, считала, проверяя цифры. Автобус шел по Московскому проспекту. Она смотрела в заднее стекло, будто тоже помнила далекую страну, в которой когда-то родилась. «Как же это слово?.. Анфан... Это они придумали. Сказали – грех! Придут, а убивать некого... А потом он все равно родится...» – отвернула пробку и выпила беловатую жидкость.

Подождала, прислушиваясь. Ничего не произошло.

* * *

Вдоль тротуара, почти вровень с ним, двигалась серая «Волга». Водитель, кражистый мужик лет сорока, поглядывал по сторонам. По Оресту он скользнул равнодушным взглядом.

«Вещество, воскресающее мертвых... – Орест Георгиевич шел и думал о том, что ангельский старик врет. – Кто бы решился заварить такую кашу, не заручившись *их* поддержкой?» Даже про себя он не решился назвать – *чьей*.

Водитель поддал газу и теперь двигался впереди, буквально в двух шагах. Легкий дымок выбивался из задней трубки – на морозе он сворачивался белым облачком. Орест отвернулся, гася мелькнувшую мысль: «За мной. Это – за мной. Вот сейчас... Сейчас остановится... – краем глаза он следил за машиной, объезжавшей снежную кучу. – В кошки-мышки играют...» – прислушивался к себе: не страх, одно ледяное любопытство. Расстояние увеличивалось. Орест Георгиевич вдруг усмехнулся и взмахнул рукой.

Водитель притормозил и подал назад.

– На Петра Лаврова.

– Поехали.

Орест Георгиевич протиснулся в салон.

Машина летела, разбрасывая грязь. По Биржевой площади, через мост, мимо Петропавловской крепости. У гостиницы «Ленинград» свернули на набережную. Поток машин становился сплошным.

– Попа-али, – водитель крутил головой. – Эх, не сообразил! Надо было через Пестеля... На Петра Лаврова – какой дом?

«Глупости. Обыкновенный водила, – Орест Георгиевич успокаивался. – Халтурит, пока начальник заседает. А я-то – хорош...» – он откинулся на спинку.

Короткими рывками машина вползала на Литейный мост. Впереди уже маячило высокое здание *конторы*.

– Сам опаздываю. Начальство пистон вставит, – водитель потянулся к щитку и подмигнул Оресту как общнику. – Ну, сейчас – с ветерком!

Черный микрофон крепился на длинном шнуре. Приложив к губам, водитель дунул коротко. Машина, идущая перед ними, вздрогнула, словно присела на задние колеса. Остальные перестраивались, освобождая левую полосу. Водитель обернулся:

– А? Свои преимущества!

Постовой, дежуривший на подступах к Большому дому, проводил «Волгу» молодцеватой, размашистой честью.

У зеленой будки Орест Георгиевич расплатился и вышел. Серая «Волга» взяла с места бесшумным рывком.

«Надо же... Думал, у *них* всегда черные... – Орест стоял у кромки тротуара, унимая запоздалую дрожь. Будто только что вырвался из логова. – Совсем ни к черту...» – думал о разгулявшихся нервах.

Свернув под арку, миновал мусорные баки, стараясь не дышать. Последнее время мучили запахи. Особенно этот: сладковатый, не то бензин, не то керосин. Антон ничего не чувствовал, смотрел удивленными глазами: «Может, с лестницы тянет? Или там, в лаборатории?..»

На всякий случай перебрал полки, проверил крышки: всё в целости и сохранности. Вчера вечером вдруг понял: не реактивы, пахнет от рук. Ходил по комнате, время от времени поднося к носу. Керосиновый запах становился сильнее. К утру, похоже, исчез. На всякий случай, прежде чем выйти из дома, вымыл особенно тщательно, с мылом, со щеткой, – шоркал под ногтями.

Орест Георгиевич вошел во двор и взглянул на часы. «Завтра. Завтра же спрошу у Антона, узнаю адрес... Телефон.... Телефон лучше...» – поднимаясь по лестнице, пытался подобрать слова, которые должен сказать девочке. Слова не шли. Чувствуя, как загораются руки, стянул перчатки: пахнуло дегтярным мылом. Сквозь мыльный запах пробивалась сладковатая струя. «Вот оно что... – попытался вывернуть перчатку. – Нет... не получится. Слишком толстый мех».

Как бы то ни было, он почувствовал облегчение: перчатки, пропахшие с изнанки, можно сдать в химчистку. В конце концов выбросить.

Прежде чем постучать, сунул их в карман.

Лазоревый занавес был раздернут, дальняя дверь распахнута.

Давешняя комната успела поменять вид. Кожаные диваны сдвинули, камин загородили листом фанеры. Прежними остались, пожалуй, лишь лампа и темный коллаж со Спасской башней. Впрочем, Орест Георгиевич присмотрелся, звезды тоже не было. Без нее башня выглядела голо.

Павел Александрович входил в комнату, раскрывая руки как для объятия.

– Я могу поздороваться с Алико Ивановной? – Орест Георгиевич обратился к хозяину – мимо Павловых рук.

– Боюсь, бабушка не вполне здорова...

– Что-то серьезное? – Павел вмешался озабоченно.

– Слегла, – хозяин ответил сухо. – Третий день не встает, – и вышел из комнаты, не дожидаясь дальнейших расспросов. Вместо него появился доктор Строматовский, возник в дверях:

– Рад, сердечно рад, – доктор повел пальцами, словно расправил раструб воображаемой перчатки. – Как вы себя чувствуете – после нашей... – он коротко кашлянул, – импровизации?

– Простите? – Орест Георгиевич не понял вопроса.

– Не случилось ли вспышек раздражения, может быть, даже ярости, – доктор шевельнул пальцами брезгливо.

– Нет, – Орест ответил и оглядел фанерный щит.

За его взглядом доктор проследил печально и внимательно. Хозяин вернулся и, подойдя к окну, задернул портьеру.

– Я... обдумал, – Орест Георгиевич приступил к главному. – Я... буду... Я готов сотрудничать.

Наступила неловкая тишина. словно объявление, сделанное в этих стенах, было чем-то бестактным и неуместным. Во всяком случае, слишком прямолинейным.

– Что ж, – доктор улыбнулся тонко, – любое решение – не без греха.

– А знаете, – хозяин вступил почти торопливо, – есть такая легенда, средневековая. Прежде чем бог успел вдохнуть в человека душу, дьявол подкрался и оплевал тело. Богу пришлось выворачивать наизнанку...

– Наизнанку? Это что ж, как перчатку?.. – доктор Строматовский поднял брови и снова повел пальцами, будто расправил воображаемый раструб.

– Однако внутри так и остались дьявольские харчки, – хозяин закончил неожиданно смачно.

Павел рассмеялся:

– Хороши же мы были, так сказать, до выверта! Не знаю, как для вас, но для меня это приоткрывает некоторые детали первоначального Божьего замысла!

– Всегда подозревал вас в самом вульгарном, прямо скажем, патологоанатомическом материализме, – хозяин подхватил шутку.

«Переигрывают», – подумал Орест.

– Должен, однако, предупредить, – он старался держаться официально. – Может статься, задача, поставленная вами, не имеет решения. Во всяком случае, я не могу гарантировать... – Даже теперь, предупреждая их о своей возможной неудаче, Орест Георгиевич чувствовал воодушевление, похожее на тревожное любопытство. Он поймал себя на том, что хочет уйти отсюда немедленно. Уйти, чтобы вернуться к этой работе, к своему письменному столу.

– Справишься, – Павел подошел и встал рядом. – Кому, как не тебе...

– Вне всяких сомнений. Но при одном условии, – Строматовский обращался к Павлу, – если ваш друг научится себя обуздывать. Ум, лишенный уравновешенности, изучает тупики или, если хотите, мостит болотные топи... – доктор обернулся и указал на карту, висевшую на стене. Войдя, Орест Георгиевич ее не заметил. – Вот вам пример большого, но неуравновешенного ума: всё, что было задумано, зашло в тупик. Если не принять мер, этот город и вовсе опустеет.

Над картой вилась рисованная лента. В согласии со старинной каллиграфией на ней было выведено: ГОРОДЪ ПИТЕРБУРХЪ – золотом по черному фону.

Доктор подошел и коснулся пальцем, словно поправил ленту кладбищенского венка.

– Может быть, водки, чистейшей? Раз уж источник тепла демонтирован... – хозяин подошел к двери и, взглянув, махнул рукой. – На днях доставили, прямо из Финляндии.

Молодой человек – про себя Орест называл его Прямоволосым – вошел с подносом, на котором, играя гранями, стоял высокий графин. Его окружали серебряные стопки – маленькие, чуть больше наперстка.

– Замечательно, – Павел пригубил и облизнул губы, как от сладкого. – Кстати, если ваши худшие пророчества сбудутся, – он поклонился доктору, – такую водку мы будем пить значительно чаще.

– Это не очень хорошая шутка, – доктор поморщился.

– Отчего же? – Павел Александрович выпил и отставил рюмку.

Оресту показалось: теперь, когда он согласился с ними сотрудничать, Павел почувствовал себя увереннее, словно выполнил трудное задание.

– Опустевшие города всегда кто-нибудь занимает, – Павел Александрович оглянулся и посмотрел на кладбищенскую ленту. – В нашем случае выбор невелик: либо европейцы, либо китайцы. Предпочитаете азиатских варваров?

– Сему городу быть пусто? – Орест приблизился к карте. – Ты имеешь в виду легендарное пророчество?

– На мой вкус, – Павел поморщился. – Пророчества – это слишком романтично, хотя... Нет, в первую очередь, эмиграцию. При известных условиях процесс может стать необратимым. И тогда...

– Не понимаю, – неожиданно для себя Орест заволновался. – Что – новое Великое переселение? Но теперь не Средневековье. Существуют государственные границы... Не думаешь же ты?... – он не решился продолжить.

– Нет, *этого* я не думаю, – Павел улыбнулся тонко. – При нашей жизни, во всяком случае.

– Положим, какой-то процент уедет...

– Да, большинство останется, – хозяин кивнул, соглашаясь. – Но это не имеет значения. *Наша* история никогда не писалась большинством.

– Вот именно, вот именно, – в глазах ангельского доктора зажглась твердая решимость. – Пускай ничтожным, но осмысленным меньшинством. *Здесь* я и вижу залог нашего успеха.

Странные слова забрезжила в Орестовой голове: *здесь и сейчас, повсеместно и вовеки*. Ему показалось, он слышит голос отца.

– Не знаю, возможно... возможно, вы и правы... – он заторопился, пытаясь отогнать отцовскую мысль. – Но это, – он обернулся к Спасской башне, – как бы сказать... вечный двигатель. Не представляю, что должно случиться, чтобы... Третья мировая? Всемирная ядерная катастрофа?

– Ну-ну-ну, – доктор Строматовский поднял руку. – Не стоит множить сущностей. Армагеддон – не наш миф. Это пусть там, в Европе, пугаются.

– Они пугаются, а нам не страшно, – Павел поддержал шутку.

– Да, возможно... возможно, я не так выразился, но все-таки – *что?* Что должно случиться, чтобы этот механизм... – Орест Георгиевич понимал: надо остановиться, но что-то мешало – дал сбой?

Рука ангельского доктора легла на подлокотник. Пальцы слегка подрагивали. Перстень, отполирован-

ный до блеска, заходил на среднюю фалангу, делая безымянный палец несгибаемым:

– Вечных двигателей не бывает. Поверьте, если не принять надлежащих мер, рано или поздно собой обязательно случится. За этим дело не станет, – Строматовский обернулся к юноше. Тот приблизился и одернул пиджак.

– Закончили? Неужели закончили?! – голос Павла стал радостным.

– Все лавры – ему, – хозяин улыбнулся. – С моей стороны – исключительно научное руководство.

Юноша зарделся, расцветая от похвалы:

– Мне надо... пару минут. Приготовиться...

Орест Георгиевич выпил и отставил пустую рюмку: «Что это? Фокусы вздумали показывать?..»

– Прошу, – хозяин обвел глазами комнату, словно отдал ее в полное распоряжение.

Прямоволосый подвернул реостат и, подойдя к фанерному щиту, сдвинул его, открывая нишу. В глубине камина что-то мерцало. Опережая вопросы, юноша взялся обеими руками и потянул на себя. Из ниши показался столик, на котором располагалась модель города, выполненная с изумительной искусностью: здания, улицы, мосты.

Орест Георгиевич не сводил глаз.

Протянув руку, Прямоволосый щелкнул выключателем. Модель осветилась изнутри. Теперь, когда прибавилось света, замысел становился яснее: в модели воспроизводился не весь город – только его центральная часть. Северо-восточная граница совпала с внешним контуром Невы, северо-западная отрезала кусок Васильевского острова и ломтик Петроградской стороны. Южная пересекала Московский проспект, кажется, в районе «Электросилы».

– Вам предлагается универсальный тренажер, – хозяин вступил в права научного руководителя. – Моделирует эффект лабиринта.

Неву выложили блестящим слюдяным материалом, похожим на тонкий рубероид. Фонари, похожие на спички, светились миниатюрными головками. «Фосфор», – Орест Георгиевич подобрал правдоподобное объяснение.

Видимо, лампочки прятались под каждым зданием, потому что горели окна. Напрягая глаза, он читал *прежние* названия, выведенные тонкими волосяными линиями вдоль мостовых: Сенатская площадь, Надеждинская улица, Вознесенский проспект...

«Вознесенский?.. Да, теперь проспект Майорова...»

– И сколько же времени понадобилось? – он не удержался от вопроса.

– Три с половиной года, – хозяин ответил охотно.

Между тем ангельский доктор снова поднял руку. Перстень уловил свет золоченой лампы, похожей на керосиновую. Коротким и точным жестом доктор направил луч. Под докторским лучом фосфорные фонари разгорались сильнее, невская вода поблескивала меж берегов как чешуя. А может быть, Оресту просто показалось.

– Позвольте познакомить вас с правилами, – Прямо волосый начал игру. – Ступень первая: испытуемый накапливает непосредственные впечатления. На этом этапе всё зависит от его внимательности, а также разрешающей способности зрения, слуха, осязания. Если позволите, – он обращался прямо к Оресту, – я приведу пример.

Обходя город, луч света выхватывал основные ориентиры: Петропавловская крепость, крылья Адмиралтейства, латинский крест Казанского собора... Темная громада Исаакия...

Орест Георгиевич молчал, пытаясь собраться с мыслями: «Громада... Почему громада?.. – Истукан, сидящий на восточном фронтоне, стал маленьким и жалким – едва различимым. – Обойти, присмотреться повнимательнее...» – ноги, налившиеся сонной тяжестью, отказывались служить.

– Не беспокойтесь, – он услышал слабый старческий голос. – Это всего лишь упражнение. Один из способов тренировки воображения.

Сердце стукнуло и пошло ровнее.

Он чувствовал себя так, будто оказался между сном и явью: ноги не слушались, но голова оставалась ясной. Новое состояние расширяло границы достоверности и в то же время смещало точку обзора: там, во сне, в котором Истукан явил свою справедливость городу и миру, он стоял, притаившись у садовой ограды, а значит, находился внизу. Ничтожный и почти неразличимый – ниже самого жалкого солдата, замыкающего их иерархию. Теперь словно бы вознесся над городом – выше Александрийского столпа.

Острие луча, похожее на прожектор, скользнуло, рассекая пространство. Что-то серое зашевелилось, растекаясь по земле. Орест Георгиевич приглядывался тревожно.

– Первый этап закончен, – юноша свел брови. – Переходим ко второму: эту ступень мы назвали первоначальной интерпретацией. Строго говоря, они могут быть связаны многозначно...

– Минуту, минуту, – Орест Георгиевич перебил. – Заложено ли в вашей модели *нечто*, позволяющее объективно судить о степени приближения к истине – в каждом отдельном случае? – он говорил и слушал сам себя. Голос, достигая ушей с секундным запозданием, звучал как будто со стороны.

– Вы попали в самую точку, – Прямоволосый расцвел. – В сущности, в этом и заключается суть моей работы и ее научная новизна. Это *нечто* заложено, – он обвел глазами членов совета. – Оно обязательно проявится, но на следующем этапе. Теперь испытуемый должен выбрать свой вариант интерпретации. Выбрать и ясно сформулировать. Модель реагирует на голос и активно вступает в игру. Контроль осуществляется в рамках обычной математической логики: истинно ложно. При ложном выборе включается блокировка: система отсылает вас в самое начало...

– Простите, – чувствуя прилив сил, Орест Георгиевич входил во вкус. – Но это не объясняет самого принципа активности.

Ему показалось, юноша растерялся:

– Вы... Вы имеете в виду?..

– Продолжайте, – доктор кивнул ободряюще.

Прямоволосый заговорил медленнее, будто взвешивал каждое слово:

– Активность модели описывается принципом *черного ящика*. Там, внутри, – он потянулся к выключателю, но отдернул руку, – работают базы данных, неподконтрольные пользователю: природные, культурные, исторические. На сегодняшний день... мы не в силах их контролировать... Может быть, когда-нибудь... позже...

– Ну что ж, – доктор Строматовский откликнулся доброжелательно. – Истина на то и истина, чтобы открываться постепенно.

– Да, да, – юноша напрягся. – Мы остановились на второй ступени... Интерпретация. Я собирался привести пример.

– Хотелось бы, – Орест Георгиевич следил за активностью модели.

– Крысы?.. Вода?.. Наводнение?.. – Прямоволосый шептал, вглядываясь напряженно. – Нет... все-таки крысы, – он заговорил громко и отрывисто. – Бегут из обреченного города....

Сероватые тени замерли. Фонари, вспыхнув фосфорными головками, погасли.

– Обработка окончена, – Прямоволосый едва шевелил губами. – *Черный ящик* не признал версию правдоподобной.

Строматовский подал знак Павлу. Тот подошел и, подхватив юношу под руку, подвел к дивану.

Доктор стоял, поигрывая тяжелым перстнем:

– Ничего... Это – приятное волнение. Ему надо отдохнуть.

Прямоволосый откинулся и закрыл глаза...

Ошибку Чибис заметил слишком поздно: автобус уже свернул на Садовую.

– Не тройка... Это не тройка. Надо выйти и пересечь, – оттесняя толпящихся пассажиров, он протискивался к задней площадке. Ксения пробиралась за ним. – Выходим, – дернул Инну. Она обернулась и кивнула.

Улица выглядела пустой. Машин почти не было. Трамвай, испуская слабое дребезжание, двигался в сторону Сенной площади: трамвайные окна, покрытые морозным узором, проехали мимо.

– А теперь куда? – Ксения оглядывалась.

Вдоль ограды Юсуповского сада бежали редкие прохожие – кутали шеи, уворачиваясь от ветра. Ветер вырывался из темных подворотен, цепляясь за оконные переплеты, карабкался вверх. Падая грудью на гулкие листы железа, рассыпался сухим снежным прахом, прежде чем успевал сорваться с высоты.

– Туда, я знаю, – Чибис махнул рукой.

Они свернули и пошли по Майорова.

Вечернее эхо, подхваченное ветром, отдавалось в верхних этажах. Свет, набухавший в зашторенных окнах, не пробивался наружу.

– Ой, тут же наша поликлиника, зубная, – Ксения заглянула в узкий проулок. – Прошлый раз мне восемь дырок сделали, представляете... Больно, ужас! Не знаю, как стерпела...

Впереди каменной громадой поднимался собор.

– Этот? Вы про него говорили? – Ксения забежала вперед. – Тогда я знаю... Мы раньше жили здесь, на старой квартире, там...

Инна подняла голову: небо было пустым и низким – ни звезды. Снег падал густыми хлопьями. Холод, идущий понизу, прожигал ноги сквозь рейтузы. Она нагнулась и растерла колени:

– Мне... надо домой. – Что-то подступало изнутри, тянуло низ живота. Больше всего на свете хотелось лечь и закрыть глаза.

– Это близко, совсем близко... – Ксения закрывалась варежками от ветра.

Инна шла, стараясь не думать о боли. Снег, повалившийся хлопьями, залеплял рукава. Впереди, за пеленой снега, маячили две маленькие фигурки. Казалось, они становятся всё меньше и меньше.

– Шапку отряхни, а то Дед Мороз какой-то... – Она услышала Ксеньин голос.

– Дома отряхну, все равно нападает.

– Тогда я то-оже до-ома...

– Может быть, теперь – я? – Орест Георгиевич обратился к доктору.

Тот раскрыл руку, приглашая.

Фосфорные головки разгорались нежным светом. С каждой секундой свет становился ярче. Щиток перстня поймал электрический отсвет и свел его в луч. Острие обходило город по периметру, короткими рывками, словно по невидимой линейке – равными мерами длины. Затаив дыхание, Орест Георгиевич ждал, когда, тронутые лучом, вспыхнут окна и двери, распахнувшись беззвучно, выпустят сероватые тени.

Луч, однако, ударил в купол Исаакиевского собора и, скользнув вниз, разрезал снежную пелену. То, что открылось глазам, было и вовсе необъяснимо: по Вознесенскому проспекту, стремясь к пустому пространству площади, шли три маленькие фигурки – почти неразличимые с его нынешней высоты. Снег, валивший хлопьями, облеплял их с ног до головы, так что Оресту вдруг показалось, будто их головы увенчаны высокими шапками. Прежде чем перейти к этапу интерпретации, он успел подумать: «Странно... Какие-то как будто восточные. Не то войлочные, не то меховые...»

На просторе площади гулял ветер. Хлопья вились над статуей, опоясанной фонарями. Каменный конь, вскидывая копыта, плясал под бронзовым всадником. Ветер разгонял снег, сметая его к далеким невидимым домам.

Перейдя дорогу, они очутились в сквере. Скамейки, расставленные по периметру, совсем занесло. Снежные сугробы подпирали кусты, щетинившиеся ветками.

– Я устала. Пожалуйста, давайте посидим. Да не бойтесь! Мы правда здесь жили... – Ксения махнула рукой. – Вы не представляете, как там хорошо, – она заговорила мечтательно. – Лестница и окошко на крышу. Мы всегда забирались...

– Куда? На крышу? – Чибис расчищал снег.

– Да нет, на чердак. Там тепло. Садись, рассказывали сказки, страшные... – блаженная улыбка ходила по Ксеньиным губам. – И лифт старый. Сетчатый, как у тебя...

– Эх, сейчас бы туда... – он ежился от холода.

– А ты возьми и представь! – Ксения села и зажмурилась. – Ну, получилось?

Чибис закрыл глаза и кивнул. Как будто и вправду увидел чердак и сетчатую шахту, похожую на змеиную чешую.

– В некотором царстве, в некотором государстве жил был огро-омный змей. Жил он на самой высокой горе, и прозвали его за это Горынычем. Страшно? – он открыл глаза и улыбнулся.

– Да, – Инна прижала руки к животу.

– А гора как называлась?

– Гора? – Чибис поерзал. – Вообще-то не гора, а высоты – Пулковские.

– Ага... – Инна отозвалась тихо, – а змей – не Змей, а трамвай.

– Да нет! Змей настоящий. Ну вот. Охранял он свои границы от самых Высот до Калинова моста.

– Может, до Калинкина? Там и башни есть – охранять удобно, – обеими руками Инна зажимала боль.

– Пожалуйста, сядь и не мешай, – попросила Ксения.

– Много молодецв ездило к мосту драться со Змеем, только никто из них не возвращался – ни пеший, ни конный. А вдоль по берегу лежали их кости – по колёно навалены.

– Кому по колёно – Змею? – Инна снова перебила.

– Кому ж еще?! – Чибис хихикнул. – Вот пришел однажды из далекой страны, из чужой державы Иван-царевич...

– А у царя была дочь – прекрасная царица, – Ксения подсказала с надеждой.

– Ага. И узнал царевич от случайных людей, что поведут ее Змею на съедение...

– Мне страшно, – сказала Инна.

– Так и должно быть, – Чибис радовался. – Вот приходит он к реке и видит: колышется перед ним вода. Закипели воды черные, и вылезли на сушу головы змеиные – чешуйчатые... Как лифты... – он улыбнулся.

– Замолчи, – Инна цедила сквозь зубы. – Вы оба... Ничего не знаете...

Чибис сбился и замолчал.

Ее глаза глядели вперед, выше заиндевелых кустов:

– И ты, и старуха... И твой отец... Все это – сказки... И змей. И ваша звезда...

– Ой! – Ксения запрокинула голову. – Глядите...

Над крышей «Астории» крестом, рассекающим небо, стояли два неподвижных луча.

– Что это? – Чибис смотрел опасно.

– Я знаю, – Ксения вскочила. – Это *оно*, облако... Смотрите, вон же... – она вглядывалась в рассеченное небо, зажимая варежкой рот. – Вставай, вставай, – тянула Чибиса. – Мы тоже... туда... должны...

Два луча, сойдясь в перекрестье, двигались к Исаакиевскому собору. Между ними стояло маленькое облако, словно пронзенное насквозь. Ангелы, державшие подступы к куполу, следили настороженно.

– Мы? Зачем?... – Чибис смотрел в небо. Маленькое облако вспыхивало, занимаясь по контуру.

– Это... Там... Вы... просто не знаете. Это – лучи. Звезда... – Ксения махнула рукой и побежала к Собору. Ее душа дрожала от счастья: всё собралось и сомкнулось. Сбылось, как в старинной книге: звезда, взошедшая во дни царя Ирода, встала над *местом*. Те, кто до

Елена Чиждова

шел, могли пасть к ее ногам и принести ей золото, ладан и смирну, пахнущую керосином...

Боль, родившаяся внизу живота, росла пульсирующими толчками. По белому насту, гулкому, как железная крыша, Инна шла к колоннаде: «Звезда... Это – Звезда...»

ВЕЛИ, ЧТОБЫ Я...

Багровые лепестки хрустели в основаниях. Снежное марево, полог огромной колыбели, качалось, укрывая площадь.

«Это он... он... Иисус», – ангел, сидящий над пустой могилой, забормотал чужим Ксеньиным голосом.

Уходя за край сознания, башня выпускала звездные грани – два сбереженных лепестка. Сознание, дрожавшее между сном и явью, теряло свои собственные слова.

ВЕЛИ... ЧТОБЫ... ОНО... ЧТОБЫ ОН... ДОЛЕТЕЛ...

Башня усмехнулась, обещая выполнить просьбу, вывернув ее наизнанку, – так, как привыкла выполнять все сокровенные желания, пришедшие из глубины веков.

– Под руки, под руки... Ой! Держи, держи...

Иннины пальцы были мокрыми. Глаза, заведенные под веки, дрожали чем-то белым. Скулы очерчивались неживой остротой.

– Мама... – прошептал Чибис.

– Что? – зубы стукнули. Ксения взялась за подбородок, сдерживая невыносимый стук. – Надо что-то... Ты должен... должен...

Чибис опустился на снег, подполз и ухватил за ноги:

– Не могу... Я не могу... Очень... тяжело.

Иннино пальто завернулось и вздернулось. На пустом месте, с которого ее стянули, чернело пятно.

– Что? Что это? – он спрашивал, не понимая.

Ксения сунула руку и нащупала мокроту.

– Где здесь больница? – она разглядывала свои пальцы.

– Там, – он мотнул головой. – На той стороне...

– Надо машину, – зубы не посмели стукнуть. – Вставай, выходи на дорогу.

Чибис выступил за кромку и пошел по слюдяной полосе.

Серая «Волга» замерла, взвизгнув тормозами. Водитель распахнул дверцу.

– Там... она... у нее сильно... кровь...

Водитель медлил, словно раздумывая.

– У меня есть... Рубль, – Чибис шарил в кармане.

Водитель перебил, не дослушав:

– Давай-ка вместе, с обеих сторон.

Огибая Александровский сад, серая «Волга» летела к Неве.

– Сейчас свернем. По набережной, – водитель обращался к Чибису. – На, – он вытянул из щитка черную луковицу, – прижми и дуй.

Чибис прижал и дунул. Попутная машина шарахнулась, освобождая дорогу. В громком шипении, как в непроницаемом облаке, серая «Волга» летела туда, где умерла его мать. Не отводя от губ шипящей луковицы, Чибис перегнулся через сиденье и заглянул в Иннино лицо. Оно было безжизненным и чистым, как бумажный лист.

Я ненавижу Великие города. Игралища, арены истории. Переезжая по необходимости, всегда выбирал самые невзрачные: центральная улица, застроенная трехэтажными домиками, стандартный набор кафе и магазинов, цепременный «Макдоналдс» – лишь бы не все эти статуи, химеры, грифоны, римские воины, безжизненные ангельские лики. Колеса по Европе, объезжал их кольцевыми дорогами, благо, в наши дни это возможно.

У маленьких городов своя история, но чтобы к ней приобщиться, надо пустить корни, завести знакомства. Старожилы, в чьей памяти осталось прошлое, должны признать вас своим. Анахорет вроде меня не имеет ни малейшего шанса – в лучшем случае с ним просто здороваются, а он кивает в ответ.

Прежде чем снять квартиру, я внимательно обхожу окрестные кварталы, чтобы исключить любые случайности – какой-нибудь фонтанчик, украшенный ангельской головкой, или барельеф на фасаде. Потом, все-

лившись, стараюсь не думать об этом, отрешиться от прежней жизни, но моей решимости хватает до следующего переезда, когда, припарковав машину перед табличкой с адресом, указанным в бумагах, я углубляюсь в боковые улочки, чтобы удостовериться: огонь, плававший под этим тиглем, давным-давно прогорел. В этом горшке, предназначенном для высушивания, плавления или обжига, не осталось веществ, обладающих безумными свойствами.

За окном серенькое утро. Те, кто спал, в этот час просыпаются, встают под душ, распахивают дверцы холодильников, поторапливают детей. Через час их дети сбегут по ступенькам, чтобы напоследок обернуться и махнуть рукой родителям, глядящим из окна. А вечером все возвратятся домой, и круг ежедневных забот замкнется семейным ужином, который исчезнет из памяти, влившись в круговорот дней...

Мы сидели в холодном и гулком вестибюле, надеясь, что кто-нибудь спустится и скажет: не бойтесь, всё обошлось. Но к нам вышла дежурная сестра и спросила номер ее телефона, а Ксения сказала: я знаю только адрес, они недавно переехали, телефона нет. Медсестра дала мне что-то, завернутое в бумагу. Я не разворачивал, просто положил в карман. А потом сказала: «Внематочная. Поздно, идите домой». Больше она ничего не сказала, а мы не решились спросить.

Обратно мы шли по набережной. «Почему ты сказала – они? Вы же тоже переехали?» Прежде чем сесть в автобус, Ксения ответила: «Какая разница? Все равно телефона нет».

Отец уже спал. Я разделся, постоял под его дверью и пошел к себе. Сидел, шептал это странное слово, не понимая его смысла, а потом вспомнил про сверток,

который отдала медсестра. Развернул и увидел мамину фотографию, ту самую, которую она украла. Смотрел и думал: «Похожи... Если не знать правду, можно подумать: одно лицо...»

И вдруг понял: всё кончилось, она идет по Васильевскому острову, и ветер поднимает ее косу, а она все идет и идет, пока не доходит до середины – примерно до 10-й линии, а дальше они идут вместе: она и моя мать.

Не знаю, как я это почувствовал. Говорят, такое бывает только с близнецами: когда один умирает, другой обязательно знает об этом, даже если находится на другом краю земли.

Я встал и подошел к окну. Стоял, ткнувшись лбом в холодное стекло, смотрел на двор, засыпанный снегом, и представлял себе дворников с лопатами: как они появятся утром и будут шаркать, расчищая дорожки, чтобы людям, которые проснутся, можно было пройти. А еще я думал о смерти – единственно важной вещи, о которой стоило думать, и тут только сообразил – с ужасающей ясностью, так что заложило уши: моя собственная жизнь кончилась. Всё, что случится, уже не имеет значения – что бы ни случилось, это будет чужая жизнь.

В школу я пришел во вторник. После уроков мы вышли вместе, и Ксения рассказала всё, что знала: и про оперу, которую так и не дослушала, и про книгу, и про кладбище, и про факел, чадивший из-за створки подвальной двери, и тогда я понял, что означает это странное слово. А еще я понял, что должен спасти отца.

Ксения мне не поверила, сказала: «Ты?! Не ври», – но я настаивал, говорил: всё началось еще тогда, когда Инна пришла, чтобы вернуть мамину фотографию, но она все равно не верила. А я сказал: «У меня есть доказательство». Мы стояли на ступенях между двумя сфинксами, и я рассказывал о своих знаках и о тайне

рождения, неотличимого от смерти, которую хотел разгадать. Говорил, что должен был попытаться – замкнуть эту цепь, разомкнувшуюся на моей матери. А она все равно не верила, и тогда я сказал: «Пошли».

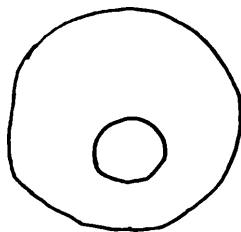
Отца дома не было. Нам никто не мог помешать. Я развернул шершавый ватманский лист и показал ей знаки: череду солнечных дисков – не то садящихся, не то встающих из-за горизонта – и маленькую гирьку, лежащую на материнских руках.

«Ну и что? И что это доказывает?»

На этот вопрос у меня не было ответа. Я свернул лист и подошел к окну. Стоял и думал о брате, который так и не родился: спасая отца, я должен назвать его своим сыном.

Ксения хотела уйти, сказала: «Дурак. Все равно я тебе не верю. Ничего ты не доказал».

А потом *это* случилось само собой. Моя рука, упрямая ослица, которую будто бы снова выпустили на волю, поднялась и вывела его на стекле. Мой последний тайный знак. Очень простой, проще, чем все остальные: ни коровьих рогов, ни крыльев, оперяющих с боков. Ведь мой брат и мой сын уже никогда не родится, а значит, его матери не нужны ни руки, ни крылья, чтобы его удержать. Там, куда она ушла, они все равно вместе – две окружности: одна побольше, другая поменьше. Та, что поменьше, навсегда осталась внутри.



Больше мы не сказали ни слова, но на этот раз Ксения мне поверила, во всяком случае, потом, когда следователь стал задавать вопросы, наши показания совпали. Нас вызывали несколько раз, но дело так и не открыли: по закону мы считались несовершеннолетними, а значит, во всем, что случилось, не было состава преступления. Это мне объяснил следователь. А еще он сказал: «Живи, парень. Считай, тебе крупно повезло». Я думал, сообщат в школу, но они не сообщили, может быть, потому что у нас были разные школы: она училась в математической на Васильевском, а мы с Ксенией в английской – по другую сторону Невы.

О том, что я взял вину на себя, отец узнал сразу – меня допрашивали в его присутствии. Мне показалось, мое решение он принял равнодушно, но я всё равно верил, что поступаю правильно. Потом я еще долго надеялся, думал, он сам заговорит со мной об этом, но отец молчал. С ним творилось что-то неладное: приходя с работы, он запирался у себя в кабинете, писал какие-то формулы. Я выходил из комнаты, стоял под его дверью. Отец ходил из угла в угол и бормотал, что ему не хватает времени, а еще – о слабом рабском уме. По утрам из лаборатории тянуло гарью.

К весне Павел Александрович уехал в командировку. Обратно он вернулся через год – я уже заканчивал школу. Заходил к нам. Сначала редко, потом всё чаще и чаще, делал отцу уколы. Однажды с ним пришла Светлана. Они сидели на кухне, пили чай. Отец жаловался на посторонние запахи, говорил: всё пропахло керосином, – и нюхал руки. К тому времени он уже ушел с работы. Запирая за ними дверь, я слышал «Боже мой», произнесенное высоким ломким голосом.

Вечером Павел позвонил. Я хотел позвать отца, но он сказал «не надо», а потом спросил про посторонние

запахи: давно ли? Я ответил: давно, я уже привык. И тогда он сказал: «Всё. Дома не справиться. Дальше тянуть нельзя».

Из больницы отец не вышел. Я навещал его. Отец требовал книг. Я рылся в каталогах, но под именами авторов, значившихся в его списках, стояли другие названия, словно в мире, куда погружалось его сознание, они писали совсем другие книги. Я пытался объяснить, говорил: здесь какая-то ошибка, – но отец не слушал и всё повторял, что во всем виноват я. Если бы не я, он давно бы закончил свою работу, и рисовал картины будущего, в котором вещество – его главное и великое открытие – заработает в полную силу.

Это вещество возвращало к жизни мертвых, но главное, на чем отец особенно настаивал, – могло остановить окончательный распад Империи, потому что эта задача требует создания *нового человека*, не умеющего отличать любовь от ненависти, рождение от смерти, добро от зла. Шептал о *ветхих людях*, которых необходимо подвергнуть специальной обработке, в противном случае цивилизация, построенная на крови бесчисленных жертв, погибнет окончательно и безвозвратно.

Я слушал и думал о том, что в бумагах, на которые ссылался следователь, тоже говорилось о кровотоке, несовместимом с жизнью.

Однажды я рассказал ему про старика. Мне показалось, отец слушал с интересом, в особенности, когда я заговорил про одновременные эпохи. На всякий случай я спросил: «Ты понимаешь?» – а он кивнул и ответил, что у этого закона есть аналогия: зародыш, пребывающий в чреве матери, по мере своего развития повторяет все животные формы. К примеру, на первых порах дышит жабрами. Тем самым, прежде чем начать свою личную историю, становится современником всех про-

шлых жизненных форм. Эти животные формы – земноводные и пресмыкающиеся, насекомые и насекомоядные, рыбы и птицы – видят в нем своего потомка, потому что он и есть их *одновременный потомок*, которому почастливилось родиться на свет человеком.

Не помню, в какой связи я произнес слово *интерпретация*. Скорее всего, когда рассказывал о волхвах. Или о каменщиках, сохранивших свою великую тайну. Отец необычайно оживился, сказал, что в нашей истории интерпретация – важнейший этап. Но все-таки – второй. На первом испытуемый накапливает непосредственные впечатления, которые зависят от его внимательности, а также разрешающей способности зрения, осязания и слуха. А потом заговорил о *черном ящике*, вступающем в дело на самой последней ступени. Якобы он и принимает окончательное решение: если интерпретация оказывается ложной, система отсылает нас обратно – в начало игры. В этом случае приходится все начинать заново.

Конечно, я ничего не понял, но не стал переспрашивать. Все эти этапы, игры, ступени казались порождениями меркнувшего ума. Стараясь его отвлечь, я заговорил о библиотеке, собранной стариком. О стеллажах, пущенных поперек комнаты, которые видел мельком, пока шел на кухню. Своей цели я добился: казалось, отец забыл о ящике, во всяком случае, сосредоточился на старике: «И где он теперь?» Я развел руками. Больничная палата – не самое подходящее место для разговоров о смерти. Даже если речь идет о чужом старике. «А ты не знаешь, – отец взял стакан и налил себе воды. У него была припасена специальная банка, стоявшая на тумбочке. По утрам он сам ходил на кухню к титану с кипяченой водой. – Куда делась его библиотека?»

Честно говоря, я решил, что этот вопрос он задал, как говорится, в личных целях и теперь попросит связаться с Павлом – чтобы тот навел справки и выяснил всё доподлинно, – а потом будет требовать от меня стариковских книг. Такая перспектива мне не улыбалась, и я решил завершить тему – раз и навсегда: «Соседи разворовали». Мне казалось, он расстроится, но отец заметно обрадовался, а потом допил свою кипяченую воду и сказал: «Не надо. Мне больше не надо книг».

Я кивнул, хотя и не поверил. Думал: минутное настроение. Пройдет время, и он снова возьмется за свое: будет мучить меня заказами, в которых всё перепутано – и названия, и имена авторов. Но я ошибся.

В следующий раз я пришел, как обычно, через неделю. Он пожаловался на боль в спине: дескать, тяжело нагибаться. «Значит, не нагибайся», – ляпнул я первое, что пришло в голову – в сущности, ничего особенного, но он ужасно раскипятился. Ходил по палате и всё повторял: «Что значит – не нагибайся?.. Это ты можешь не нагибаться...» В конце концов мне надоело, и я спросил: «А ты?»

«Я? – он остановился и посмотрел на меня с таким горестным недоумением, что заньло сердце. – Как не нагибаться? Мне приходится смотреть сверху, – но потом успокоился и заговорил про старика. Видимо, думал о нем всю неделю. – А еще? О чем вы с ним разговаривали?»

Все еще чувствуя сердце, я заговорил о сокровенных знаниях, обретаемых в Духе и объединяющих человечество: всех, кто рождается и умирает в разные эпохи, но в каком-то смысле стоит у одного окна. «А еще старик говорил, что новая истина не возникает на пустом месте. На пустом рождается ложь».

Отец сидел, сложив на коленях руки, и слушал внимательно, а потом вдруг сказал: «Неужели ты не понял?»

Это – страх. – И начал рассказывать про старика, будто они и вправду были знакомы: – Давно, скорее всего, в юности, твоего старика что-то напугало, вот он и погрузился в свою собственную цивилизацию, составленную из книг». – «Собственную? Ты действительно полагаешь?.. – я не закончил вопроса, отец перебил меня, энергично кивнув. Пришлось начинать заново. – Ты хочешь сказать, что на самом деле цивилизаций две?» На этот раз я сформулировал точно, во всяком случае, он охотно развил мою формулировку: «Вот именно: большая и маленькая. Чтобы скрыться во внутренней, надо пройти сквозь ту, которая снаружи».

Он и раньше говорил странные вещи. Я привык – относился к этому как к неизбежности, связанной с болезнью. Все-таки мы разговаривали не дома, на кухне, а в палате психиатрической клиники. Когда-то я даже советовался с лечащим врачом: что делать в подобных случаях? «Не перебивать: выскажется и успокоится. Задайте пару вопросов, отнеситесь как к игре. А потом попытайтесь его отвлечь, перевести разговор на другую тему». К этому рецепту я прибегал довольно часто и, надо сказать, успешно. Обычно отец успокаивался, его речи становились яснее.

«А если не пройдешь?» – я спросил, имея в виду, что делать тому, кто хочет замкнуться во внутренней цивилизации, но не знает, как преодолеть внешнюю, и понял: игры не получается. Мы оба говорим серьезно. А еще я поймал себя на том, что безумные рассуждения отца кажутся мне знакомыми.

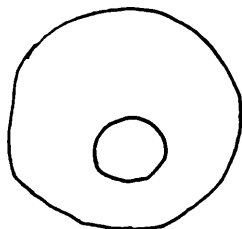
Отец улыбнулся: «Значит, не воскреснешь», – с таким видом, будто ответил не взрослому сыну, а маленькому мальчику, и даже погрозил пальцем: «Твой старик большой путаник... Надо же: мифы, переходящие от цивилизации к цивилизации...»

«Полагаешь, мифы – пустое? Его теория не работает?»

«Почему же... – он пожевал губами, – работает. Еще как работает... Но если речь о гибели нашей цивилизации, всё это лишнее. Не стоит умножать сущностей, чтобы доказать такую очевиднейшую вещь...»

В тот вечер я долго не мог заснуть, слонялся по квартире, встречаясь глазами с портретами, и обдумывал слова отца. Мне представлялся город, опоясанный крепостными стенами. По дороге, мощеной лазоревыми плитами, шли земные купцы. Сквозь широкие внешние ворота они выходили на площадь и раскладывали товары. В обратный путь караваны пускались на легке. Шли мимо внутренней стены, за которую им нет доступа, и, поднося ладони к бровям, заглядывались на очертания башни, опоясанной дорожками строителей, из века в век совершающих свое терпеливое восхождение.

Я услышал цокот копыт и увидел ослика, бредущего по глиняным плитам, и в тот же миг, будто всё сошлось и соединилось, вспомнил две окружности – мой последний и тайный знак. Это они, две цивилизации – внутренняя и внешняя, только в отцовской интерпретации: мы все, родившиеся в СССР, входили в широкие ворота, но далеко не каждый обнаруживал маленькую дверцу во внутренней стене.



Я сидел, размышляя о старике, которого отец назвал путаником, а потом достал бумагу и написал первую фразу, еще не зная, что из этого получится: «Грузчики задвинули в угол шкаф и ушли навсегда...» Писал и думал: закончу – покажу отцу. Пусть прочтет мою интерпретацию. А вдруг она окажется правильной, и нам, персонажам этой истории, больше не придется возвращаться в начало игры.

Для работы я урывал каждую свободную минуту, но ничего не складывалось, будто черный ящик, неподконтрольный пользователю, включал блокировку. Так было, пока я не понял свою ошибку: черный ящик ни при чем. Я сам вогнал себя в рамки математической логики, пытаюсь отделить истинное от ложного, явь от сна. Словно я не персонаж этой странной истории, а судья, оглядывающий ее сверху. Осознав это, я начал заново. Карабкался по трубе, сбивая пальцы, а они, другие персонажи, стояли, запрокинув головы – дожидаясь, когда я доберусь до конца.

Мне понадобилось несколько лет. В течение этого срока я снова и снова терзал свою память, сопоставляя разрозненные свидетельства, но окончательная картина сложилась в девяносто третьем, незадолго до смерти отца.

В те годы он пристрастился к газетам. По утрам я спускался в киоск, покупал и вырезал самое интересное: отец очень ослаб и не мог читать подряд. Вряд ли он осилил бы мои записки, и вообще, мне не хотелось его тревожить, погружая в прошлое. Я думал: пусть живет настоящим.

В последний раз мы виделись в октябре. В тот день я немного опоздал. Отец ждал меня. Сидел в вестибюле, сложив на коленях руки. Я извинился, сославшись на автобусы, которые ходят из рук вон плохо. Мы пошли

в палату, я открыл портфель и вынул кекс – датский, из гуманитарной помощи. Нам выдали на работе. Думал, он обрадуется, но отец кивнул и положил на тумбочку, прямо на газетные вырезки. Сверху лежала статья одного известного экономиста. В ней говорилось о капиталистическом способе производства, о новых законах, регулирующих права собственности. Ссылаясь на изменения, произошедшие в нашем обществе, автор рассуждал о том, что советская цивилизация кончилась.

«Прочел? И как тебе?» – мне статья понравилась, но хотелось услышать его мнение. Прежде чем ответить, он подбил подушку. Я думал: собирается с мыслями. «Знаешь, я немножко прилягу, – лег, укрывшись байковым одеялом и вдруг сказал, что не жалеет о своей жизни, в которой так и не сумел совершить великого открытия, а потом, шепотом, так, что я едва расслышал: «Способ производства ни при чем. Его можно изменить, но *эта* цивилизация никогда не кончится. Таких, как я, у *них* было много. Боюсь, это вещество открыли без меня».

Об отъезде я задумался после его смерти, но окончательное решение принял в девяносто шестом.

Подготовка заняла некоторое время: надо было продать квартиру и, главное, распорядиться книгами. Сперва я намеревался продать, во всяком случае, редкие экземпляры, оставшиеся от деда. А потом решил передать Библиотеке Академии наук. Раз уж стариковские книги исчезли, пусть останутся мои. Может, и пригодятся. Ведь если отец прав и советская цивилизация никогда не кончится, кто-то, чьих имен я никогда не узнаю, проникнет во внутренний круг. Чтобы провести свою жизнь вдали от *их* побед и свершений, которые сами по себе никогда ничего не доказывали, а значит, не докажут и впредь. В архив БАНа я передал всё, что осталось от нашего прошлого: бумаги, старые письма,

рукопись моего деда и наш семейный альбом. Мне хотелось вложить в него Иннину фотографию, на которой она так похожа на мою мать, хотя мы – не близнецы. Но та фотография исчезла: сгорела вместе с моим дедом, в одном тазу.

С Ксенией я не виделся все эти годы. Не знаю, что на меня нашло, но мне захотелось попрощаться. Ведь кроме нее у меня никого не было.

В Пюхтицы я приехал без звонка, не знал, не имел понятия, можно ли туда звонить. Обратился к какой-то женщине, объяснил, попросил, чтобы ее вызвали.

Мне показалось, она не очень-то обрадовалась, но постаралась не подать виду. Мы сидели в монастырском дворе, и она рассказывала о своей жизни: после школы вышла замуж, родился сын. Первое время она за него боялась, в их семье мальчики всегда умирали, но, слава богу, сын оказался здоровым и сильным, а потом вырос и стал чужим. Про мужа она больше не упоминала, а я не стал спрашивать.

Она тоже не спрашивала. Я сам рассказал про отца. О том, как его загнали в угол, о болезни, которая свела в могилу. Она слушала и кивала, а потом вдруг сказала: «В конечном счете жизнь справедлива».

Потом я еще долго обдумывал ее слова, пытался понять, чью жизнь она имела в виду: мою, моего отца или свою собственную? Может быть, хотела сказать, что мой отец сам сделал свой выбор. Сказал им: да.

Но тогда я смотрел на ее восковые губы и не находил слов, чтобы объяснить ей то, что давным-давно понял: он ушел от них, скрылся в свое безумие, похожее на внутреннюю стену, предпочел заточить себя в больничной палате, лишь бы не дожить до того дня, когда его голова родит окончательную формулу, способную раз и навсегда покончить с *ветхим человеком*.

В моей сумке лежала рукопись, отпечатанная на отцовской машинке, – эти разрозненные листки. Я надеялся, что Ксения заинтересуется, захочет узнать правду о нашем прошлом и, может статься, оставит рукопись у себя. Мне не хотелось тащить ее через границу. Но потом решил: незачем. Женщина, сидящая напротив, умерла для мира, ушла в *другое прошлое*, далекое от хода истории, потому что ничего этого в нем нет: ни одновременных эпох, ни Духа, являющегося судить империи, ни перекрестка, на котором наша цивилизация сошла с общей мировой дороги, чтобы двинуться по своему собственному гибельному пути.

Кто-то окликнул ее, назвав матушкой Капитолиной. И я вдруг подумал: раньше она была *страницей*. Теперь сменила имя. Ее новое имя происходит от названия главного римского холма.

Мы стали прощаться. Я думал, она просто уйдет, но она вдруг спросила: «Ты не знаешь, где ее фотография?» Я смотрел в поблекшие глаза и думал о другой девочке – о том, что мне не нужно никакой фотографии, чтобы видеть ее лицо. «Исчезла». Ксения кивнула: «Человек, яко трава дни его», – а еще она сказала, что помнит про Инну и молится за ее грешную душу, и тогда я понял, почему тетя Лиля, собираясь на кладбище, позвала не племянницу, а чужую девочку. А еще я понял: мне не надо было приезжать.

«Как ты меня нашел?»

Павла Александровича упоминать не хотелось: ведь это он поднял свои связи. Я ответил первое, что пришло в голову: встретил нашего одноклассника, случайно, и даже назвал фамилию. Ксения улыбнулась и махнула рукой.

Обратно я ехал на автобусе, сидел и думал: она всегда была простодушной и всем верила на слово.

А еще я думал про Павла Александровича и Светлану. К ним, персонажам нашей общей истории, у меня сложилось двойственное отношение: в каком-то смысле, они его предали. Но я помнил и другое: отец и сам искал своей гибели. А еще они мне помогали, первое время, когда я учился в институте: присылали деньги, отрывая от своего семейного бюджета. Так что я им – не судья...

Я смотрю на экран монитора. Господи, как же я устал...

Мне осталось последнее усилие: создать электронный адрес и отправить на него файл. Я подвожу курсор и выполняю необходимые операции. Теперь в моем компьютере его можно уничтожить: *OREST I SIN – delete.*

Что-то давит за грудиной. Я чувствую свое сердце, но меня это не пугает: ни боль, ни шум мотора, работающего в голове. Теперь, когда я стою на пороге смерти, а она сияет нетленной молодостью, мне легко в этом признаться: она была смыслом и болью моей жизни, в сущности, так и не прожитой. Наши знаки стоят рядом, и этому уже никто не может помешать.

Борясь с подступающей слабостью, я иду к камину. Прежде чем всё наконец закончится, я должен увидеть, как эти странички будут корчиться, превращаясь в пепел.

У меня кружится голова. Пора отвлечься, переменить тему.

Фирма, на которую я работаю, переживает не лучшие времена. Если общая ситуация не изменится, а на это надежды мало, вскоре мне снова предстоит переезд. Агент обещал не затягивать с бумагами: по его расчетам, надо ориентироваться на Рождество. Городок, где я поселюсь и, похоже, проведу свои последние годы, находится на границе Сербии с Хорватией – с хорватской

стороны. Лет двадцать назад там разворачивались военные действия, но видимых разрушений не осталось, во всяком случае, так говорит мой агент. На будущий год Хорватия вольется в единую Европу. Если доживу, окажусь не просто на границе двух стран. Там, километрах в тридцати, пройдет разделительная полоса между двумя цивилизациями – Европой и Евразией. Об этом говорилось в той самой книге, которую принес Павел Александрович, но отец так и не успел прочитать...

Я слышу, как *оно* подступает, готовясь хлынуть в сердце...

Надо переключиться на что-нибудь хорошее. Например, подумать о европейских дорогах. Что может быть лучше современных дорог?

Когда мчишься по автобану, всё вокруг кажется одинаковым: дорожные знаки, понятные любому автомобилисту, электронные табло, тоннели, развязки, заправки. Время от времени я останавливаюсь, чтобы отдохнуть в придорожном кафе. Сажу, попивая кофе, прислушиваясь к чужим голосам: люди, не похожие на строителей Вавилонской башни, говорят на разных языках. Скорее, они похожи друг на друга – и мне это нравится. Сколько раз, выезжая с очередной заправки, думал: жаль, что я не такой, как они.

Машина набирает скорость. По сторонам мелькают дома, покрытые черепичными крышами. Кажется, стоит свернуть с дороги, и начнется тихая жизнь. Уютная, обособленная от времени...

Говорят, что Дух, рождающий великие цивилизации, давным-давно покинул Европу. Возможно, в этом есть доля истины, но горе-волхв, пришедший с Востока, не может об этом судить.

Я опускаюсь в кресло и вытягиваю ноги. Смотрю на огонь, в котором сгорает мое прошлое, и слышу голос

Елена Чижова

отца: мой отец говорит о нашей цивилизации, о том, что она никуда не исчезла, потому что мифы, на которых она зиждется, стали для нее единственной правдой. Мы, рожденные в СССР, можем иронизировать сколько угодно – ведь и римляне подсмеивались над своими богами, но все-таки обращали к ним свои просьбы.

Я усмехаюсь жесткими губами: окажись на моем месте древний римлянин, он попросил бы здоровое сердце, ведь его Рим вечен и рано или поздно воскреснет – надо только дожить.

Мое окно покрыто пылью, но даже сквозь пыльные стекла я, кажется, вижу другой город, в котором никогда не был, и Красную Звезду. Она возносится над городом и миром, будто пришла навсегда и навсегда встала над местом.

Пусть исполнит мое последнее желание. Сами собой мои губы складываются в слова:

Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...

**ДАЖЕ МЕРТВЫМ Я НЕ ХОЧУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
К ИРОДУ.**

Вели, чтобы меня похоронили здесь...

ВОЛХВЫ В ЦАРСТВЕ ИРОДА

Жанр, в котором написан «Орест и сын», определить не просто. В первую очередь, этот роман – историософский. Осмыслить феномен СССР в тысячелетней исторической перспективе – таков был авторский замысел, поражающий своей дерзостью. Это первый, насколько можно судить, опыт такого рода в современной российской прозе.

Роман «Орест и сын» можно рассматривать и как трагедию, точнее, – развернутую метафору трагической советской эпохи. В одном из своих интервью Елена Чижова говорила о том, что в ее глазах трагизм советского времени определяется прежде всего явлением Левиафана – советского государства, вторгающегося в жизнь едва ли не каждого человека, перемалывающего и ломающего людские судьбы. Это, по мнению Чижовой, и есть трагизм в античном смысле, когда личность противостоит Року, а герой – самовластным и жестоким языческим богам.

Что стоит за этими словами? Каким образом связывает автор события XX века с древними, казалось бы, канувшими в прошлое мифами?

Место и время действия романа определены, на первый взгляд, точно: Ленинград, конец 1974 – начало 1975 года. Однако, углубляясь в повествование, мы понимаем, что эта датировка условна. Следуя за автором, мы постоянно выскальзываем из 1970-х годов, попадая то в древний Египет, то в эпоху раннего христианства, то в сталинский Большой Террор, то в постсоветское время, и это совмещение временных пластов определяет собой и композицию, и основной ракурс книги: советский период воспринимается и оценивается Еленой Чижовой в контексте всей мировой истории.

Отсылки к событиям XX века автор дает «впрямую»: странички дневника, написанные отцом Ореста Георгиевича; собственная рукопись его сына; воспоминания Таракана о событиях весны 1953 года, когда умер Сталин. А вот присутствие в романе великих цивилизаций прошлого обеспечивается косвенно – через обращение к мифологическим моделям, в первую очередь, – через говорящие имена трех подростков – главных персонажей романа.

Чиби́с – прозвище, которое Антон, сын Ореста, получил в школе, восходит не только к известной детской песенке, но и невольно отождествляется с ибисом, священной птицей в древнеегипетской традиции. Такие же «напоминания» таят в себе имена и двух его сверстниц, героинь романа: Инна вызывает ассоциации с древневосточной Инанной (Иштар), богиней плодородия и войны (она же – богиня плотской любви и звезда восхода), а Ксения, олицетворяющая в романе ближневосточную цивилизацию, в то же время напоминает о Ксении Блаженной, православной святой, особо чтимой в Санкт-Петербурге. Впрочем, речь идет не о реинкарнации или переселении душ; между персонажами «Ореста» и их дальними прототипами нет прямой связи.

Эти сближения, в совокупности с другими, прямыми или косвенными отсылками к древней истории, создают мифологический фон романа, отражающий долгий путь человечества к Истине. В романе этот процесс передается метафорой, глубоко поразившей Чибиса: «Все мы <...> стоим у одного окна. В древности оно было совсем пыльным, но каждая следующая цивилизация накапливала новые духовные знания и в этом смысле его немного промывала...»

«Каждая следующая» – кроме советской! Система советского жизнеустройства – оглядываясь назад из нынешнего времени, мы всё чаще воспринимаем ее как некую особую «цивилизацию», возникшую на огромной территории бывшей Российской империи (а позднее и других стран), – не просто вела свой отсчет «с нуля», но и с самого начала развивалась как бы «наперекор» остальному миру, игнорируя, а чаще воинственно отвергая общечеловеческий духовный опыт.

1917 год действительно оказался событием всемирно-исторического значения – роковым рубежом, когда ось, соединяющая времена, явственно переломилась. Традициям и устоям, которые человечество накапливало на протяжении веков, переосмысливая и закрепляя их различными способами (в частности, через мифотворчество), «страна победившего социализма» противопоставила свой собственный революционный миф: новую веру, новую мораль, нового человека, новую «общность людей», новое летоисчисление и, наконец, новое будущее: коммунизм. Другими словами, советская цивилизация («самое необыкновенное и грозное явление XX века», по определению Андрея Синявского) оказалась цивилизацией наизнанку, вознамерившейся утвердиться в истории вопреки созидательному опыту «ветхого» человечества.

* * *

К середине семидесятых годов Советский Союз вступил в новый период – позднее он получит название Застоя. Снаружи все выглядело спокойно. Газеты и радио бодро рапортовали о «трудовых победах», вяло поругивали «американский империализм» и вещали о «массовых выступлениях трудящихся», ведущих борьбу за «мир во всем мире». Железный Занавес надежно отделял страну от враждебного Запада. Охраняемая армией, спецслужбами и мощным пропагандистским аппаратом, Система казалась воистину несокрушимой.

Однако ощущение неудовлетворенности и неустойчивости владело умами. Все более очевидной становилась Большая Ложь, исходящая от дряхлеющей власти. Это ощущение лживой, неполноценной жизни рождало неуправляемую тягу к истине. Мало кто верил в надуманную схему исторического процесса, венцом которого принято было считать советское государство, уверенно шагающее к коммунизму. Людям хотелось знать, что было «до 1917 года», осмыслить настоящее, заглянуть по ту сторону Занавеса.

С другой стороны, именно 1970-е годы оказались на редкость спокойными. Нараставшее в обществе недовольство перестало быть, как некогда, открытым противостоянием сторонников и противников советской власти. Прозорливые люди по обе стороны баррикад ясно сознавали, что система, построенная в сталинские годы, медленно, но неуклонно движется в тупик.

В интеллигентских кругах широко циркулировала неофициальная литература, оживленно обсуждались *отъезды*, разрешенные с начала семидесятых; появились новые слова: *самиздат*, *отказник*, *контора*... Яркой приметой эпохи была борьба с инакомыслием и «диссидентами». И хотя на открытый протест отваживались лишь отдельные смельчаки, в глубинах общества всё более нарастало брожение, проникавшее

со временем в различные социальные слои (в том числе и в государственные, и даже охранительные структуры).

Инакомыслие затрагивало не только противников, но и охранителей Системы. Многие из них – те, кто по своему положению в советской иерархии был допущен в области, недоступные для большинства граждан, и располагал более или менее достоверной информацией, – ощущали себя, если вспомнить Оруэлла, членами некоей Внутренней партии, куда заказан доступ «профанам».

Не отвергая, а зачастую и применяя откровенно репрессивные методы в отношении инакомыслящих «интеллигентов», эти группы (напоминающие масонские или близкие к ним) и сами могли считать себя диссидентскими по отношению к догматической идеологии. Правда, на этом уровне вопрос ставился совершенно иначе: речь шла не о разрушении, а о спасении Системы, о продолжении Великого Эксперимента, тем более что прогресс в различных научных областях – медицине, биологии, химии – открывал дорогу и альтернативным решениям, преследующим, в частности, утопическую цель: изменение психики и генетики советского человека, иначе – «улучшение» человеческой природы, полное обновление его «кода».

Интерес к человеческому сознанию и возможностям его программирования советская наука проявляла еще в 1920-е годы (так, в 1925 году была создана лаборатория по изучению мозга Ленина – на ее основе сформируется позднее московский Институт мозга), но с течением времени это направление, похоже, еще более активизировалось, превратившись в одно из важнейших направлений работы «внутренних структур». Эти эксперименты проводились в учреждениях различной направленности (в Ленинграде, например, специальными исследованиями такого рода занимался НИИ особо чистых биопрепаратов).

Однако на поверхность «болота» эта информация, естественно, не проникала. Страна продолжала жить в полном

неведении, полагая, что великая империя СССР, занимающая одну шестую часть суши и осененная красными звездами Кремля, – непобедима и бессмертна.

Неотъемлемой частью советского повседневного быта становится телевидение. После утомительного трудового дня советские люди усаживались перед экраном, чтобы посмотреть последние новости. Это был своего рода ритуал, принятый во многих семьях. Новости имели название (сохранившееся и до наших дней) – «Время». Выплывала башня, увенчанная лепестками кремлевской звезды, стремительно взлетал спутник (символ поздней советской эпохи), и два строгих диктора, мужчина и женщина, по очереди произносили слова: «Здравствуйте, товарищи. Вы смотрите информационную программу “Время”».

О том, что такое советская цивилизация и в чем заключается сокровенный смысл эпохи, выпавшей на их долю, рассуждают персонажи романа: инженер-химик, носящий древнегреческое имя Орест; его сын Чибис, чьи разрозненные мемуарные записи и составляют книгу; доктор Строматовский, возглавляющий некую «ложу», участники которой пытаются найти способ спасения СССР как цивилизационной системы; и, наконец, философ-книголюб Матвей Платонович Тетерятников – именно в мозгу этого визионера и путаника, чей странный, удивительный дар соприроден талантам русских гениев (можно вспомнить, например, Николая Федорова), складывается оригинальная теория, позволяющая по-новому взглянуть на ход мировой истории.

* * *

Уже в древние времена, рассуждает Тетерятников, люди накапливали знания и пытались приблизиться к истине. Одна эпоха сменяла другую, но в каждой великой цивилизации присутствовал Дух, помогавший людям отделить лю-

бовь от ненависти, добро от зла. Духовный опыт, накопленный поколениями, отражался в мифах. «Мифы объединяют человечество, – объясняет Тетерятников сыну Ореста, – мы рождаемся и умираем в разные исторические эпохи, однако в духовном смысле движемся одной дорогой».

Нынешняя (христианская) цивилизация черпала из многих источников. Размышляя об этом, Тетерятников выделяет главные: Египет, Вавилон, Иудею. По одной из легенд, на которую и ссылается Матвей Платонович, именно из этих областей тогдашней ойкумены в Вифлеем явились три мудреца и мага (традиция именует их волхвами), чтобы поклониться Младенцу и возвестить миру о рождении новой Истины – Христа.

Восточная звезда, которая вела волхвов, «остановилась над *местом*, где был Младенец». Наступил великий момент, определивший развитие европейской цивилизации на многие века. Вифлеемская звезда, воссиявшая над миром, свидетельствовала о наступлении новой эры, построенной на основаниях Любви и Добра. Это евангельское предание – своего рода осёлок, на котором, как видится Тетерятникову, проверяется истинное величие той или иной эпохи.

Явление в мир Сына Человеческого исполнилось, по слову апостола Павла, когда «пришла полнота времени». Насыщенность «временем», то есть духовным содержанием, определяет сущность и смысл каждой цивилизации. С этой точки зрения история российской страны не раз вызывала сомнения. Наиболее яркий пример – Чаадаев, скорбевший, как известно, о том, что Россия отклонилась от магистрального пути, по которому движется просвещенное человечество («Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации, – сказано в его первом «Философическом письме», – состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах <...> Мы стоим как бы вне времени...»). Однако Чаадаев жил и мыслил в христианской стране. Тетерятникову

же довелось прожить жизнь в стране воинствующего атеизма, громогласно объявившей себя великой, но утратившей связь с воистину великими цивилизациями, прежде всего – иудео-христианской. В историческом пространстве, где нет Любви и Добра, нет и «полноты времени». Советская цивилизация предстает в романе как эпоха безвременья, спасти которую способно лишь Чудо. Именно на Чудо и надеется Тетерятников, размышляя о судьбах советской империи, выпавшей из потока мировой преемственности. Народы, отринувшие духовный опыт предшественников, остаются, по убеждению Тетерятникова, на обочине истории.

Для шестнадцатилетнего подростка эти рассуждения становятся подлинным откровением – современный мир открывается ему в новом свете («Чибис не догадывался, что слова этого безумца перевернут его жизнь»).

* * *

В центре повествования – судьба трех поколений Чибисовой семьи. Каждый представитель одного поколения несет в себе зерно исторических заблуждений своей эпохи, но и свой собственный, индивидуальный грех.

Дед, причастный к созданию кремлевской звезды; отец, вообразивший себя предателем своего отца, однако несущий в своей душе и другой – отнюдь не надуманный – грех: нежелание взять на себя ответственность за гибель Инны; наконец, Чибис, упрекающий себя в трусости, которая, как ему кажется, и привела к смерти этой удивительной девочки. Вся эта череда заблуждений и грехов – личных и исторических – оборачивается в конечном итоге гибелью рода (Чибис – последний его представитель).

Тема «гибели рода» соотнесена не только с этой семьей, но и со всеми его персонажами: все они как бы распределены по разным уровням. Верхний, совпадающий с поколени-

ем «дедов», образуют герои, чья жизнь отмечена чертами своеобразного «миссионерства»: Матвей Платонович Тетерятников – хранитель знаний «внутренней цивилизации», синтезирующей мировой опыт; Алик Иванова – непримиримая хранительница исторической памяти, чье имя перекликается с именем Алект, одной из Эриний. К этому же уровню можно отнести и отца Ореста Георгиевича, создателя кремлевских звезд, и доктора Строматовского.

Здесь же, правда, с существенными оговорками, находится и Таракан, открывающий Чибису правду о смерти его деда. Неслучайно именно он и Алик Иванова, живущие на одном этаже в соседних квартирах, символически провожают в последний путь погибших в советских застенках, сначала разделяя их на две группы («палачей» и «жертв»), а потом – в знак смирения перед лицом всепобеждающей смерти – сжигая в одном тазу фотографии из их личных дел. Предлагая этот «выход», автор словно бы доводит до разрешения глубинный конфликт отечественной истории, обозначенный еще в романе «Лавра»: посмертное примирение «убийц» и «убитых» возможно, но прежде, чем это случится, все они должны пройти через суд истории, который окончательно утвердит их непримиримое и неотменяемое различие.

На среднем уровне, совпадающем с поколением «отцов», находятся Орест Георгиевич, его друг Павел Александрович, Светлана и хозяин «нехорошей квартиры», которого Алик Иванова называет «сыном людоеда».

Низший уровень составляют «деклассированные элементы», нашедшие себе приют на Новодевичьем кладбище: Зарезка и Лошадиный. В контексте романа они представляют собой «народ», вернее, ту его часть, что не желает становиться «советским народом». К ним примыкает и тетя Лиля, вовлекшая Ксению в пространство разоренного кладбища.

Кладбищенские сцены, связанные именно с «народным» пластом, заставляют вспомнить о русской балаганной

драме, в частности, о фольклорных пьесах «Царь Максимилиан» и «Царь Ирод», генетически связанных с городской «низовой» культурой.

Ни одного из героев нельзя причислить к той особой категории, которую принято было определять формулой «простой советский человек». Ибо каждый из героев романа – неважно, на каком уровне, – несет в себе некую «правду», которую он отстаивает. Таковы не только «условно положительные» персонажи вроде Тетерятникова, Алико Ивановны или самого Ореста, но и те, что находятся по другую сторону: Павел Александрович, друг Ореста, тесно связанный с «конторой»; хозяин квартиры, где собираются члены «масонской ложи»; доктор Строматовский, высокий гость из Москвы. За свою правду готовы сражаться и существа, морально опустившиеся: Таракан и оба кладбищенских персонажа – Зарезка и Лошадиный.

Такова иерархическая структура романа, по отношению к которой три подростка-правдоискателя стоят как бы особняком. Переходя с одного уровня на другой и собирая свидетельства времени, они воссоздают общую историческую картину советского XX века и тем самым обеспечивают устойчивость многоуровневой повествовательной конструкции.

* * *

Инна, Ксения и Чибис – обычные советские старшеклассники, какими они предстают в начале романа. Но это лишь один угол зрения. Стремление к неведомой истине, заставляющее их совершать странные, на первый взгляд, поступки, позволяет видеть в них не наивных детей своего времени, а вечных искателей Звезды и Чуда.

Одно из желаний, которые то и дело загадывает Инна, обращаясь к могущественной кремлевской Башне (в заставке программы «Время»), – возвращение памяти, знания

о прошлом: «Вели, чтобы я вспомнила...» Такие «искатели» были всегда, и именно через них возникает преемственная связь цивилизаций, отделенных друг от друга столетиями и даже тысячелетиями. Об этой преемственности говорил, в частности, Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы», серьезно повлиявшей на ход историософской мысли XX века.

Воспринимающий великого немца как своего предшественника и собеседника, Тетерятников глубоко и лично переживает выстроенную им картину всемирной истории, как и ницшеанскую тему «вечного возвращения», развернутую Шпенглером в его знаменитой таблице «одновременных» духовных эпох. Всё глубже погружаясь в хитросплетения шпенглеровских умозаключений, Тетерятников создает собственную теорию, в которой главную роль отводит «новым волхвам»: людям, желающим, наподобие средневековых каменщиков, овладеть сокровенным духовным знанием.

Персонажи, созданные воображением Тетерятникова, призваны повторить – в новых исторических условиях – миссию библейских волхвов, которые две тысячи лет назад следовали за Звездой к Вифлеему. Но в том-то и дело, что Чудо, свершившееся в момент «полноты времен», не может повториться в аномальной зоне безвременья: дерзкие и благородные усилия юных правдоискателей оборачиваются, по сути, их поражением. Тайны прошлого, к которым им удается приобщиться, не несут Благой Вести, напротив: свидетельствуют о преступном и кровавом наследии советской эпохи, которое в конечном итоге сказывается на их собственных судьбах. Ни одному из «волхвов» не удастся построить свою жизнь в соответствии с понятиями Добра и Справедливости – даже Ксения, удалившаяся в монастырь, не обретает душевного мира. Во всяком случае, так думает Чибис. Путь, который она выбирает, погрузившись в традиционный мир православия, кажется ему тупиком

и капитуляцией – малодушным решением «советского человека», не желающего задуматься над историей своей страны и о причинах собственной неудавшейся жизни.

* * *

Какие же «тайны» открываются юным искателям Истины, оказавшимся в середине семидесятых годов XX века на берегах Невы? Куда приводят этих подростков – и одновременно нас, читателей романа Чижовой, – их странные блуждания по призрачному петербургскому лабиринту?

Прежде всего – к осмыслению непреложных устоев человеческого существования, уродливо и безысходно преломившихся в советской реальности.

Жизнь начинается с рождения, что испокон веков празднуют все народы. Рождение Христа, знаменующее собой приход Нового Времени, стало главным праздником для народов, принявших Его учение. Однако в стране, где родились Чибис, Инна и Ксения, Рождество было предано забвению, напроочь изъято из календаря, и люди, выросшие в Советском Союзе, никогда не задумывались над внутренним смыслом этого события. Рождение превратилось в биологический акт – способ продолжения рода. Безбожная тоталитарная иерархия словно бросила вызов великим цивилизациям прошлого и лишила себя их главного жизненного двигателя – животворящего Духа. С этой точки зрения советская цивилизация – противоестественна: она убивает все живое.

Мотив смерти возникает уже на первых страницах книги. Ксения глядит в окно и думает о смерти: «Мальчики... Умирают мальчики... Самые лучшие...» Смерть явственно или незримо присутствует во всех описанных в книге событиях. Мать Чибиса умирает при его рождении. Три сына у тети Лили, родившиеся в разное время, – мертворожден-

ные. Мальчики, рождавшиеся в семье Ксении, тоже умерли («В нашем роду мальчики не живут», – горестно замечает ее мать). Зачав и не успев родить, погибает Инна (ее смерть предсказана в начале романа). Матери рожают мертвых сыновей, словно не хотят, чтобы у них рождались младенцы, которых ждет неминуемая гибель. Та же тема – внутренний протест матерей против бесчеловечного мира – заострена Чижовой и в романе «Время женщин». Одна из его главных героинь, Евдокия, говорит: «Рожаем и не знаем, как им умирать».

Эта драматическая ситуация вызывает в памяти евангельский миф о царе Ироде, «осмеянном волхвами» и приказавшем «избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его...» Сопоставление СССР с царством Ирода проходит через весь роман, причем сам Ирод не персонифицирован: это не конкретный советский вождь, а некий безликий Истукан, которого Орест Георгиевич видит в своем страшном сне, – каменное изваяние, нависающее над городом и миром. Матери рожают мертвых, желая уберечь их от власти Ирода. «Кто ж его спасет, кроме матери, – говорит вещая старуха Алико, имея в виду еще не родившегося ребенка. – Приходят, глядь, а младенца-то и нет! И убивать некого...»

Евангельская история неизвестна советским школьникам: ее не изучают на уроках, о ней не упоминают в семье. Правда, во второй половине 1960-х годов в СССР был издан роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», приобщивший множество советских людей к великой и вечной мистерии. Еще одним таким источником для поколения Чибиса становится американская рок-опера о «суперзвезде» (*“Jesus Christ Superstar”*). Проникновенный дуэт Христа и Марии Магдалины потрясает воображение Ксении и увлекает Инну. Образ живого бога неодолимо преследует обеих девушек. В одной из заключительных сцен романа они пытаются спасти Его статую на петербургском Новодевичьем кладбище, где хозяйничают омерзительные, но по-свое-

му колоритные Зарезка и Лошадиный (которого тетя Лиля в сердцах называет иродом).

* * *

Предание о волхвах и Ироде – главный композиционный узел, стягивающий воедино сюжетные линии и смысловые пласты романа. Точно так же Звезда – его центральный символ, в котором сходятся разновременные эпохи. Но известно: над разными эпохами горят разные звезды («И звезда от звезды разнится в славе», – свидетельствует Евангелие). Кремлевская звезда, подменившая собой евангельскую, – образ, многократно запечатленный на страницах романа. Так, провожая 1974 год, Инна и ее семья украшают рождественскую елку. Но не Вифлеемская звезда венчает советское рождество – над страной в этот вечер восходит, как обычно, рубиновая звезда Спасской башни, и с телеэкрана льется «программа “Время”», затопляя «одну шестую» потоками убийственной лжи.

Звезда, остановившаяся над Вифлеемом, знаменовала собой высвобождение Духа: человек – впервые в мировой истории – ощутил свое богочеловечество, свое «сыновство». Звезда, взошедшая над огромной страной в 1917 году, несла в себе иное знамение. Под этой звездой разгоралась братоубийственная война, изничтожалась религия, разрушались основы древней культуры, и миллионами гибли ни в чем не повинные люди. Красный цвет – цвет советской идеологии – стал символом подавления Духа. Бессмысленная жестокость, с которой осуществлялось это подавление, не оставляла ни малейшей надежды на спасение. Новые мифы, подчинившие себе целую эпоху, утвердили в людях чувство бессилия и греховности по отношению к земной (государственной) власти, ощущение страха и предопределенности, сродни античному Року.

Под знаком Красной Звезды протекает и горестная история трех поколений Чибисовой семьи. По ходу повествования Чибис узнает о судьбе своего деда, выдающегося химика, репрессированного в 1936 году. Оказывается, что его дед не только участвовал в создании рубиновых звезд Кремля. Власть, от рук которой он в конце концов и гибнет, принуждает его к химическим опытам по созданию «эликсира бессмертия» – вещества, способного оживить человеческий мозг, иначе – сделать человека бессмертным. В его записках, обнаруженных Орестом, упоминается, в частности, о визите в Мавзолей – к саркофагу того, кого следовало воскресить в первую очередь («...мы в сопровождении товарищей пошли в Мавзолей, и там я видел Его...»).

Однако дед Чибиса, воспитанный еще в другой (дореволюционной) системе ценностей, внутренне противится тем научным опытам, в которые его вовлекают. Его сознание отмечено двойственностью, весьма характерной для людей ранней советской эпохи. С одной стороны, он надеется, что, вернув к жизни мозг Ленина, советская цивилизация избежит жертв, которые он пророчески провидит: «...воскресить Его мозг, и этим воскресить тысячи и тысячи еще не сгинувших: здесь и теперь, повсеместно и вовеки». Но, с другой стороны, ученый угадывает страшные последствия такого «изобретения» в условиях советского тоталитаризма. «В будущем, которое они все равно построят, все соединится намертво и больше не будет разделений: смерть сольется с жизнью, правда с ложью, жертва с палачом».

Его предвидение подтверждается: за свои сомнения он платит собственной жизнью. Спустя десятилетия Орест, также химик, продолжает дело отца – работает над веществом, способным пересоздать человека, изменить его природу, уберечь от естественной смерти. Орест не верит «в дело Ленина», но его неотступно мучает чувство вины перед расстрелянным отцом. Выросший в эпоху, когда дети отрекались от родителей, он, сын «врага народа», пыта-

ется преодолеть свою мнимую вину. Ему кажется, что ее можно искупить, продолжая начатые отцом опыты. Однако вина, которую Орест ошибочно считает «личной», на самом деле является общей, лежащей в основе советской цивилизации. Это понимает и формулирует Тетерятников, чья вина, в отличие от воображаемой вины Ореста, вполне реальна: в молодости, следуя неписаным законам 1930-х годов, он действительно отрекся от своего отца. Имманентность этой исторической вины во многом определяет необратимость разрыва поколений, свойственного советскому XX веку, когда продолжение «революционного дела» отцов воспринималось их отпрысками (разумеется, далеко не всеми) как преступление против человечности. Для Ореста эти мысли становятся наваждением. Подобно Эриниям, богиням мести, которые преследуют его мифологического предшественника, убившего свою мать Клитемнестру, они терзают Ореста Георгиевича, в конце концов загоняя его в безумие. Так, в вывернутом наизнанку пространстве советской мифологии, в котором не сын проливает кровь матери, а Родина-мать убивает своих сыновей, Орест оправдывает свое имя.

Однако безумие Ореста не лишено прозрений. В самом начале 1990-х – если следовать хронологии повествования – Орест провидчески угадывает то, что станет очевидным лишь спустя десятилетие в условиях постсоветской трансформации: советская цивилизация не исчезла с крахом Империи. Созданные ею утопические представления настолько овладели сознанием людей, родившихся и выросших в ее пределах, что оно оказалось насквозь пропитанным ложью. Неслучайно с уст умирающего Ореста срываются горькие слова о том, что «эта цивилизация никогда не кончится». Царство Ирода продолжается.

Но Чибис, его сын, – человек другого поколения и другого склада; ему чужды иллюзии, владевшие его отцом и дедом. Он не приемлет лживых идеалов. Блудный сын своей

больной страны («горе-волхв, пришедший с Востока»), не сумевший оправиться от трагедии, определившей всю его жизнь, Чибис пыгается в конце романа – не впадая ни в заумь Тетерятникова, ни в безумие, постигшее его отца, – здраво переосмыслить историю советской цивилизации. В этих попытках он все явственней ощущает свою внутреннюю связь с Европой и надеется – вопреки всему, что ему пришлось пережить, – остаться тем самым «ветхим человеком», пересоздать которого пытались его отец и дед.

* * *

Роман начинается с размышлений о смерти; ими он и заканчивается. «Для того, кто вырос в моей стране, смерть – единственная реальность, на которую можно положиться», – мрачно подытоживает Чибис. Предчувствуя скорый конец своей так и не прожитой жизни, он сжигает в камине машинописные странички, на которых запечатлено его прошлое, и отправляет в виртуальное пространство файл “*Orest i sin*”: может, кто-нибудь случайно на него наткнется и прочтет о событиях, свидетелем и участником которых он оказался.

Для него же все кончено: мосты сожжены. Маленький город, в котором Чибис, судя по всему, заканчивает свои дни, находится на границе Европы и Евразии. Этот рубеж он воспринимает как границу между историей и мифом, свободой и несвободой: ее невозможно преодолеть в рамках одной человеческой жизни. Автор страничек, послуживших основой романа, не желает возвращаться в страну своего рождения. Однако – вслед за своим отцом – Чибис отдает себе отчет в том, что человек, выросший в СССР, никогда не сумеет полностью освободиться от советской мифологии. Одолеть Рок невозможно. Последняя воля Чибиса – навсегда остаться в пространстве европейской цивили-

Константин Азадовский

лизации. Но и с этим пожеланием он обращается – не без иронии и в то же время с безнадежным отчаяньем – к той самой Башне, под чьей звездой погибла его семья и Инна – его единственная любовь.

Мы расстаемся с романом Елены Чижовой, продолжая – вслед за его героями – размышлять о судьбах страны, соскользнувшей с орбиты мировой цивилизации, и скорбеть о «волхвах», явившихся в безжизненную смертоносную эпоху и обреченных разделить ее бесславную участь.

Константин Азадовский

Содержание

ОРЕСТ И СЫН

роман

5

Волхвы в царстве Ирода

Константин Азадовский

333

Литературно-художественное издание

Чижова Елена Семеновна

ОРЕСТ И СЫН

Роман

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*
Редактор *Д.З. Хасанова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Корректоры *М.В. Карпышева, О.Л. Вьюнник*
Компьютерная верстка *Е.М. Илюшиной*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Издание осуществлено при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Елена Чижова — автор романов «Время женщин», «Терракотовая старуха», «Лавра», «Крошки Цахес», «Полукровка». Человек на сломе эпох — главное во всех романах прозаика: разворачивается ли действие в шестидесятые или в годы перестройки.

Роман «Орест и сын» — история трех поколений одной петербургской семьи: деда, отца и сына. Семидесятые годы. Орест — ученый-химик — оказывается перед трудным выбором: принять предложение загадочной организации и продолжить дело отца (талантливого химика, репрессированного в тридцатые годы) или, как и раньше, разрабатывать карамельные эссенции?

Антон, сын Ореста, и его подруги Инна и Ксения, — на первый взгляд, обычные ленинградские старшеклассники. Они читают книги и слушают современную музыку. Они интересуются древними мифами, а из американской рок-оперы узнают про Иисуса Христа. Интуитивно они понимают, что многое не так, как говорят по телевизору, и хотят знать правду. Но кто им поможет в этом? Может быть, всемогущая Спасская башня из программы «Время»? Стоит лишь загадать желание...

Роман «Орест и сын» можно рассматривать и как трагедию, а, точнее, развернутую метафору трагической советской эпохи.

Константин Азадовский

ISBN 978-5-271-44522-4



9 785271 445224